НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СЕМИ ТОМАХ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1974

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ТРЕТИЙ

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1974

ПУТИ ВОСТОКА

КОЧЕВНИКИ

Быт далекой Туркменской республики почти неизвестен широкому читателю, а между тем эта страна, превосходящая площадью Германию, имеющая миллионное население, ответственную границу с Афганистаном и Персией, играет колоссальную роль в Средней Азии. Эна иезаслуженно забыта советской литературой. Со времен Каразина и Верещагина никто не писал о ней подробно.

Сейчас нужно написать об этой стране, очень суровой, любопытной и богатой, рассказы поучительные и занимательные. Одной из главных задач ударной писательской бригады, исследовавшей Туркмению весной тридцатого года, было как раз подробнейшее озиакомление с ее современным бытом.

Мои короткие очерки, несмотря иа разиообразие материала, далеко ие исчерпывают совремеиную Туркмеиию. Эти очерки, написанные без всякой примеси вымысла, без всякой игры воображеиия, заключают одни сухие факты, потому что пришло время, когда советский Восток, сбросив покрывало легендарной косности, так же по-деловому вступил на путь завоеваиия социализма, как и остальные территории Советского Союза. Картины измеияющегося быта, борьба с дикостью первобытного кочевья, процесс перерождения кочевника заслуживают самого пристального внимания.

ДЖЕМШИДЫ

ДЖЕМШИДСКИЙ КОЛХОЗ

Женщина весело трясет старыми дырявыми кошмами, похожими на пятнистый тиф. Трясет своей грязной, запыленной одеждой, указывает на внутренность шалаша, где на земле сидят полуголые дети у груды потухающих углей.

— Смотри, какие мы бедные, смотри, какие мы... А! Есть на свете беднее нас? А, скажи...

Трахомные глаза ее мутны, ее веселый гортанный крик в странном противоречии с больным, исхудалым лицом. Ветер, издеваясь, проходит насквозь жалкое жилище джемшида, ночной холод скрючивает тела кочевников, рыжие псы воют от голода и злости, обегая невеселое скопление кочевничьих шалашей.

Солнце. Джемшиды выходят из сонного оцепенения. Они хохочут, они прыгают, они становятся почти детьми. Такой у них веселый характер. Они идут толпой в Чимин-и-бит. Председатель колхоза джемшидов Азис Мамедов идет впереди. Он со всеми европейцами здоровается за руку. Его спрашивают:

— Что будешь делать в Чимин-и-бите?

Он смеется, скаля громадные зубы.

— Спасибо, спасибо,— говорит он, не понимая вопроса. Он не говорит ни на каком языке, кроме своего.

Сегодня джемшиды, дети темного, как пустыня, народа, пробуют сесть твердо на землю. (Они принесли из пустыни кучу темных привычек; так, например, они любят попрошайничать, чаще всех слов они говорят слово «дай». Они толпятся в кооперативе: «Дай гвозди, дай хлеб, дай керосин. Советская власть все дает. Дай!»)

Сегодня они в колхозе. Им построили белые домики на берегу Кушки, но они живут еще в своих вековых шалашах и маленьких юртах, где земля кишит паразитами. Одежды их темные и грязные.

Единственная вещь джемшида потрясает своей белизной. Это — чалма на его голове. Джемшидские женщины стирают чалмы своим мужьям два раза в неделю. Эта чалма служит и саваном. Когда джемшид умрет, его узкое, испепеленное трудом и нищетой тело завернут в этот длинный кусок свежевыстиранной материи. В джемшид-

ском колхозном поселке богачей нет. Богачи увели свои стада далеко в пустыню.

Эпоха дошла до джемшидов, произведя властный пересмотр их инвентаря. Что может быть убедительнее вещи, которую можно осязать? Рядом с первобытным кетменем — бидон из-под керосина, цинковое ведро звенит рядом с верблюжьим седлом, кооперативный ситец натянут на плечи кочевника под старой, разлезшейся по швам жилеткой афганского происхождения.

Веселые лица с туманными глазами трахомных вспыхивают от удивления и радости: трактор идет по полю с уверенным рычанием машины, упрекающей людей в невежестве. Джемшиды толпой идут за ним. Им страшно, что ни один из них не может соперничать с этой могучей выдумкой колхоза. Им удивительно, что они будут жить в домах,— до сих пор четыре стены казались им ловушкой. Скот будет стоять в сарае. В сарае? Они на закате бегут навстречу скоту, идущему из пустыни. Его так немного, что можно сосчитать по пальцам. Его страшно оставить снаружи, на открытом воздухе есть и волки и воры, а спрятать его некуда. И все-таки они его прячут. В земле вырыты ямы; овец и коз берут за ноги и ставят в яму, слишком глубокую, чтобы они оттуда выпрыгнули. Быка и коров ведут поодиночке узким наклоненным земляным коридором в большую яму, где животные с трудом поворачиваются. Если ночью будет дождь, ямы закроют старой кошмой или рогожей. Псы сядут рядом и будут выть всю ночь, карауля.

Итак, отныне джемшид стал земледельцем. Правда, он раньше служил в батраках, но это совсем другое дело. Теперь у него свои поля, свое хозяйство. Колхозники наперечет, их всего двадцать восемь семейств, и они не знают толком, что такое иметь свое поле, свой плуг, свой скот. Кушкинские красноармейцы привели им трактор, с песнями прошли поля, с песнями засеяли хлопок и пшеницу. Нищета и одичание остановились. Джемшиды не знают языка своих великих братьев — русских пролетариев. Русские — не знают джемшидского, и, однако, дело идет. Нужно перестраивать жизнь джемшида. Новый джемшид сознает, что он должен как-то резко изменить свою жизнь. Старые обычаи тяготеют над ним. К председателю колхоза приходят судиться двое. Они поспорили из-за ишачьего седла. Что делать? Председатель спрашивает организатора колхоза туркмена-партийца со своей веселой улыбкой:

— Что я знаю?! Я советский. Да, но ты меня извини. Я прошу позволения судить их по шариату. Я еще не знаю советских законов. Что такое советский закон — это большое дело!

— Нет больше шариата,— говорит организатор, и все вокруг смеются. Это им кажется очень забавной шуткой.

— А, слышал? — говорит один другому.— Нет больше шариата!

Они хохочут, будто им сказали ловкий каламбур. Они сегодня за бесчисленными пиалами жидкого чая без сахара будут без конца повторять: нет больше шариата, есть колхоз, а?! И все слышащие будут поражены этой новостью.

НОЧЬ В ЧИМИН-И-БИТЕ

Ворота пункта по охране животноводства широко раскрыты. В углу двора по-ночному топчутся привязанные кони. В воротах каждые полчаса слышны крики и рев большого животного, которому наступили на ногу. Это ревет пес Булат. Его называют собачкой, выходящей из берегов. Из берегов он выходит каждые полчаса. Он хозяин ночного двора, он стаскивает с седла всадника, он швыряет пешехода оземь, он может перегрызть горло волку. Из темноты летят исступленные ругань и вопли пострадавших. Сторож пункта, зевая, подымается с места и идет во двор, сокрушенно бормоча:

— Говорил, говорил сколько разов, не трепещи перед ним, не трепещи, видишь, собачка из берегов вышла, стой и кричи мне спокойно и не шевелись, а то затрепещешь ногой и рукой, он тебе и покажет.

— Сволочи, бродяги, дьяволы,— кричит пострадавший,— чего ж зверя на людей пускаете?

— А ты не греми, не греми,— говорит сторож.— У меня, может, в конторе на двадцать тысяч каракуля сложено. Кто будет хранить?

На этом странном дворе привыкли к ночным рассказам, потому что здесь собираются проезжие люди, у которых жизнь всегда переходит за полночь. В этот раз сторож не нашел пострадавшего. Всадник отбился от пса нагайкой и благополучно отъехал от ворот, испробовав тщетно все средства попасть во двор. Все стихло. Потом сквозь новый приступ собачьего бешенства в сопровождении сторожа проходят два человека.

— Слыхали,— говорит один,— всадника-то? Бегут, бегут людишки! Как их задержишь? Фельдшера бегут, доктора бегут. За короткий срок сбежало из окрестностей трое, и без объяснения причин, без бумажных пояснений бегут. А чего им бумагу портить зря, когда сам человек не выдерживает. Джемшидской тяжести человек не выдерживает...

Джемшидская тяжесть велика для свежего советского человека. Фельдшер обязан ехать во всякое время дня и ночи, если за ним приедут из аула джемшиды, а у джемшидов есть аулы километрах в сорока от фельдшера. Они же приезжают тогда, когда больной уже испробовал все ухищрения своего знахаря и ему терять в этой жизни больше нечего. Или же вдруг, вспомнив о «дохтур-баба», джемшиды среди ночи подымают человека, и он скачет, загоняя коня, объясняясь знаками, в глушь и там находит кочевника, не умеющего вытащить пустяковую занозу.

Один из местных упорных работников, с дрожью думая, что он когда-нибудь подхватит у джемшидов трахому или сифилис, решил научить их мыться с мылом. Скопив денег из своих собственных средств, он приобрел несколько десятков полотенец и кусков мыла и роздал это самым, по его мнению, понятливым людям в аулах, объяснив через переводчика, что это за вещи и как ими нужно пользоваться. Радостно оскалив зубы и закатив довольные глаза, они хлопали его по плечу, благодарили и показывали друг другу подарки.

Через два месяца он произвел неожиданную проверку. Все его клиенты, восторженно приветствуя его приезд, брали его за руки, вели в свои насквозь антисанитарные жилища и, подмигивая ему, раскрывали сундуки. Под невероятным хламом, на самом дне лежали совершенно чистые, завернутые в тряпку, не тронутые ни разу полотенца и куски мыла. Они свято хранили подарки, как амулеты. Человек не знал что сказать. Он выбежал из аула в гневе и гнал по пустыне несколько километров карьером, пока его кровь оскорбленного организатора несколько не успокоилась.

Если же джемшиду понравилось вообще лечение, он изведет фельдшера тем, что будет ходить за ним неотступно, как призрак. Фельдшер сядет обедать, и джемшид в углу комнаты, сев на пол, будет с большим любопытством следить за трапезой. Фельдшер пойдет в аптечку готовить

лекарства, и джемшид сядет в дверях на корточки, следя за колдовскими порошками. Фельдшер ляжет отдохнуть после трудов дня на кровать, и джемшид сядет у кровати, любопытствуя, как спит его покровитель. Ои будет ходить на все ежедиевные приемы, показывая вие очереди и уши, и глаза, и грудь, и иоги. Он стал уже иеутомимым любителем. Однажды во время обеда, когда фельдшер, страдая от пронзительиого и покориого взгляда вечиого пациента, взялся за кусок мяса, джемшид, издав неясный быстрый звук, выскочил как ошпареиный из дому и больше не приходил. Фельдшер иедоумевал только первую минуту. Ои забыл, что он ел свиииию — мясо, запрещеиное даже для лицезрения правовериому джемшиду...

...Тьма висела иад джемшидскими юртами. Тьма перемешалась с ревом Булата — собачки, выходящей из берегов. О Чимин-и-бит, сколько усилий нужио тебе сделать, чтобы из сыиов этого призрачного бродячего иарода создать стойких борцов за свободную разумную жизнь! Я боюсь, что болезии пожирают их со слишком большой быстротой, что остатки племени умеиьшаются с каждым годом. Правда, их иезначительиое количество вообще, ио в песках этой стороны Мургаба и Кушки других людей, кроме них, нет. Советская власть взяла иа себя труд последиего и решительиого врача. Пусть будет колхоз Чимии-и-бит первой благодетельиой ваниой этому увядающему в адской грязи племени.

ВЕРБЛЮЖИЙ БОЙ

У меия большой соблази описать верблюжий бой, который так любят джемшиды. Если я наделаю непростительных ошибок, свойствениых случайиому зарисовщику нравов, я буду помиить, что у великого Шекспира корабли отплывают из портов Богемии, а у классика Гюго — циклои в «Человеке, который смеется» кружится ие в ту сторону, как бывает в действительиости. Немиогие заметили это, и, как видио, это ие так важио.

Десятки джемшидов сидят иа земле перед площадкой. Джемшиды шумио переговариваются и делятся впечатлеииями. Это уже ие те робкие, хотя и увешаиные оружием, люди, которых русские бабы иа полустаиках хлещут по щекам широкими блинами в пылу ссоры,— теперь это спортсмены, яростные, горячие, готовые рычать от удовольствия, кусаться и кричать оскорблеиия трусу во весь голос.

Странное животное, именуемое верблюдом, когда-то было, иесомненно, красивым, оно было задумаио легким и сильным, со скульптурио-правильными волиообразными изгибами горба и иогами, похожими на палицы Геркулеса, покрытые мохом. Животиое потом отдали в такой трудовой переплет, люди и иевзгоды так поработали над иим, что превратили ладиого верблюда в облезлое бурчащее чудовище со злыми сальными глазками.

Два верблюда — два борца становятся друг против друга. Поодаль помещается самка. Оиа смотрит совсем ие вызывающе, но подиимает голову с таким презрительным видом, что оба верблюда сразу раздувают языки, выкатывая их, как красиые шары. Потом оии приходят в ярость. Потом оии иачинают подходить друг к другу боками, как боксеры, осматривая противиика и иепрерывно бурча.

Зрители волнуются. Оии хватают себя за рукава рваных халатов, всплескивают руками, плюются, шипят и бурчат, как верблюды. Звери раздувают ноздри, шерсть на иих делается колючей и зловещей, языки вбираются обратио, шеи изгибаются все быстрее и быстрее, глаза суживаются, кривые судороги потрясают иелепые тела. Наступает пауза, такая, какую примеияют в японской борьбе.

Среди зрителей лишние слова исчезают, иаступает молчание. Горловой звук, издаваемый одиим из верблюдов, похож иа всплески кипящей воды в огромиом чайиике. Вдруг одии из противников швыряет свою длиную шею вперед и подымается иа дыбы. Ои обрушивается иа противиика всей тяжестью, но сопериик выдержал удар и вырвался, заревев и отскочив в сторону. В свою очередь, он кусает врага в бок и прыгает ему на шею, так что слышен глухой шум столкнувшихся тел. Джемшиды иачинают хлопать по халатам и свистеть, подражая борющимся. Верблюды сшибались уже три раза безрезультатио. Теперь они стоят рядом, следя друг за другом неиавидящими глазами. Тоикие струйки крови бегут по шее у одного и по боку у другого, ио звери не чувствуют боли. Они раскачиваются, как сомнамбулы, оии шатаются, как пьяные.

Неожиданиый прыжок одиого из верблюдов — и удар погубит кого-иибудь из иих. Зрители иачинают ругать их, свистят и осыпают их разиой браиью. Верблюды топчутся иа месте, наблюдая друг за другом. Оии будут биться до

тех пор, пока один из них не упадет. Так и происходит. Еще один дикий прыжок — как допотопное чудище рушится; сильнейший, хватаясь зубами за шею своего слабейшего соперника, рвет его, закидывает ноги ему на спину, подминает его под себя. Два тела кружатся серым ревущим клубком, и кочевники, вскочив, вопят так, как они никогда не позволяют себе вопить в своей повседневной жизни. Халаты распахнулись, от напряжения при виде варварского зрелища, джемшиды дрожат, руки хватаются за пояса, ища оружия, неудержимое движение битвы захватило их... Я понимаю теперь, почему в тусклый и неудачный день Таш-Кеприйского сражения четыреста джемшидов под начальством Елантуш-хана, задыхаясь от возбуждения, сдерживали своих коней, пожирая русских глазами и ожидая приказа к атаке. И, когда сам Наиб-Салар на своей серой лошади закричал им: «Подвизайтесь во славу божию!» — они ринулись, как этот верблюд, чувствуя только яростное сладострастие сшибки, в которой им не повезло.

Побежденный верблюд возбужден сейчас не меньше победителя. Их разнимают палками и бичами. Победитель лягает упавшего, и, когда ураган палок доходит до его сознания, он становится надменным, обнажает большие, как клавиши, зубы, озираясь, он готов кланяться, как борец, вспотевший и подтягивающий трико. В этом бедном, но сильном зрелище вся душа маленького племени. Нет, джемшид не похож на испанца. Бой быков показался бы ему смешным.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Джемшиды, как правило, неграмотны. У них есть мелкие ханы и есть ишан[1], живущий где-то около Ислим-Чешме и разбирающий самые запутанные родовые дела без особой проволочки, помогая значительности приговора значительным тоном голоса и хмурым выражением лица.

Советский суд далеко, на верблюде нужно ехать до советского суда, на поезде нужно ехать, пока разберут твое дело. Джемшид по мелочам не будет гонять верблюда, и он не совсем доверяет поезду, да и до́рог этот ящик на колесах для безденежного кочевника.

---

[1] И ш а н — мусульманское духовное лицо, фанатик, реакционер. *(Это и последующие примечания автора.)*

Правосудие песков так просто, что понятно и верблюду. Волки хватают за горло последних овец, и от них прячут овец в яму, и на волков короток суд. Вот стоит охотник-джемшид, член кооперации; он ходит зимой на водопой к Кушке, куда собираются волки, и бьет их до десятка в ночь, принося их шкуры в Госторг. Госторг любит серую шерсть хищника, и чем больше этой шерсти, тем лучше. Таким образом, нет овцы, но нет и волка. Закон пустыни прост.

Но бывают волки, которых не поймаешь на водопое так просто. На улице Мерва стоит между милиционеров рослый джемшид-бай, получивший три года исправдома. Но, когда он ехал на суд из кочевья, он твердо верил, что его право делать то, что он сделал. Как смел бедняк пастух тянуть руки к его единственной дочери! Несколько лет служил в его стаде пастух-батрак, получавший за труд тридцать баранов в год, и эти тридцать баранов он вносил безропотно как калым за дочь бая. Хозяин его усмехался про себя, но принимал калым во всех видах. Все, что зарабатывал пастух, возвращалось к хозяину, и все, что он добывал на стороне или случайно, все шло отцу его невесты. Так трудился он несколько лет на пользу своему хозяину, как Иаков зарабатывал Рахиль тяжелым трудом, и когда он захотел наконец убедиться в том, что не напрасна его работа, и пришел к баю увидеть его дочь и взять ее себе в жены, бай со смехом ввел его в пустую юрту. Девушка исчезла.

Пастух узнал здесь, что дочь хозяина ему не пара, что отец ее презрел его скромный калым и перепродал дочь в четыре раза дороже сыну такого же, как он сам, бая из дальнего аула. Все это он сказал пастуху отечески-поучительным тоном, а затем он взял пастуха за ворот и вывел его из юрты и показал ему тропинку, идя по которой можно сократить путь, возвращаясь к оставленному им байскому стаду. Но пастух выбрал другую тропинку, ту, что вела в Чимин-и-бит; она начиналась в пустыне, заметаемая песками, шла через рельсовый однообразный гром на добрые двести верст к северу и оканчивалась домом, называвшимся советский суд.

Раньше суда пастух пошел к ишану. Он долго шел, обдумывая всю сложность и безвыходность своего положения. Он пришел к ишану, и ишан, скосив на него из-за очков свои лисьи глаза, сказал, что он не прав, он не прав, простой пастух пустыни, решающий взять на свою нищету

дочь бая, и что бай мудро дал ему поиять, что не следует так горделиво испытывать совесть людей сильиее тебя. Что значат погибшие деньги перед тем уроком мудрости, который был преподаи ему, черному бедияку песков!

Тогда пастух оставил ишаиа и пришел в Чимии-и-бит и в Совете спросил, где помещается советский суд. Он помещался далеко, но пастуха выслушали, и ои, захлебываясь, рассказал историю своей любви.

— Бывает и не так,— сказали опытные джемшиды, слушавшие его показаиия.— В другие времеиа один бай трем пастухам обещал трех своих дочерей и, выжав из пастухов все что мог, накануне обещанного срока прислал в пустыию своих джигитов, и они перерезали горло всем трем пастухам и бросили их тела шакалам. Вот какова справедливость этих людей. И ты напрасно верил им. А впрочем — дело твое...

Так говорили его земляки. В милиции составили акт, в милиции сказали просто, ие обращая внимания на пустыню:

— Усматриваем три дела: дело о незакоином калыме, дело об обмаие и эксплуатации пастуха, дело о торговле женщиной, как скотом.

В этих трех пунктах была мудрость сильнее ишаиской, ибо бай через некоторое время стоял среди милициоиеров Мерва, заработав себе три года изолятора, а пастух джемшид возвращался в пустыню с исполиительным листом на возвращение калыма.

Когда он слезал с ишака перед юртой Азис Мамедова, к нему подошел человек и сказал:

— Бай клаияется тебе и просит передать, что ты умрешь иехорошей смертью!

Пастух засмеялся по-джемшидски, обнажая цинготные свои десны, и, ударив человека в грудь, оттолкнул его и вошел в юрту председателя.

НЕНУЖНЫЙ ВОЖДЬ

Социализм пришел на реку Кушку со своими колхозами и тракторами решительно и неотвратимо. Социализм вошел храбро в пустыню, где он нашел джемшидов — странников, гонимых судьбой из страны в страну. Ученые не сильно распространяются насчет этого племени. Попробуем обойтись без них. Джемшиды измерили огромные

пустыни Азии из конца в конец. Одиажды оии осели надолго в Афгаиистаие, ио через столетие у иих вышла большая свара с афгаицами, и оии иеожидаиио сиова подняли кочевые шатры. Джемшиды последиий раз пришли иа землю Туркмеиии с помпой самой воииствеиной и даже кровавой.

В 1908 году комендант Кушки был встревожен внезапной пальбой по всему горизоиту и доиесениями пограиичиой стражи, что большие толпы всадников, ведя бой с афгаицами, прорываются иа русскую территорию. Это и были джемшиды, тесиимые со всех сторон; джемшиды, окружившие свои юрты, жен, детей, стариков, скот тремя рядами бойцов; джемшиды, бросавшие иавсегда негостеприимный Афгаиистаи.

Делегация их поверглась перед кушкиискиm комендантом и прииесла ему слезную просьбу ие выдавать их афгаицам. Афганцы иападали, беспощадио отбивая скот, имущество, женщии. Пламя бесчисленных костров иочью стояло вокруг Кушки, и частая стрельба мешала спокойиому пищевареиию комендантского желудка. Комеидант запросил срочио Петербург.

Ему ответили, что джемшидов можио пропустить иа русские земли, ио обессилить — боялись, что за ними скрывается какой-то иепоиятный еще козырь аиглийской политики иа Востоке. Комендаит пропустил джемшидов и поселил их по течению Кушки, иа землях пустых и выжженных, и запретил им удаляться из этого района. Он отказал им и в продуктах. Голод обессилил джемшидов. Они продавали за бесцеиок лошадей, ковры, драгоценности и скот. Иные с горя, лишившись всего отбитого афгаицами имущества, шли в батраки к колоиистам русского Моргуиовского поселка. Другие сплачивались вокруг мелких ханов, делаясь их рабами, слепо доверяя иа чужбине им, как своим едиистеиным защитникам. Царское правительство имело для племени только одну кличку: разбойиики. Дружбы ие существовало. Когда в 1918 году Кушка опустела, царское офицерство бежало через Персию и Афганистаи на закавказский фроит, казаки ушли в Россию,— крепость ждала новых хозяев, каких угодио. Афганцы в то время украли с граиицы узкоколейку, два паровоза и иесколько вагоиов, запрягли в них слоиов, слоны потащили этот груз до Герата, а потом и до Кабула, но рельсов они украли мало, всего иа иесколько верст. В крепость афганцы войти не решились.

Тогда на Кушку пошел вождь джемшидов Саид-Батыр. Джемшиды вспомнили Таш-кепри, «подвизайтесь во славу божию!» — и сели на коней, и, когда они подходили к безмолвной пустой Кушке, где лежали богатейшие запасы вооружения и продовольствия, в теснине реки раздался ужасный выстрел, такой громадный, толстый и единственный, что кони остановились. Это в первый и последний раз по-боевому совершенно случайно ударило шестидюймовое орудие на одном из кушкинских фортов.

Поселенцы Моргуновского поселка, занимавшиеся исподволь военным делом, решили сохранить крепость за собой. Они вошли в нее и заперлись. Смельчаки стали пробовать стрелять из пушек, но у них ничего не выходило. Один любитель, немного сведущий в артиллерийском деле, зарядил, по воспоминаниям своего учителя-наводчика, шестидюймовку и выстрелил. Эхо этого выстрела спасло Кушку от Саид-Батыра.

Этот день убил Саида как полководца. Он остался мелким вождем, не имеющим решающего влияния. Потом он не раз прибегал на взмыленных конях, иногда в Ислим-Чешме или другой пост, и просил патронов, чтобы отбить у афганцев угнанные джемшидские стада. Ему обычно не давали, и он исчезал в Кушку. Из Кушки он ночью налетал на афганцев и вместо семисот баранов приводил обратно полторы тысячи. Тогда афганцы приходили на Ислим-Чешме или другой пост, и среди черной бараньей массы шла сортировка, мена, торг и спор.

Так Саид-Батыр учил афганцев, как нужно чисто делать неприхотливое разбойничье дело.

Теперь он сидит по вечерам на пороге кушкинской комендатуры, где тихо служит по разным делам, и мечтательно смотрит на крупные звезды над рекой, на которой вырос первый джемшидский колхоз. Конечно, баи не слишком рады ни службе Саида, ни колхозу. Их не приняли в колхоз, и они ушли в горы, уведя свои стада; конечно, бедняки джемшиды, хорошо помнящие своих вождей, обиравших их до нитки и водивших на предприятия, исполненные кровавых и трагических переживаний, не сразу расстанутся, несмотря на весь трагизм переживаний, с доверием к таким вождям, как Саид-Батыр,— но время пришло другое.

И вожди кочевий, гордые сыновья набегов, могут зайти в кооператив и посмотреть, как воинственные их дружин-

ники покупают керосин для лампы и мечтают о примусе, или могут увидеть, как трактор спокойно взрезает вековые пласты и скакуны пустыни испуганно прядут ушами перед этим высоким и властным зверем.

БЕЛУДЖИ

НАРОД НА РУБЕЖЕ

Они очень красивы, стройны, необыкновенно сильны. Цвет кожи у них темный, лицо суровое и благородное, нос могуч и широк. Лоб низкий, крепкий. Волосы густые и жесткие, что обличает воинов. Ноги чрезвычайно велики. Когда они ездят в набег, то садятся по двое на верблюда, спина к спине, чтобы озирать окрестности. Выше Магомета признают они Пирра-Кишри, выше коего один всемогущий аллах. Они им клянутся, когда говорят правду, что случается очень редко...

Тут мой знаток замолчал и указал вниз с холма. Там копошились толпы белуджей, торопливо и неумело выбрасывающих кетменями глину, чтобы заделать прорыв в канале. Исхудалые руки взлетали и опускались с неубедительной поспешностью легко запыхивающихся людей. Черные лица, овлажненные потом, и сгорбленные спины. Их труд не имел ничего общего с воинственной характеристикой, преподнесенной моим спутником. Они трудились через силу, даже как землекопы они были слабосильны.

— По-моему, они работают хуже европейцев,— вежливо сказал я.— Они гораздо физически слабее, и приписанная им благородная худоба относится просто к недоеданию.

— У них нет выхода,— отвечал знаток.— Вспомните, что в свое время говорил Бонвалло о людях Самарканда: «Его жители не умеют больше строить. Они тупы и ленивы. Их ученье заключается в развитии памяти, а наука — в игре слов». Белуджи попали в еще худший переплет. Нужно сейчас пересмотреть всю схему внутрикочевничьих отношений. У них когда-то было одно большое испытанное ремесло — грабеж. Они питались им до 1922 года. Ну, знаете, гоняться за ними в Персию или выставлять их из Персии надоело всем и им самим. Их перевели на оседлый

спокойный образ жизии, а это немиого скучно и немиого тяжело. Геройство отпало, и в колхозе больше верят работам иа поле, чем красивой и могучей позе перед шатром. Оии же трудиться привыкли не сильио, и ие далее как третьего дия, когда я иа едииствеиием гнусном фаэтоие райоиа объезжал окрестиости, оии отказывались чиить жалкие мосты, говоря моему возиице: «Ты везешь, тебе платят, ты и чиии. Мы-то ведь иичего за это ие получаем». Хороший урожай 1927 года поиравился им, одиако, и оии взялись за хлопок под иаблюдеиием своих представителей в аулсоветах в этом году серьезио. Правду сказать, им здорово помогли тракторы и плуги, от которых верблюды садились иа землю в страхе, а белуджи — от изумлеиия.

— Мы происходим от Амир-Саата,— говорили они,— а от кого происходит это?

— Что такое Амир-Саат? — говорили мы.— Легеида. А трактор — вот ои и происходит от рабочей революции. Но сами белуджи иемиого поиимают в хлопке. За ними иужеи глаэ да глаз. Земледельческий опыт кочевиика, прямо сказать, иезиачителеи. И догадала же их судьба поселиться этакими иовичками земледелия в райоие, где самые мощиые ирригациоиные сооружеиия Туркмеиии! Ведь одиа плотииа Султаи-Беита — древияя, и та так велика, что с ией может коикурировать только создаиие Джоиа Эрда — Ассуаиская плотииа в Египте иа Ниле, я ие говорю, коиечио, о иовых советских плотинах. Потом, здесь русло Мургаба перегорожеио плотииой со щитовым водосливом по системе Пуаре: сто восемь кубических метров воды в секуиду. Благодаря этой плотиие воды реки могут быть подняты иа шесть метров выше ордииара. Из этой запруды вода выпускается через щитовую плотину по каиалу в особое водохраиилище, образуемое старым руслом Мургаба и земляиой дамбой, соединяющейся с глубоким оврагом, по которому в древиости протекал Мургаб. Вода между двумя щитовыми плотииами этого оврага, делящими его иа две части, имеет три миллиоиа кубических метров иаполиеиия. Да выше этого места, у плотиины Беидер-и-Нарыр, имеется еще бассейи до двадцати километров длиной. Вы запутаетесь прямо в этих сооружеииях. И вот сюда, в эту инжеиерную сложиость, посадили белуджей. Ничего, сидят...

Одиообразиый стук доиосился иэ черных шатров вчерашних кочевиков. Это жеищины перемалывали иа ручных мельиицах пшеиицу. Горсть за горстью измельчалась

она с изводящим душу каторжным стуком, худшим, чем пронзительный визг чигиря, потому что чигирь как-никак обходился верблюдом, а здесь женщины за два часа непрерывного труда едва-едва набирали два-три кило муки.

От толпы работающих отделился старый белудж. Он шел, как патриарх, на фоне библейского желтого пейзажа, с кетменем, закинутым за плечи. Огромная чалма обвивала его бритую голову. Черные щеки блестели над белой, полной пыли бородой. По-молодому горели только глаза, а жилистые руки устало сжимали толстенную палку кетменя, как посох. Он не мог быть Монсеем, ибо заповеди уже даны. Они написаны на машинке и висят в аулсовете, в Иолотани в районном Совете, и известны председателю колхоза. Там сказано и о земле, и о почитании урожая, и о мерах повышения качества хлопка, и о работе тракторов, и о наказании нерадивых, и об ударности, и о тракторных грехах, малых и больших — об «огрехах», и о многом другом, о чем Монсей не догадывался.

Со стариком рядом шел человек, с рукой, завязанной в свежую баранью шкуру и немиловерно опухшей. Змея укусила его в ладонь, и первое средство белуджей в таком случае заключается в том, что они всовывают руку в свежую баранью шкуру, шерстью наружу, на несколько недель. Я думаю, что после такого лечения рука превращается очень просто в одну сплошную рану. Но, если белудж пользуется всю жизнь водой только для питья и приготовления пищи, то не удивителен и этот способ лечения.

— Они искренне сейчас привязались к трактору,— сказал мой знаток,— потому что он сильнее их и освобождает от работы, приближает урожай. Ведь они почти никогда не едят мяса, даже чай пьют далеко не все. У них за душой имущество — пара камней, которыми растирают зерна, кувшин, бурдюк для воды да две чашки, из которых едят все руками. Их поэтически черные шатры — это же скопище болезней. Туберкулез косит этих «могучих», если верить историку, «богатырей». Стада у них жалкие, по двадцати голов. Зимой они не могут вынести холод в своем разорванном шатре. Они внутри его выкапывают гробы, форменные земляные гробы, стелют туда солому, и муж с женой забираются в эту солому, в этот гроб, где так тесно, что нельзя пошевелиться. Холод загонит и в собачью нору, не правда ли?

— Каково же их будущее? — спросил я. Белуджи закончили работу и, рваные, загорелые, изможденные, тихо

подымались из оврага, перекидываясь гортаниыми своими фразами.— Что оии социализму и что им социализм?

Мой зиаток иемедлению отвечал:

— Социализм — единственный выход. Будь ты распробаидит, коиец тебе не за горами. С этим ие проживешь. Им нужио или стать как все, научиться работать, тяжело работать, ио с увлечеиием, со рвеиием, со сверхзаданием, почуять землю, что иазывается,— или погибиуть. А нищенство их видеть без коица уже иадоело. Пусть, дьяволы, хоть теперь поедят досыта через свой труд.

Старый патриарх подошел к иам и попросил папиросу. Он оказался вовсе ие стариком. Ои просто зарос волосами и был худ, как Иов. Он был человеком средних лет, состарившимся раньше времени.

ПРИЗРАЧНЫЙ КОЛХОЗ

Прежде чем говорить о романтическо-неустойчивом характере белуджей, нужно сказать два слова о фисташках. В местиости, отстоящей от Кушки на семьдесят пять километров, в стороне Пуль-и-Хатума лежит фисташковая роща глубиной от восьми до тридцатн километров, где стоят до пятисот деревьев иа гектар. Роща никем как следует не охраняется, никому не нужна. Если считать, что с одиого дерева можио снять бедно-бедио двеиадцать кило фисташек, то это даст не менее полутора миллионов рублей дохода. Фисташковые деревья в этой роще достигают толщины обхвата. Прииимая во внимаиие, что годичиый слой древесииы не толще листа оберточной бумаги, попробуйте сказать, сколько столетий этим героям! Там же есть соленое озеро, куда за солью, взяв соответствующее разрешеиие, пускаются мервские караваны. Прибыв в край благословениой фисташки, никем ие собираемой и не охраняемой (проектов написаны холмы, резолюций выиесено вполне достаточно, но сделано пока очень мало), люди Мерва, будучи практичными от природы, собирают в свои мешки известиое количество фисташки и отправляются в обратный путь, предварительио, коиечио, забрав основиой свой продукт — соль, чистую крепкую соль Ойрандузгеля. У них спрашивает таможия пропуск на соль, и они его предъявляют. У них спрашивают пропуск на фисташки, и оии тщетио его ищут в халатах. Они могут и ие искать.

Они его не имели и не имеют. Тогда фисташки конфискуются и поступают в распоряжение Госторга. Госторг отправляет их на внутренний или на внешний рынок, не спрашивая их происхождения.

Так вот, к слову сказать, местность около границы Персии и около границ фисташкового изобилия имеет почву столь благодатную, что на ней произрастают ячмень, пшеница, дыни, арбузы и прочие, не менее занимательные для хозяйства украшения природы.

В этой местности белуджам предложили сесть на землю и основать колхоз. Собрали собрание. Много раз белуджи оглаживали бороды и просили слова для разъяснений и задавали вопросы, и наконец, к общему удовольствию, все уладилось, и колхоз был основан. Подчинен он был Серахскому рику, и восемьдесят семейств установили свои шатры с наивозможной прочностью и приступили к трудному и благодарному делу — обрабатыванию земли впервые за свою странническую жизнь.

Конечно, на первых порах все было не совсем стройно, но им достали европейские плуги, присылали инструкторов, советовали, указывали, контрактировали, и в конце концов кочевники почувствовали себя настолько колхозниками, что, собираясь по вечерам у стен своих прочно стоявших шатров, они пили чай и наслаждались двойной тишиной: тишиной их мирного поселка и тишиной возделанных полей, обильно политых их трудовым потом. Скота у них было много, скот отъелся, пожирнел, арбузы и дыни на громадной бахче в тридцать га разлеглись, как тяжелые кабаньи головы, саману для скота было заготовлено тысяча с лишним пудов, хлопок чувствовал себя превосходно, уже свисала его белоснежная нежность вдоль стенок лопнувших коробочек, среди изумрудно-темной зелени,— как в один из таких вечеров среди других проезжих оказался фининспектор.

Он осмотрел все и остался всем доволен. Остался он особо доволен состоянием скота, который в лучшем виде проходил перед его восхищенным взглядом. Уезжая, он благодарил за прекрасный плов и ночлег. Потом пришла бумажка финотдела на имя председателя аулсовета, и там было сказано, в этой бумажке, что с аула, за его великое множество прекрасного скота, следует двенадцать тысяч рублей налогу, что́ необходимо внести в оговоренные в бумаге сроки.

Тут на колхоз надвинулась ночь, и председатель ауль-

совета, мудрый кочевник, живший с мыслью, что утро вечера мудренее, оставил дело до утра.

Через две недели проезжавший через колхоз пограничник был поражен необычайной тишиной. Всюду лежали груды собранных спелых дынь и арбузов, аккуратно сложенные стены самана возвышались между дувалов, плуги стояли степенно, начищенные, в глиняной клети, и ни одного человека, ни одного животного не было во всем колхозе. Молчаливые постройки угнетали всадника. Он покричал людей, удивился и поехал наводить справку. Оказалось, что в ту же ночь, перед которой прибыла бумага финотдела, весь аул откочевал в Персию, предварительно наведя полный порядок на свое удивительное хозяйство.

КЕРИМ-ХАН

Говорят, его возвышение началось с двух винтовок русского образца, снятых с убитых белогвардейцев. Есть другая версия, по которой две винтовки заменяются вагоном разнообразного оружия. Так или иначе, но, когда Керим-хан, общепризнанный глава белуджей, идет среди своих соплеменников, к его одежде почтительно прикасаются и даже целуют его руки. Когда его шатер стоял на границе около Серахса, белуджи с персидского берега молитвенно следили за его черными стенами, и только что шатер исчез, они переходили реку вброд и брали в мешочек горсть земли, на которой сидел большой человек племени. По ним стреляли, принимая их за контрабандистов. Правда, сам Керим — тоже любитель мешочков. Его громадный шатер подымают с места в разобранном виде пять верблюдов. В этом шатре стена, сложенная из ковров, паласов, сюзане, кусков материи и чувалов, отделяет часть семейную — интимную, с очагом, женами, детьми, постелями — от части официальной — громадной площади, устланной кошмами, с местом для костра посередине. В углу отгороженной стороны стоит бунчук с выцветшими конскими волосами — древний знак кочевничьей власти. На бунчуке висит корджум, в одной сумке которого редкий Коран, в другой — два мешочка с землей: землей из Мекки и землей его родины — Белуджистана.

В штате его двора есть телохранители, сытые веселые сметливые парни, есть личный секретарь (мирза), есть мулла, тихий и хитрый молчальник, кажется — бывший

турецкий офицер, есть конюхи, повара и мелкие ханы, имеющие право входить без доклада и делить с ним плов или чай.

Отца его повесил Абдурахман в Кабуле. Абдурахман слыл великим мужем меча, вождем Дурани, и у него всегда были серьезные счеты с людьми, живущими за Гельмендом. Керим-хан не любит афганцев. Зато когда из далекого Келата пришли к нему белуджи — музыкант, певец и плясун,— и шаар (певец) под звуки скрипки и свирели спел ему о большом орусе (пире, на котором все едят до отвала), а потом ударили зурна и барабан и в танец сабель вошли его телохранители, Керим растрогался, подарил пришедшим по верблюду, по куску материи и дал много разных мелочей на память. Артисты объехали все кочевья, восхваляя имя сильнейшего из вождей. У него есть сильный враг, и зовут его Ассадула-хан. У кого нет врагов? Керима не сильно почитают в Персии, но что делать, если белуджам пришлось волей судьбы знакомиться не раз с бытом персидских городов и деревень не совсем принятым в мирной обстановке способом. Сейчас, когда племя сидит на земле, разводит хлопок, имеет национальные аулсоветы и хочет во что бы то ни стало казаться земледельческим, Керим-хан отдыхает, но уши и глаза его видят и слышат довольно хорошо. Кроме того, он говорит по-русски и, несомненно, читает газеты.

Керим-хан встретил нас перед шатром, окруженный собаками. Громадные овчарки с отрезанными ушами, молодой сеттер Марс, волкодав Гурх, тазы — ярко-рыжие гончие с черными концами волос на спине и на ушах, поджарые, тонконогие, в смешных толстых попонках, множество щенков, валившихся на бок от собственных прыжков,— составляли его свиту. Ни один человек не задержал нас на пути к нему, и пастухи, приподнимаясь со своих мест среди саксаула, одним глазом глядели на передового всадника и умилительно продолжали дремать. Мы подъехали к самому шатру, потому что впереди нас ехал Шкильтер — сожженный пустыней латыш, знаток Керима и знаток многих известных и неизвестных вещей. Безлюдье длилось недолго.

Керим-хан хлопнул в ладоши, и выбежали люди, принявшие от нас коней. Мы вошли в шатер, где четыре жены вождя хлопотали над очагом за невысокой стеной, делившей, как я указывал, шатер. Верблюжьи седла стояли по краям шатра, как дикой формы складные кресла.

Керим сел, равнодушно оглядывая нас. Он уже знал, кто мы, и не был особенно потрясен. Врожденное искусство актера преодолело, однако, его равнодушие, и хан стал играть обычную игру человека, на которого привыкли смотреть как на не совсем обычного. Надо сказать, что среди поджарого голодного грязного племени он, несомненно, выделялся своим барственным видом. Простой пастух, дошедший до власти вождя собственным трудом, поражал упитанностью своей действительно воинственной фигуры и плавными сильными движениями; роскошные усы султанского образца, как черный жгут, пересекали его бронзовое лицо.

Тончайшей шерсти халат был накинут с некоторой небрежностью, белые шаровары величиной с Белое море и серая с черным шелковая чалма дополняли его костюм.

Вокруг него простиралась Азия. Она кончалась у того места перед очагом, где стоял латышский сапог Шкильтера, простой рабочий сапог интернационального большевика. Если бы не было Шкильтера и нас, все можно было принять за кавказскую сцену из времен Ермолова. Как рабы, стояли телохранители, собаки прыгали, заискивая перед своим повелителем. В разрез входных ковров виднелись черные рваные шатры кочевников, и вековой рисунок верблюжьей спины темнел над кустами пустыни. Трубил ишак. Время остановилось.

Я смотрел на свои спортивные туфли и думал о том, как мало знаем мы у себя на Севере, какими путями идет революция на Востоке — на Востоке, где будут еще величайшие события и пустыни потрясут мир откровениями.

Недаром старый коммунар Элизе Реклю предсказывал с упорством географа-историка, что судьба мира решится когда-нибудь в четырехугольнике, образуемом Гератом, Кандагаром, Газни и Кабулом. За ним лежат ворота в Индию.

Мы опустили ложки в котел, и кто-то спросил:

— Кажется, это пти? [1]

Тугие щеки Керима обтянула усмешка.

— Это не пети,— сказал он медленно.— Это не пети. У меня не чайхана. У меня есть просто кушанье...

Первая жена Керима принесла чай. Красивое лицо ее не выражало никакого смущения. Синее кольцо было вы-

---

[1] П т и — татарское блюдо, мясо в бульоне, с овощами, особым образом приготовленное.

татуировано на правом крыле носа и усеяно синими точками. Странно, но оно не безобразило ее. Сын вождя, маленький Джан-Ага, мальчик с лицом Тимура и с сжатыми крепкими желтыми кулачками, привалился к отцу сбоку. Он немного болезнен на вид, он сам знает это. Он старается быть старше своих шести лет. Он угрюмо озирается, с достоинством отвечает взрослым. Он сын Керим-хана. Он не должен быть смешным. Он не должен плакать от боли. Он не должен быть слабым. На него смотрит все племя. Мальчики ему завидуют. Его дядька — белудж — один из телохранителей хана. Джан-Ага выпрашивает у отца патроны к мелкокалиберному ружью, но держать его в руках он не может. Ружье слишком тяжело и велико. Телохранитель становится на четвереньки, ему на спину кладут ружье, и мальчик, расставив ноги, крепко охватив приклад, старательно целится. Он не смеет промахнуться. Он должен быть достойным отца сыном. Прежде чем нажать курковый спуск, он пыхтит, сжав губы, странный и злой, как маленький Тимур. У него делается почти монгольский вид. Выстрел. Он сбивает бумажку, попав в центр черного кружка. Лицо его становится другим. Оно все светлеет, и зубы, острые зубы степного мышонка, блестят под плоскими губами. Отец доволен. Он гладит его по руке и, пошарив в кармане, бросает ему еще два патрона. Мальчик трется головой о его бок.

Керим любит водку. Всюду в Туркмении в простом быту водку называют блондинкой. Он дал ей прозвище по своему вкусу — персидская вода. Водку пьют из пиал. Подходит вечер. Фисташковый весенний вечер наполняет пустыню зелено-лиловым светом. Кусты саксаула стоят как нарисованные — «не то они художники, не то они священники», как сказал о кактусах Маяковский. Холмы громоздятся в пьяном беспорядке. У самого неба на дюне стоит верблюд. Под черными шатрами ползает серый дым костров. Цветы перебегают под ногами по земле с быстротой ящериц. Ломкие кусты трещат под прыжками собак. Гурх гоняется за ослом, стараясь схватить его за длинные уши и повалить. Он поймал ухо, повис всей тяжестью на нем и, ударяя ногами в плечо пленника, валит его на землю, весь извиваясь от восторга. Керим рад. Древний номад проснулся в его сытом теле.

— Я лишенец? — громко говорит он.— Кто называет меня лишенцем? Я чекист с восемнадцатого года.

И он велит принести ружья. Их приносят. Они разных

систем и калибров, будто где-то неподалеку только что разгромили охотничий магазии.

Какая же здесь охота? Неужели вот тут, рядом с шатрами, в этих низких пустых кустах появляются звери? Собаки, однако, бегут вперед с самым вызывающим лаем. Люди весело разбредаются по кустам, и уже первые клочья порохового дыма зацепились и раскачиваются на ветвях гребеичука. Между кустов появляются зайцы. Оии появляются совершенно иеожидаино. На их оранжевых боках торчит похожая иа губку шерсть. Уши положены, как ложки. Ораижевые зайцы на фисташковом закате пустыни кажутся вымышленными. Этого ие бывает. В иих иевозможио стрелять. Оии смешны. Они похожи иа игрушечиых.

Собаки гоияются в разиых направлеииях. Они мечутся, как зайцы. Они молоды и, кроме того, чувствуют, что это ие иастоящая охота, а та обязательиая забава, шутка ради шутки, ради приезжих, что Кериму неохота стрелять и не с кем сопериичать. Взлетают утки, чирки трепыхаются в камышах, какие-то сиие птицы взлетают под иосом у Марса. Ои падает в воду иа пустой выстрел. Телохранители заставляют его вытаскивать палку вместо птицы, и ои поиимает, что это унижеиие ради практики, и подчиияется не сразу.

Крик и шум будят пустыню. Верблюды подымаются отовсюду, как ожившие шатры, и плюют на собак зеленой слюиой. Джаи-Ага сидит иа плечах у своего дядьки. Его глаза полны оранжевых огоиьков. Ои ударяет дядьку, как лошадь, ногой, и тот бежит рысью.

Керим оглядывает лагерь и пустыию. Ои вспоминает, как плачут в этих черных шатрах жеищины, когда ои уезжает из кочевья. По традиции оии бьют землю и воют на всю окрестиость. Ои вспомииает, как ои загиал своего бегуиа-верблюда, животное белой шерсти и неслышиой поступи, долгий день гоня его карьером. Сердце его иаполняется горечью, нужно облегчить его. Он подымает ружье и целится в птицу, серую, незаметную, маленькую. Она взлетает. «Нет, ты ие уйдешь!» — кричит ои про себя. Гурх приносит ему окровавлеиное тельце без головы. Пуля отстригла голову, как иожницами.

— Раз иочью,— говорит Шкильтер,— я люблю наблюдать за животиым миром, раз ночью в камышах иа Тедже не наклеил бумажку на мушку, чтобы увидеть, куда целить, кабан выскочил неожиданно,— откуда-то сбоку, и

сбил меня с ног, а пуля убила змею, ту змею, что если укусит человека, то из ушей и из глаз идет кровь, и он кончается, не сказав, чего он хочет.

— ...Есть зверь карабала,— продолжает он,— я много знаю животных, я много наблюдал их, карабала всегда идет и трубит впереди тигра, потом доедает остатки его пищи, потом ластится к нему, хочет играть. Если тигр его обидит очень, он мочится тигру в ухо, когда тот спит, и тигр околевает.

Невероятность вечера, блеск ружей среди саксаула, летящая куда-то вдаль фисташковая пустыня, тусклая свинцовая вода между камышей, толстые зайцы, пробегающие среди собак, черные шатры и пылающее небо — говорят одно: читайте Марко Поло, читайте путешествие Марко Поло. Как же велик фронт нашей борьбы — от усовершенствованных игл небоскребов, вонзившихся в индустриальное небо, до потного средневекового феодализма пустыни!

Железный латыш Шкильтер, ты прошел в пролетарских легионах путь от Вольмара и Вендена до Гиндукуша, за тобой осталась еще битва на Инде, и ты введешь свои пыльные сапоги в теплые воды Индийского океана.

...За нашей спиной стоит керосиновая лампа. Она ощущается как деталь бреда. Закутанные в белое, сбежавшие с картин молодого и бешеного Делакруа марокканцы, назвавшиеся на сегодняшний вечер белуджами, сидят, зажав между колен винтовки. Так они будут сидеть всю ночь, охраняя нас. На коврах чайники и пиалы. Зеленый чай охлаждает рот. Керим, развалившись совершенно свободно, на жуткой смеси фарси, русского и туркменского, быстро-быстро говорит, по-видимому, о многих любопытных предметах. Мы улавливаем в интерпретации Шкильтера основное; многое остается музыкой ночных сфер.

Керим спрашивает, вытягиваясь на ковре:

— Ты знаешь, сколько стоит Керим? Он стоит двести тысяч кран!

— А, я уже слыхал эту историю в Иолотани: и о том, как его покупала Персия, и о том, как Троцкий был согласен продать Керима Персии, и только Дзержинский защитил его. Я все это уже слыхал. Эту историю сочинил он сам во время поездки в Ташкент. Он так любит путешествовать в вагоне. Он был в Ашхабаде, в Чарджуе, в Самарканде, в Ташкенте.

Керим проводит по лицу рукой. Глаза его смотрят в дальний угол шатра.

— В Пуль-и-Хатуме,— говорит он (а, это уже интересней),— есть старые города, старые-старые города висят на скале, идти надо по веревке через колодец и подъемный мост. Большие богатства лежат в старых городах, в мертвых городах Пуль-и-Хатума...

Вот это, кажется, правда. Особенно если он сам положил их туда, эти богатства. Недаром он живет в треугольнике, обращенном к пустыне, к Теджену, к Персии. Большие богатства могут лежать в Пуль-и-Хатуме.

Он, неожиданно встрепенувшись, говорит очень бодрым голосом о Надир-шахе персидском, не победившем белуджей, потому что он клал верблюда и разрубал его ударом меча, а белудж клал на верблюда палку и разрубал верблюда вместе с палкой...

— Керим-хан, скажи, вернется ли в Кабул Амманула?..

— Не вернется, Амманула не вернется,— отвечает он как сквозь сон,— на Востоке не любят людей, которые бегут и потом возвращаются. На Востоке любят хитрых...

Шкильтер перебивает его:

— Курды крали у персов скот, догола раздеваясь, и так подходили к стаду. Собаки выли от страха, и все бежали. Им не за что было хватать курдов, и при луне они походили на мертвых. Так они крали скот...

Керим хохочет. Шкильтер, сам того не подозревая, сыграл роль минутной Шехерезады. Он развеселил султана. Чем оправдан этот апофеоз пустыни? — думаю я и выхожу из шатра.

Пустыня уже темна. Если ехать от шатра, у которого я стою, неделю в одну сторону, Парапамиз сменится Гиндукушем; если ехать месяц и другой, увидишь Сулеймановы горы, и за ними лежит Индия. По всему горизонту расположился фронт, исторический фронт борьбы: Афганистан — Индия — Персия. Может быть, вчера днем на голом полустанке мимо меня, в разорванном белье, с пеной факира на губах и невидящими глазами прошел Лоуренс? Времена Хаджи-Мурата далеко; проходят времена Керим-хана. Что думает аулсовет о своем вожде, состоящем у него членом ревизионной комиссии?

Керосиновая лампа коптит. Не зазвенев винтовкой, черная рука тянется к лампе и прикручивает фитиль. Пусть горит лампа всю ночь. Пусть гость видит, что пре-

дательства нет и не будет, что он проспит спокойно ночь и, если ему повезет, утром увидит, как придут к Кериму белуджи, получившие деньги в счет контрактации от Хлопкома.

Он возьмет от них деньги и будет делить между теми, кому он считает нужным дать по степени их бытовых затруднений. У этого волки порвали овец, у этого вторую неделю больна жена, у того пропал сундук со всем барахлом. И, если спросить каждого получившего деньги от Хлопкома, куда он девал их, он скажет, что он истратил все на себя, все на себя и ни на кого другого.

Посты белуджей не пропустят без опроса ни одного приезжего к громадному черному шатру, в котором сидит человек, думающий о том, что Риза-шах был когда-то неизвестным конюхом, и о том, что нельзя доверять никому: его отца повесил в Кабуле Абдурахман, а на его родине сидят персы вперемежку с англичанами. И самый известный хан среди всех белуджей, брахои и ламри сегодня — он, Керим. Мы проехали прямо к его шатру, не встретив никого. Часовые стали невидимыми, потому что впереди нас ехал Шкильтер. Тихий тяжелый человек, знающий пустыню, как свой карман; неизвестно еще, кто лучший стрелок по движущейся мишени: он, Керим, или этот «кочевник» пролетарской революции.

В ровном утреннем трезвом свете шатры стоят, как на сцене. Земля между ними вытоптана, словно для танцев. Одиноко стоит Керим у входа в шатер, озирая свои владения. Вокруг пасутся верблюды, ишаки, лошади. Кое-где ходят куры на высоких ногах, бойцового типа петухи с гребнями, загнутыми назад, ярко раскрашенные.

Стая играющих псов проносится мимо. Они сговорились с Гурхом разделить его забаву. Они налетают на ишаков, отделяют двух из них и гонят к Гурху. Гурх летит, подпрыгивая, но ишаки принимаются кричать так раздражающе-жалобно и злобно и так крутятся, что Гурху не допрыгнуть до их завидных толстых бархатных ушей. Ишаки прорвали цепь псов и умчались к шатрам.

Тут псы видят своего повелителя. До земли висит темный плотный конец его чалмы, и Гурх, забыв все на свете, хватает со всей силы этот заманчивый, похожий на опущенное ослиное ухо конец. Псы бросаются с радостным визгом на Керима. Они шутят, как настоящие азиаты. Ему остается или сорвать чалму, позволить собакам сорвать его чалму, или принять все за шутку. Он оглядывается. По-

близости, казалось бы, нет никого. И он начинает кружиться, как в танце сабель, разматывая чалму, на конце которой висит радостно урчащий Гурх со всей своей бандой. Он кружится, как толстый волчок, пока не размотает всю длинную широкую черно-серую ленту. Тогда он пинком отгоняет собак и медленно накручивает чалму снова на голову.

Теперь он пошутит с собаками по-своему. Он берет ружье и открывает пальбу по птицам, по кустам, по шатрам, и оглушенные псы наперебой несут ему сбитые головы, окровавленные перья, сломанные ветки. Он отдает ружье телохранителю. Он доволен. Утро начато хорошо.

Лагерь проснулся. В черных шатрах стучат камни ручных мельниц; дым из костров поднимается, как уходящий к небу последний сон. Кузнец звенит молотком по заплатам медного таза, женщины проходят мимо него, накрываясь черным покрывалом. Белуджи-пастухи целуют конец его мягкого халата.

Он провожает нас через свой средневековый табор, исполненный противоречий. Он говорит, и притворные слезы дрожат у него в голосе:

— Какие они бедные, мои белуджи, им надо много, много давать. Хлеба давать, материю давать, сахар давать. Эй, эй, какая нищета, когда они будут сыты, ай, что же это за бедность! Когда им будет жить лучше?..

Когда?

СВЕЖИЙ БЕЛУДЖ

Тоненький смуглый человек во всесоюзной форме милиционера, сложно объясняясь по-русски, чрезвычайно убедителен, когда, торжественно загибая пальцы, говорит:

— Во-первых, нас взяли от семейств, и семейства плакали. Во-вторых, мы учились многому, что нужно знать человеку. И в-третьих, семейства не будут плакать, потому что мы вернулись и будем работать. Наш народ, а! Наш народ. Вот он...

Он указал на едва прикрытое лохмотьями тело, сидевшее в сонном оцепенении в тишине нескольких деревьев.

— Он так ходит и зимой. Это велел пророк. Видите, мусульманские месяцы не обозначают времени года, потому что каждый год начинается одиннадцатью днями раньше. В некоторые эпохи это составляет важные препятствия для путешествия, скажем, в Мекку; в течение главно-

го страннического времени Дуль-Хаджи надо носить одежду Ирама, то есть ходить в очень легкой одежде, а месяц этот по круговому исчислению времени иногда приходится среди зимы, а иногда — среди самого лета... Так они готовы ходить всю жизнь в этих легких лохмотьях, будто они всю жизнь идут в Мекку. Ха, они даже не знают, где она расположена. Они даже не знают, что она такое. Они не веруют ни во что, кроме демонов. Они празднуют только покупку жены и рождение первого сына, а то и другое бывает раз в жизни и не у всех...

Он замолчал. Между красных полос тюльпанов и маков желтели странные желтые ромашки, толстые, круглые...

— Я учился, и шестьдесят товарищей ехали тоже со мной. Мы должны брать еще шестьдесят и посылать еще учиться. Довольно жить так, лежа в тени случайного дерева. Я видел Мескев, как живут там, а как живут в Ташкенте! Вот как надо жить, а тут ударил один раз кетменем и занес второй раз, и уже прошла жизнь. Девятьсот хозяйств мы поставили на колхоз. Пусть работают...

Три всадника прошли мимо нас. Вооруженные, легкие, как птицы, смуглые, как фисташки, они поочередно оглянулись на моего спутника, и один закричал насмешливым голосом длинное приветствие. Молодой человек коротко прокаркал ему в ответ и недовольно посмотрел в сторону.

— Это ханы,— сказал он.— Скажи, пожалуйста, что ясней тебе говорит в глаза? Красные тюльпаны или этот желтый цветок? Ты скажешь — красный, и я скажу — красный. Аулсовет сейчас у хана ничего не значит. Председатель сидит и ест плов, если ему дадут, а если не дадут, он уйдет и так. А человек хана на хошарных работах камчой стегал тех, кто, ему казалось, плохо копал. Дехканин подставил ему кетмень, он разбил руку до крови, жаловался хану. Это дело, товарищ. Ты видал, они скакали и смеялись, потому что я белудж и на мне красная с желтым форма. Если бы я сказал: я один — они бы смеялись громко, но они смеялись тихо — нас шестьдесят человек учатся всему, и мы уведем от ханов наши семьи...

Неожиданно за нами раздался крик. Мы оглянулись. Белудж, спавший в тени деревьев, догонял нас, разметав по ветру лохматые свои одежды. Догнав нас, он спросил:

— Тарелками землю пашут здесь, а меня забыли, поле мое забыли.

— Что значит тарелками? — спросил я.

— Он называет тарелкой дисковую борону. Темный человек. Дайте, я ему сейчас все объясню, почему трактор сегодня не пришел. Не пришел трактор, а ты мост чинил, а? «Не чинил»,— сказал он мне, переводя свой разговор с отошедшим в раздумье поселянином.— Нет моста, так как же он пройдет? Поставь завтра мост, будет и трактор.

Белудж погрузился в свои сложные думы.

— Послушай, иолдаш [1], ты говорил давеча про ханов, а что ты думаешь о Керим-хане? Ты знаешь Керим-хана?

Он поднял брови, но лицо его не отразило ничего особенного.

— Керим-хан...— протяжно и не сразу ответил он.— Керим-хана я знаю, конечно, знаю. Керим-хан — он нам немного нужен. Он пусть чуть-чуть останется. Он уйдет последним, иолдаш!

КАРА-КАЛА

КАРА-КАЛИНСКИЙ ДИАЛОГ

Разговор происходит на площади, похожей на блюдо, ибо вся Кара-Кала состоит, как лопнувший воздушный пирог, из громадной желтой площади и узкой зеленой полоски, намазанной по желтым краям. В этой полоске белеют дома и живут люди.

К а р а к а л и н е ц. Ну, как вы добрались?

П р и е з ж и й. Благодарю вас, замечательно. Из Кызыл-Арвата через Скобелевские ворота и разные ущелья, через Хаджи-Калу. По дороге только раз меняли шину, и это делается так, если у вас нет домкрата: вы набираете камней и подкладываете под каждое колесо спереди и сзади, чтобы оно не двигалось. Затем вы подкладываете горку камней под переднюю ось с таким расчетом, что, когда выкопаете яму под тем колесом, на которое необходимо надеть шину, кузов машины навалится на груду камней, и надо, чтобы эти камни выдержали вес всей машины. Затем вы углубляете яму, берете шину, смотрите, чтобы она входила свободно в яму, надеваете ее на колесо и начинаете выколачивать камни из-под передней оси. Они с трудом, но вываливаются, и вы можете ехать дальше. Спали

[1] И о л д а ш — товарищ.

мы чудно, в необитаемом доме, где на окне кто-то забыл ящик с засохшими акварельными красками и мертвого стрижа.

Каракалинец. А не говорили ли вам, когда вы собирались сюда: если вы не видали Кара-Калы, вы не видали Туркмении?

Приезжий. Говорили. Но мы, признаться, не сильно верим этому. Здешние горы все же не выше двух тысяч пятисот метров, а зелени в них до обидного мало.

Каракалинец. Что вы! Вы не видали Арпаклена, не видали Сумбара, не видали Ай-Дэрэ.

Приезжий. Я ничего не видал пока, кроме вашей избы-читальни. Большая комната, туркменские газеты с приличным опозданием, история компартии на туркменском языке в плакатах. Сидит человек и пишет заявления дехканам. Еще я узнал, что в Кара-Кале, в районе, из девятнадцати учителей только один кончил партийную школу, а все остальные пришли из старых мектеб или, в лучшем случае, из школ ликбеза, так что иные учителя не имеют за своей спиной даже школы первой ступени. Чему они могут научить и кого, если зимой снег завалит горные долины и не пройти из одного аула в другой даже взрослому? Как же придет в школьную кибитку ребенок, если до нее несколько километров расстояния?..

Каракалинец. Наш район весь в будущем. Он очень трудный район, очень сложный район. Если вы были на собрании в райкоме, вы убедились, как запутаны бытовые особенности.

Приезжий. Простите меня, но на собрании на меня произвел исключительное впечатление только председатель. Когда вставали агрономы и ирригаторы и рычали, как нервные леопарды, он единственный был на своем месте, уверенно говоря: «Товарищи, не надо истерики»,— и они, как школьники, кончали свою речь возгласами: «Разрешите выйти, выпить стакан воды!» Причем агроном уверял, что он не сможет отвечать за посевы, потому что ирригатор не даст столько воды, сколько обещал, а ирригатор клялся, что он снимает с себя ответственность за посевы, потому что все равно агроном не засеет столько, сколько он выпустит драгоценной воды, нужной для посевов, и она уйдет даром. Кое-как все же распутали эти узлы, и это сделал председатель, и никто иной. Теперь я понимаю, почему туркмены любят решительных людей. В иных случаях они говорили: «Не присылай человека просто по

делу, чужого человека. Посылай человека, которого мы знаем, что он сказал «да» — есть «да», сказал «нет» — есть «нет». Присылай наш человек, присылай ГПУ».

Каракалинец. Дело не в этом. Наш район весь в будущем. Земледелие в нем не слишком рентабельно, а хлопководство не представляет ничего особенного. Но вы должны видеть витерит, барит, миндаль, орех, инжир, гранат, гвайюлу, все возможности.

Приезжий. Я выезжаю завтра же.

Каракалинец. С кем вы поедете?

Приезжий. Мы поедем со старшим милиционером Нури. Кстати, помещение милиционеров в Кара-Кала, по-моему, единственное в мире. Они живут, как девушки. Шелковые занавески, шелковые одеяла, шелковые наволочки, ковры, блеск и чистота. На дворе клумбы, розы, голуби сизые, синие, белые, коричневые, фруктовые деревья, огород, виноград, свежая вода, тень — это милицейский рай.

Каракалинец *(пропуская мимо ушей слышанное)*. У нас трудный район, необычайное дробление родов. Население делится на сто двадцать восемь отдельных единиц, причем преобладают гоклены, за ними идут теке, ата, шиихцы, мерчали и другие. Хороших путей сообщения, кроме шоссе Кара-Кала — Дузлу-Тепе и Кара-Кала — Кызыл-Арват, больше нет. Вьючные тропы преобладают. Как вы нашли дорогу Кызыл-Арват — Кара-Кала?

Приезжий *(в восторге)*. Она стоит отдельного описания.

Каракалинец. Вот видите! Я думаю, недалеко то время, когда мы будем зарабатывать на туристах, беря специальные деньги за эту дорогу. Не правда ли?

Приезжий. Я видел ущелья Куначхира, Ингура, Ланжануры, Бомбака, Гарничая, Зеравшана, но это совершенно особое явление.

Каракалинец. Товарищ Луговской не пробовал положить это на стихи?

Луговской. Нет, это очень трудно. Это ощущается всем существом, а по существу писать об этом чрезвычайно сложно. Легко впасть в фальшивый тон.

Приезжий *(смеясь)*. Об этом написано уже у Эдгара По: «Через ад, через рай все вперед поезжай, и найдешь ты страну Эльдорадо».

Каракалинец *(не знающий, кто такой Эдгар По)*. Совершенно верные слова. Ай-Дэрэ и будет наше Эльдора-

до, «адом», скажем, может называться дорога от Кызыл-Арвата до Кара-Кала, а «раем» — ну, хоть сама Кара-Кала, с Сумбаром вдобавок. Непременно поезжайте на витерит, барит, миндаль и орех, а сегодня идите обязательно смотреть гвайюлу.

В БОРЬБЕ ЗА ГВАЙЮЛУ

В красноватом вечернем свете из бумажных стаканчиков, поставленных в невысокий ящик, не шевелясь смотрели бледно-зеленые растеньица с длинным листиками, концы которых походили на копья с маленькими выступами у самого острия. Растеньица были тщедушными и мелкокровными и казались бы не жильцами на белом свете, если бы не острая, почти надменная бодрость их листиков, тянувшихся к вечернему солнцу.

Мы смотрели с особым вниманием на эту детскую породу, так старательно разделенную, получившую особую жилплощадь, теплейший уход и любовь, граничившую временами действительно с ненавистью.

Но что значило наше внимание, внимание случайных путников и любителей необычного, когда такие главковерхи науки, как Эдисон, и такие хозяева главковерхов, как Форд, поставили задачей своей жизни подчинить себе это растеньице с острыми злыми листиками или придумать, да, придумать, создать нечто ему подобное.

— Нам нужно найти растение,— сказал Эдисон,— один фунт резины от которого обходился бы нам хоть в два доллара. Мы не стоим за ценой. Нам нужен каучук.

Откуда такая расточительность, такая зависимость между опытной станцией Кара-Кала и Детройтом? Почему наш провожатый тоже повторяет слова «Великого Мастера», но несколько по-иному?

— Мы должны иметь это растение у себя. Мы в десяти — двадцати местах устроим его на туркменской земле и посмотрим, и я думаю, что через пять-шесть лет мы что-нибудь скажем положительное, не хвастаясь. Требовать от людей — необыкновенного — обычное дело. Но заняться всерьез изысканием способа культивирования растения, подобного этому, и сразу же на огромной посевной площади,— это дело вполне необычное и серьезное.

Да, я согласился с этим вечерним голосом, объяснявшим мне среди недавно дикой туркменской глуши новые

истины чрезвычайно авторитетной и храброй науки. Выхода иного нет.

Мы ввозим ежегодно пятнадцать тысяч тонн каучука и гуттаперчи на сумму в двадцать четыре с половиной миллиона рублей. Какое это имеет отношение к бледно-зеленому растению? В громадном фолианте, изданном к столетию открытия Америки, можно видеть индейцев, играющих в черные небольшие мягкие шары, отскакивающие от земли. Эти мячи и Эдисон, и Форд, и наш Внешторг, платящий миллионы за гуттаперчу и резину, имеют к этим бумажным мешочкам-стаканчикам самое прямое отношение, ибо это скромное растеньице есть могущественнейшая поставщица каучука — гвайюла.

Вот оно высажено из стаканчика в особо приготовленное поле. Земля в Кара-Кала крепкая, трескающаяся от полива и действия солнца. Ее нужно смешать с навозом и песком. В поле гвайюла уже выше ростом. Она чем-то напоминает нашу полынь, подсолнечник, но чем-то неуловимым. Чужое растение смотрит, как гость, который ждет, что будет дальше. Оно забыло, что на своей родине, в Мексике, им долго с благодарностью топили печки, ибо взрослая гвайюла — это до метра вышины смолистый кустарник, великолепно горящий, как саксаул или терескен.

Казалось бы, взять американские семена, состав почвы, излюбленный гвайюлой, найти подходящее климатическое место в нашем Союзе, в его субтропических областях, подобное нагорью Чихуахуа, и дело сделано. Увы, это далеко не так просто. Эрнст Ллойд, первый научный крестный папаша каучуконоса — гвайюлы, сидел годы над ее изучением и передал это дело ботанику Мак-Калламу, и этот последний шестнадцать долгих лет изучал его тайну — и изучил. Но он, вернее — Междуконтинентальная каучуковая компания, от лица коей он работал, не очень-то хочет поделиться своим открытием со всем миром, отчего в трудах Мак-Каллама есть темные, как египетские иероглифы, места, нарочитые умолчания. Так, например, очень важный момент в плодоношении гвайюлы то, что американцам удалось довести процент завязывания семян почти до девяноста и выше, он, к сожалению, покрыл гробовым молчанием и способы, какими достигается такое полное плодоношение, предоставил разыскивать всем желающим.

Тогда началась борьба за гвайюлу на нашей почве.

Гвайюла дает на гектар тонну каучука. Это итог, к которому следует стремиться. Но до этого еще далеко. Опыт-

ная станция находится сейчас в описательно-изыскательном периоде, если можно так сказать. Она могла бы, конечно, заняться кунжутом, люфой, бомией, дающей семена, подобные кофейным и превосходящие по качеству в поджаренном виде знаменитое мокко, или соей, растением оригинальным и почти философским, но задача освобождения советского рынка от заграничного каучука слишком выгодна и любопытна, слово осталось за ней.

Первые семена гвайюлы, полученные из-за границы, были с примесями сорняков. Их отсеяли. Применение инфильтрации при всходах гвайюлы в грунте результатов положительных не дало. Гвайюла капризна, как настоящая мексиканка. Она боится избытка влаги в почве, она боится ветра, холода, неравномерных осадков, семена ее очень мелки, всходят они у самой земли, как будто особая осторожность держит их на привязи. Размножение гвайюлы приходится основывать исключительно на посеве семян, говорят авторитеты. Поэтому часть гвайюлы в Кара-Кале обращена на семена путем вызывания повторных цветений при поливах. В прошлом году, согласно опубликованным сведениям, семенник дал урожай в четыре тысячи граммов семян. Десять тысяч рассады, выращенной за зиму, и десять тысяч рассады с лесокультурной станции Наркомзема и пять тысяч из Ташкента — это созданный семенной фонд для развертывания борьбы за гвайюлу в широком плантационном размере.

Обращение с этим растением требуется очень осторожное. Семь месяцев однажды у Ллойда лежали семена в унавоженной почве без движения — и дали обильные всходы. Всякое же органическое, например, удобрение, кроме чилийской селитры, убивает гвайюлу, как и зола. Кроме того, она живет по закону: чем меньше воды, тем толще кора, и обратно. Зрелость гвайюлового куста достигается в природе, как уверяет Мак-Каллам, к концу пятого не то седьмого года. Но сами американцы достигли того, что получают готовое растение к концу четвертого года. Гвайюла выбирается с плантации вся, вместе с корнями. Американцы построили все на полной механизации производства и заявляют, что ведутся работы по засадке шестисот пятидесяти тысяч акров земли в Южных штатах, с таким расчетом, чтобы в ближайшие годы покрывать четвертую часть нужд своей каучуковой промышленности отечественными продуктами.

Все это узнал я, стоя над бледными, так и не желающими изменять цвета кустами гвайюлы, переходя от немощных стаканчиковых малышей до взрослого населения, отростки коего укутаны в бумажные мешочки уже сверху, чтобы не было излишнего воздействия солнечных лучей и произвольного опыления. Опыление производится искусственно.

Перезимовавшая рассада держится бодро, как и ее воспитатели, верящие, что выживающий, прошедший сквозь зиму сорт при этой селекции будет основателем каучуконосных полей Туркмении.

Выделенная рассада брошена в десять разных пунктов, в разные почвы, в разные климатические условия и находится под постоянным надзором. Существует специальный инструктор, непрерывно разъезжающий по этим гвайюловым владениям от аула Кеши до ущелий Верхнего Сумбара, записывающий все ее жизненные изменения, вероятно, не без трепета.

Кроме того, переписка с Сухуми, Ташкентом, Азербайджаном дает возможность следить за опытами в тех краях, где также заинтересованы в этом индустриальном растении. За свою поездку по Туркмении мы привыкли к неожиданным людям и контрастам, о которых понятия не имеют на Севере, вообще плохо представляющем, что такое советский Восток сегодня. Надо сказать прямо, что скромные тихие люди, в тиши субтропической станции следящие за каждым вздохом вверенного им дикого и такого ответственного растения, не менее героичны, чем исследователь пустынь, остающийся с несколькими бутылками воды в безводной шири, или пограничник, отбивающий вшестеро превосходящего его врага.

Первоначальный путь пересадки гвайюлы на советскую почву был ознаменован одними неудачами. Мы знаем из истории, как часто великие неудачи терзали людей, поставивших себе целью во что бы то ни стало добиться истины. Добиться гвайюлы так, чтобы, как в Америке, она засела бы у нас не гостьей, а постоянной жилицей на тысячах гектаров,— это значит не пить, не спать, не есть без особого волнения за маленький жалкий кустик, то страдающий от жары, то захлебывающийся в излишней влаге, то помороженный по капризу местной зимы, которая в этом году, несмотря на то что району приписывается климат Южной Испании, дала двадцать пять градусов ниже нуля.

Я обошел еще раз эти молчаливые поля, между которыми, как на теннисных площадках, стоят белые столбы с лесенками, только вместо рефери на них водружены рядовые метеорологические службы: дождемеры, флюгера, термометры. Поля, на которых вымерзла гвайюла, темнели пустыми полосами, как сровненная с землей братская могила.

Кусты гвайюлы, перезимовавшей благополучно, медленно поднимались от земли, точно удивляясь незнакомому пейзажу. Как я ни всматривался в их легкую и острую одежду, не говорили они ни о чем близком. Я бы сказал даже, что эти кусты смотрели с некоторой враждебностью.

Я думаю, и хотя эта мысль смешна с точки зрения научной, но я думаю, что мы должны переделать эту чужую гвайюлу так, чтобы она превратилась, не теряя своих качеств, в растение какого-то советского стандарта, отличное как от каучуконоса Чихуахуа, так и от каучуконоса Техаса. Может быть, через семь лет я увижу где-нибудь под Ашхабадом громадное вечернее поле, пересеченное прямыми линиями гвайюловых кустов, шпалерами будущих советских шин, или, наоборот, на задворках Кара-Калы, в глуши около дувала, притаится единственное заблудившееся выжившее уродливое растение, от которого отказались все.

Так около отхожих мест Хосты и Гагр стоят огромные, никому не нужные агавы, изрезанные всевозможными надписями. Мне почему-то кажется, что начатая с огромным напряжением борьба за гвайюлу кончится картиной первого порядка, и новое слово «гвайюла» войдет в быт наравне с иными заслуженными словами века индустриализации.

АРПАКЛЕНСКИЙ ВИТЕРИТ

Ты проедешь Сумбар,
И в полупочный пар
Ты минуешь рудник,
Арпаклен.

Рано утром на скалах, высоко громоздящихся над темной щелью Гебе-Сауда, можно видеть одинокого человека, медленно, но уверенно прогуливающегося по горе. Большой соблазн принять его за тролля туркменских гор, охранителя горных богатств, обходящего свои владения. Это и есть, если хотите, тролль, но тролль проле-

тарский, вполне осязаемый и действительно охраняющий богатства, да еще первые в мире.

Желтые камни, которые он трогает, совершенно особые желтые камни. Для того чтобы увидеть их братьев в другом месте, нужно пересечь Европу, и только в Норфольке, в Англии, вы встретите еще один рудник по добыче витерита. Витерит похож на окаменевший мед. Он густо-желт, с белыми застывшими, как бы сахарными жилами. Путь его до человеческих рук лежит из самых далеких недр земли.

Газовые вещества, подымавшиеся с раскаленными массами при перерождениях мира, заняли трещины земной коры. Пары сернокислого и углекислого бария и ртутных солей — барита и витерита — пришли вместе с ними. Миллионами тонн залег тяжелый шпат — барит и его драгоценный родственник — витерит. Местами он изогнулся кристаллами причудливых рисунков, походя на белый коралл, усеянный серебряными блестками...

Витерит дает хлористый барий, совершенно необходимый в сельском хозяйстве, в фарфоровом деле, в деле изготовления редких ядов и еще кое-где.

Пролетарского тролля, каждодневно со всем знанием дела проникающего в тайны витеритовых залежей, зовут Сидоровым. Он — донбасский горнорабочий. Если партийцы — будапештский садовник Сабо прекрасно командует войсками в ущелье Кушки, если берлинец Ватолла с итальянской живостью и немецким упорством внедряет социализм в труднейший округ этой страны — Красноводский, если великолепный латыш Найнис стоит на страже трудовых колхозов перед лицом басмаческого Афганистана, если неистовый Куперштоκ, первый из советских могикан, влюбленный в огромную желтизну Каракум, держит пространство между Тахта-Базаром и Ширамом в своих молодых руках ревкомовца, то почему бы старому партийцу, активному работнику товарищу Сидорову не прийти в глухую щель Арпаклена? И он пришел. Он, никогда не бывавший в горах, пришел без всякого удивления к белым скалам. Месторождение витерита было найдено горным инженером В. П. Соколовым в 1928 году. Рудник был заложен трудами энергичного Н. И. Деева.

По его указанию поставили четыре юрты, сделали глиняную халупу для конторы, подвал, где хранятся гулкие силы аммонала — глиняные громадные чашки, в них насыпается сено для лошадей. Ему пришлось подать торжественный сигнал к началу работ на склонах Арпаклена.

Помощник его, младший десятник Сидоров, о котором была речь выше, остается хозяином рудника в его отсутствие. Ему пришлось основать даже какое-то подобие особых курсов по подрывному делу, где он был единственным преподавателем, потому что привезенные забойщики сбежали с рудника, оказавшись людьми нервными и мелкими, а туркмены-рабочие, не знающие русского языка, с трудом постигали внезапное могущество взрыва, и если им не объяснять подробно всю сложность и ответственность этой специальности, они раскололи бы витеритовые глыбы на тысячи бесполезных кусков, а от себя на память оставили бы несколько образчиков обугленного мяса в изорванных остатках старых халатов. Надо было научить туркмен-рабочих работать с ломом и киркой. Это тоже не очень просто. Увлекающийся туркмен, сбросив халат, подставив спину беспощадному солнцу (очень тяжело работать в узком квадрате забоя в необычную жару, доходящую до сорока градусов), ожесточенно рубит сравнительно нетвердый витерит, не обращая внимания на то, что он подрубает куски, образующие выгиб свода, и готовые к оползню глыбы обрушатся на его же голову через несколько часов. Другой его товарищ, убирающий отбитые куски наверх, так занят своим делом, что, потея и тяжело дыша, не видит, да и, видя, не сразу соображает, что надо товарищу остановиться и перенести свои удары в другое место. Сколько бы было изранено и перекалечено народа, если бы не бдительный глаз старика десятника, терпеливо проверяющего каждый жест рабочего, каждую выемку капризного залегания витерита.

Пятнадцать туркмен-рабочих с утра рассыпаны по ущелью. Жилы витерита очень изворотливы и непостоянны. Когда начинается сбоку белый блеск, сплошная белая, как мрамор, стена и желтизны нет, значит, витерит кончился, значит, нужно искать его выше, ниже, идти в сторону. В этом месте Арпаклена единственное слово, с которым люди живут, едят, спят, с которого начинают разговор,— это витерит. Туркмены окрестных ущелий поражены этим словом, как заклинанием. Когда товарищ Сидоров едет на дальние осмотры возможных витеритовых залежей, к нему подходят в дороге туркмены и говорят, что они нашли тоже какие-то камни, и очень просят приехать посмотреть. Они говорят только «витар-витар» и гладят любовно камень, похожий по цвету на их сожженную кожу.

Места эти были совершенно пустынны и не исследованы. Путей, кроме узких тропинок, не было никаких, да и сейчас нет. А между тем вторые в мире залежи витерита заслуживают очень большого внимания. Они, может, в данном месте не так велики, как хотелось бы; может быть, на глаз подсчет запасов не превзойдет двух тысяч тонн (неизвестно, сколько его не открыто еще), но уже те двадцать два вагона, что были доставлены в Кызыл-Арват на спинах верблюдов, почти за двести верст от Арпаклена, есть уже приобретение, если принять во внимание, что Англия отказалась делиться с нами своим витеритом.

Кроме того, залегания барита в ущелье (и какого барита, если принять во внимание, что в довоенное время мы ввозили из-за границы свыше миллиона пудов в год) тоже не разрабатываются из-за отсутствия путей сообщения.

Желто-белые груды витерита насыпаны по уступам горы, как фундаменты будущих домов. Дома, несомненно будут. Сейчас внизу у ручья, гремящего по ущелью, стоит деревянный маленький домик, банька; перед ним на дворе ванна, и когда ее берут три европейца, коих мы застали на руднике, то они бросают туда пучки мяты и чабреца как дань азиатской колоритности этого места.

Рудник работает с января 1930 года. Сорок восемь вагонов витерита добыто за пять месяцев; не вся эта выработка доставлена в Кызыл-Арват, но уже одна цифра говорит сама за себя. Доставка затрудняется фантастически плохим состоянием путей и недостатком верблюдов. Эти причины очень удорожают материал.

Горы вокруг Арпакленской стоянки исследованы со стремительным упорством преданных своему делу людей. Не забудем, что на них, на этих горах, в иных местах не ступала нога европейца. Они делают открытия на каждом шагу, недоумевая и становясь подчас в тупик. Разрыв в одном месте почву, на глубине четырех метров, обнаружили помещение с древним сводом и почернелым дымоходом. В другом месте натолкнулись на кости непонятного захоронения, старые монеты, истлевшие тряпки. Туркмены заверяют, что ни один из них не помнит, чтобы здесь жил кто-нибудь на их памяти.

Рядом с этими находками обнаружены залежи странного блестящего синевато-стеклянного камня, откалывающегося длинными узкими пластинами при ударе, похожего на свинцовый блеск и на слюду. Очень любопытно бродить по такому, только что начавшему трудовую жизнь

месту. Еще люди заметны на горе только как случайные точки; еще витеритовые глыбы окутаны таинственным дымком счастливой находки; еще юрты, стоящие на горе, походят на лагерь путешественников, огонь костра — на бивуачный, еще люди, отходящие от бивуака во тьму ущелья, могут внезапно встретить барса или волка, фаланги падают с круглых решеток юртных крыш, тяжело шлепаясь о земляной пол, змеи убегают из-под ног рабочих, ручей внезапно цветет по неизвестной причине и становится негодным,— тогда находят родник, змей и фаланг сжигают, облив керосином.

Уже первый период робинзончества прошел. Откуда-то на свет костра прибежал пес и остался у Сидорова. Его назвали Боб. Пришел из ущелья, вызывающе мяуча, большой кот с какой-то словно обрубленной мордой и остался жить с людьми Арпаклена. Единственная женщина-туркменка исполняет обязанности кухарки.

В траве по колено бродит погруженный в витеритные думы любитель одиночества, рудничный бухгалтер и мечтатель Сизов. С ним идет играющий травами Боб. Сизов срывает цветы и собирает букет. Туркменская Швейцария окружает его поэтическую душу лучшими видами горных лугов, гранатовыми деревьями, кустами шиповника и барбариса. Ветер бежит по серебряным рядам ковыля, чудесный горный ветер. Сизов мечтательно вздыхает, нюхает травы и оглядывается. Он знает все эти вершины, все ущельные новости.

— Гранатовое дерево померзло в эту зиму,— говорит он меланхолически.— Вот там живет змея, истребляющая только желтых ящериц. Самый большой колокольчик вон на том склоне, а самый мягкий ковыль будет за этой горкой, внизу. Я гулял раньше с десятником Климовских, но он не любит так гулять. Я для компании беру Боба, и мы собираем с ним цветы. Потом у меня большая коллекция камней и кристаллов витерита. Таких не имеет ни Горный институт, ни Геолком.

Молчание ночи нисходит на ущелье. Костер горит, как сигнальный маяк на самом краю света. Внизу одиноко гремит ручей. Прохладная тишина гор подходит вплотную. Люди Арпаклена сидят все вместе за горячей кастрюлей с пышными макаронами: Сидоров, Сизов, Климовских. Входят кот и собака. На стенах висят винтовки. Лошади жуют сено из высоких глиняных чаш. Сидоров кладет ложку и своей бодрой походкой горняка идет к костру. Он

стоит лицом к главным забоям витерита, невидным в ночном тумане, но я знаю, что для него туман не существует. Завтра рано утром он возьмет свою тоненькую палочку и, похожий на горного тролля, пойдет снова мерить вверх и вниз по узким тропинкам ущелье и, презирая свою одышку от непривычки к горам, будет лазить на белые уступы, чтобы какому-нибудь заезжему человеку с довольной тихой улыбкой сказать, указывая на огромный, уходящий в пропасть утес, с виду не представляющий ничего особенного:

— Какие я тут забронировал кусочки! Посмотрите-ка, как дадут мне знак, такой барит пойдет, не нарадуетесь. Исключительная чистота!

Вы смотрите на этого исключительного человека, хранителя исключительных вещей, и вся трудность дороги к этому месту и вся легкая усталость испаряются из головы. Я вспоминаю кара-калинский разговор и сам хочу сказать всем едущим в Туркмению:

— Побывайте в Арпаклене! Обязательно, во что бы то ни стало побывайте в Арпаклене! Кто не видал Арпаклена, тот не видал Туркмении.

УЩЕЛЬЕ АЙ-ДЭРЭ

Если бы некоторые ущелья Копет-Дага могли превратиться, как в сказке, в каких-нибудь там богатырей или пастухов, это не важно, вообще в движущиеся и говорящие фигуры, вполне человекоподобные, они бы пришли в Ашхабад и загремели огромными, как громкоговорители, голосами:

— Какого черта вы не обращаете на нас внимания! Мы вам не нужны? Вы загордились? Или разбогатели так, что вы знать нас не хотите? Ну, что ж, через десять лет в Копет-Даге нечего будет делать по части рощ и всякого растительного добра. Стада сожрут последние молодые кусты и побеги, а кочевники вырубят последние плодовые деревья из того мирового запаса дикорастущих кустарников и плодовых деревьев, о которых расписывают вдохновенные ботаники. Если же вы хотите нас спасать, поторопитесь, товарищи,— где кустарники и леса полуострова Дорджа, где саксауловые рощи между Анау и Ашхабадом, где кызыл-дагский горный клен и арча, где фисташковые леса под Кушкой? Много их осталось? Вот вам историче-

ская пометка: в 1879 году свежий человек пришел в Хаджи-Калу и записал на память потомству: «Хаджи-калинская долина показалась нам после пустынных степей настоящим здемом. Здесь мы нашли превосходную холодную ключевую воду, какой уже не пили с Кавказа. Тут мы нашли и тень, и прохладу, и лес, и траву, и если прибавить к этому изобилие дров, всевозможной дичи, нами настрелянной, и дынь, арбузов и винограда, то не трудно себе представить, с каким удовольствием отряд наш отдыхал здесь, широко пользуясь всеми земными благами...»

Где эти земные блага в нынешней Хаджи-Кале? Где эти леса, переполненные фазанами и куропатками? Нет их, и такова будет судьба незащищенных рощ и лесов Копет-Дага в самом недалеком будущем.

Так говорили бы зти ущелья, если бы они имели голос, доходящий до Ашхабада. Правда, в Ашхабаде им ответили бы спокойным разъяснением столичных людей, привыкших разъяснять провинциалам:

— Мы знаем зто, успокойтесь, граждане. Мы наметили на 1930 год проведение работ по Кара-калинскому району. В долине Порхая: а) посев пробкового дуба с подгоном из местных пород (гранат, инжир, виноград и сумах) — площадь 10 *га*; б) закладка дендрария для наблюдения за другими акклиматизируемыми субтропическими растениями — площадь 1 *га*; в) закладка питомника для выращивания необходимого посадочного материала — площадь 0,5 *га*; г) опыты облесения предгорий ценными местными породами (фистапка, миндаль, гранат, унаби) — площадь 10 *га*. Ущелья Ай-Дэрэ: посев и посадка на склонах ущелья пробкового дуба, миндаля, фисташки, можжевельников, сосен, площадью в 3,5 *га*. Ущелье Кол-Дэрэ, Гузы и другие: посев пробкового дуба, можжевельников — площадь 1 *га*.

— Лучше поздно, чем никогда,— вздохнули бы на это аллегорические наши великаны и снова превратились бы в молчаливые темно-зеленые рощи, подобные рощам Ай-Дэрэ. Когда въезжаешь в это ущелье вечером и пересекаешь его бесчисленные ручьи и родники, то хочется говорить обязательно стихами про него, и очень простыми и наивными, потому что здесь действительно: травы брата родней, в темножильях камней родников отчеканена дрожь — лучше рощ, гибче вод, драгоценней пород ты в Туркмении, верь, не найдешь.

Эти фотографические строки, бедные со стороны звуковой, именно и вызваны тем, что внешний облик ущелья вызывает в мыслях самый употребительный для таких мест в литературе образ «Эльдорадо». Этот образ живет здесь заново. Богатства, сосредоточенные вокруг, бушуют, так же приливая к ногам путника, как бушевала золотая горячка, сводя с ума испанцев в горных провинциях Перу и Мексики.

Да, нужно быть окончательно слепым, чтобы не видеть, что здесь могут пропасть действительно драгоценные природные сады, единственные в своем роде. Я не говорю о красоте ущелья, о некоей привлекательности, романтической, начиная с огромной скалы у входа, похожей на мертвого пастуха, вокруг которого, как овцы, пасутся деревья по горе, про блеск и тончайшую пену зелено-синих вод ущелья, живописные скалы, ждущие туриста и фотографа, поляны, где, по Джеку Лондону, нужно ставить палатку, иметь девушку, винтовку и мула. Я уверен, что его Лунная долина ничем не лучше, да, может, и хуже, этого ущелья Ай-Дэрэ. Я не говорю про все это, как равно и про тот странный и богатый впечатлениями путь через Лунные горы, Долину смерти, Арпаклен и хребет Дузлу-Тепе, опьяняющую роскошь садов Куруджея, Уиджи и Дурды-хана. Само собой разумеется, что все это проделано во благовремении, и вот мы в ущелье. Отказавшись от всей литературной картины и впечатляемости, я хочу сухими и скучными словами нарисовать хозяйственный, практический пейзаж ущелья, чтобы читатель понял, что я не кормлю его одним лирическим салатом. Нет, я дам ему честный питательный бульон, где будут плавать некоторые цифры. Они не будут похожи на мух, их можно не вытаскивать брезгливо, а глотать, ибо это очень питательные цифры для хозяйственника и для организма общественного полезны в высшей степени.

Вы найдете здесь фисташку, дикую фисташку; это дерево так долго напрашивалось в друзья человечества и так обидно было отвергнуто и подвергнуто безжалостному истреблению. А между тем оно, как опытный житель здешних мест, росло там, где никакое другое дерево не в состоянии жить без полива. Оно не только доставляет каждые два года прекрасные плоды желтого цвета с розовым румянцем. Кроме плодов, орешки, образуемые на нижней стороне листьев, окрашены, подобно свежей фисташке, и очень похожи на ее плоды, так что туркмены говорят, что

фисташковое дерево один год приносит съедобные плоды на ветках, а другой год — несъедобные плоды на листьях. Вот эти-то орешки имеют громадный ход в красильном деле. Отвар их, смешанный с отваром марены или каштенили, дает вам возможность любоваться сочными изумительными малиновыми и глубоко-красными тонами на старых текинских коврах и шелках. Они сохраняют свою прочность до конца мира. Анилиновые краски перед ними — детская мазня.

Если вы вспомните, что Копет-Даг стоит на первом месте по числу плодовых пород, встречающихся только в данном участке, имея одиннадцать видов диких плодовых деревьев, свойственных только ему, и за ним, отступая, идут даже такие богатейшие области, как Тянь-Шань и Таджикские горы (Восточная Бухара), то вы проникнетесь уважением к его ущельям, героически отстаивающим от бессмысленного топора кочевника и чрезмерного аппетита животных свое существование.

Тысячи килограммов горькоминдального масла ввозим мы ежегодно из-за границы, не зная, видимо, что в ущелье Ай-Дэрэ стоят двенадцать тысяч миндальных деревьев, что десять тонн миндаля собраны только на первых пяти километрах его, а ущелье тянется на целых двадцать пять километров.

Двести тысяч кило эфирных масел пришли к нам из Европы за наше трудовое золото, когда целыми заброшенными, глухими участками по ущельям разбросаны такие эфирно-масличные растения, как сумбул.

Биолог Шон нашел недавно, что излишняя доза ультрафиолетовых лучей задерживает рост растений. Я не знаю, есть ли в Копет-Даге эти излишки, но там, где скот и люди не успели сделать свое дело уничтожения, чаща залита прекрасными растениями, нашими союзниками и друзьями в борьбе за существование.

Я назову одну хорошую цифру. Хотите вы иметь на вывоз сто пятьдесят тонн грецкого ореха? И какого ореха! Экспортного, лучших сортов, того ореха, что называется каракос, размером пять сантиметров; тонкая скорлупа его не уступает ни американским, ни французским сортам. Пойдите в Ай-Дэрэ, выгоните из ущелья стада трех аулов, запретите порубку, и вы будете иметь эти сто пятьдесят тонн, если не приложите никаких особых усилий к расширению добычи ореха. Если приложите — собирайте без счета свыше.

Дикий виноград, обвивающий арчу, если его сортировать, откроет свою принадлежность к лучшему винному и столовому сорту. Его можно легко собрать до трех тонн в этом славном полузабытом ущелье.

А колоссальные залежи туркменской ежевики, никому здесь не нужной и не собираемой вовсе, а дикая груша, гранат, который не столько ради вкусового удовольствия, сколько ради корки, дающей краски и дубильные вещества,— очень пригодился бы.

Разве пересмотришь все богатства этого ущелья? Джида, ясень, клен, карликовая черемуха, рябина, притаившаяся в густых зарослях, айва, растущая только в ущелье Ай-Дэрэ и у моста Пулисанг на реке Вахш, боярышник, скромные серые листья которого, войлочные и пушистые, пусть ничего не стоят, но ягоды его продавались в вольной продаже случайно на базаре Ашхабада по шестьдесят копеек кило, кизил, дикая алыча — слуга вареньев и компотов, колючий губчатолистный барбарис, дикорастущая слива на щебяных склонах щели Шалкос, черная шелковица (шахтут) и — на самом краю обрыва — инжир простирает свои жестко-шершавые листья, гордясь плодами, которые превосходят все прочие дикие инжиры, какие когда-либо были обнаружены в Средней Азии.

Над всем этим изобилием как предостережение висят сухие склоны полустепи и жесткий скептик — трагонитовый астрагал. Полынная степь выше этих склонов выжжена и высушена так, что почва превратилась в легкую безжизненную пыль.

По ущелью бродят коровы, и козы, и овцы и сладострастно обжирают кусты и деревья. Гоните их к черту, дорогие товарищи, пока они не сожрали всего!

Возможно, что все эти фруктовые богатства остались от исчезнувших неизвестно когда людей, населявших ущелье. В нем имеются развалины фундамента каких-то древних построек, но самый старый житель соседних с ущельем мест, стопятнадцатилетний туркмен Сабар Бахар, сидя под двухсотлетним тутовым деревом, меланхолически говорит, что помнит отлично, что даже его отец и дед не знали никого, кто бы населял ущелье при них. Значит, жили тогда, когда не было еще этого,— и он трогает рукой, похожей на корень саксаула, благородную морщинистую грудь тута.

Товарищ Бессонов, хранитель ущелья, сегодня живет в юрте у самого входа в Ай-Дэрэ. Когда мы приблизились

к его местопребыванию, он ловил змей. Ловить змей — обычное занятие в этом месте. Жители сожгли густые заросли ежевики, так как все равно нельзя было посещать их из-за громадного количества змей, нашедших приют в их уютной прохладе. Змеями полны все кусты. Они лежат между камней, они залезают в воду ручья, они катаются по поляне. Ужас хозяйки перед ними был столь велик, что она в темноте боялась сидеть на камнях, отгораживавших от дороги маленький загон.

— Но вы же их родственница,— сказал один из присутствующих.— Вы происходите от змеи, как и все люди, как и обезьяны. Это путь от моллюска к пресмыкающимся и от пресмыкающихся к млекопитающим...

Хозяйка в испуге уставилась на него.

— Что вы говорите, да чтоб я да от змеи! Да вы напугать меня хотите, я вижу. Да как же это — от змеи! Да почему же, если мы родственницы, она меня покусает, я помру?

— А если б вы ее покусали, еще неизвестно, выжила ли бы она,— сказал спорщик.— У вас в слюне яд. Это доказано учеными.

— Ну, уж вы скажете,— расстроилась женщина и плюнула себе на ладонь.— Какой же это яд? — Она стала разглядывать свою ладонь. Все засмеялись.

В юрте было прохладно и чисто. Желтый самовар блестел. Голубой граммофон наставил на ущелье огромную трубу. В ней лежали старые письма. Хозяин говорил по-туркменски лучше туркмена, так как обладал знанием всех наречий и, когда нужно, признавался он, превращался в туркмена, так что его ни за что не принимали за русского. Он родился в окрестностях Ай-Дэрэ, и отец его был лесником тут же.

— Все не могут мне построить дом, и деньги есть, и земля есть, а с домом марудят,— сказал он.— Дали б мне самому разрешение, а то зима придет, что я с этой юртой буду делать? У меня семья. А то вон прошлая зима была крепкая, гранат померз кое-где, не выдержал. Миндаль не увезли. Мыши полевые съели, одни корочки оставили. Госторг платил по три рубля за пуд орехов, собранных в ущелье, а на рынке по шесть рублей давали частники. Ну и таскали люди, разве уследишь? Тут надо поскорее совхоз делать и все на учет брать. Место наше богатое, да заброшенное. Сами видите.

Нури

Впереди нас гарцует веселый старший милиционер Нури. Роза, заткнутая под красно-желтую фуражку, трепле́тся около его загорелого уха.

— Нури, поедем! — кричим мы.

— Поедем! — это значит карьер. Нури любит карьер, но бережет свою лошадь. Она размашисто раскачивается несколько саженей и только потом бросается влет. Распластавшись над дорогой, идут наши лошади и у каждого пригорка поддают скорости. Наконец переходят, удовлетворенные, на обычную свою тропоту. У моей кобылки шея перехвачена желто-черным шнурком с бирюзинкой для защиты от дурного глаза. Лошади, не привычные к горным тропам, всегда в горах, раньше чем ступить, ощупывают копытом землю и ударяют по ней, прежде чем поставить ногу. Но наши кони здешние, они летят не оглядываясь.

Нури знает весь район. Он его знает, и его все знают. К его коню подходят, смеясь, женщины и просят папирос для мужей, работающих в поле. Он, подмигивая им, дает пяток папирос. К его коню, плача, подходят женщины и спрашивают о муже или брате, арестованном в Кара-Кале. Лицо Нури делается задумчивым, он объясняет, что незачем было их мужчинам снюхиваться с контрабандистами. В аулсоветах Нури просят захватить письма в Кара-Калу, так как не скоро дождешься оказии.

У Нури есть свои веселые дела, его молодое сердце полно весны, туркменской, фисташковой, он оставляет нам коня и исчезает. Он появляется во дворе, сияющий, как молодой месяц, и спрашивает: «Чай пил?»— «Пил»,— отвечаем мы. «Ну, пей еще десять минут!»— и исчезает, чтобы через полчаса появиться уже похожим на полную луну, такую, какая отражается в Сумбаре.

Он рассказывает районные новости, анекдоты, принимает прошения, наводит справки, покупает чай и папиросы, которых нет в Кара-Кале, для себя и для приятелей, скачет здоровый и веселый, как молодой розовый олень, редкое животное, почти исчезнувшее в Копет-Даге.

— Нури! Почему все селения называются Кала, что ни имя: Хаджи-Кала, Кара-Кала, Тутлы-Кала, Махтум-Кала, Иван-Кала?

— Кала — значит крепость,— отвечает он страшно на-

учным голосом (мы отлично знаем, что значит Кала, нам интересно его объяснение).— Воевал, воевал все время, теперь больше не воюет, не может воевать. Один Нури воюет, если захочет. Больше никто не может.

И он качает винтовку, которую снял с плеча и прикрутил к вьюку. Неожиданно он осаживает коня и едет рядом. Он осматривает нас довольными глазами.

— Прямо кавалеристы мы. Очень хорошо едем, а то зовут меня, я, знаешь, всю ночь не спал, устал, зовут, говорят: Нури, приехали люди, иди аул, достань лошадей; я тогда ехал ночью, обратно ехал, искал, искал, все в поле лошади, нашел, когда ехать, рано утром, в шесть часов ехать. Э, Нури, спать совсем нет. Думал, какие такие приехали, сердился немного про себя. Один такой ехал со мной раз, скакали два версты. Он говорит — не могу ехать, задница болит. Я сердился, никак назад нельзя, едем, ударил камчой его коня, он помчался, помчался, плачет, кричит — сейчас упаду, сейчас упаду! Потом ночевать стали, я поехал в сторону от него. Утром смотрю — нет никого, он лошадь в кочевье бросал, шел пешком назад, одеяло, мешок на голове, обратно в Кара-Кала. Я не могу, говорит, аул искать. Зачем меня партия на работу посылала, если средства двигаться нет? Ха-ха, лошадь ему не средство. Какие люди есть! Загадочный прямо человек. С одеялом цельный день на голове шел в Кара-Кала. Хо-хо!

Нури жует лепестки своей розы и садится боком на седло. Дым его папиросы необычайно легкомыслен. Темные туты оживлены толкучкой дехкан. Люди двигаются в разных направлениях, точно на базаре. Впечатление только что кончившегося любопытного события, не слишком важного, но достаточно интересного. Дехкане пользуются случаем и занимаются вполне общественной болтовней. Нури встречает знакомого и вступает с ним в длительный разговор. Потом мы отъезжаем оттуда и продолжаем путь, хотя у нас было большое желание спешиться и окунуться в эту массовку.

Мы забрасываем Нури вопросами.

— А,— говорит он, выплевывая изжеванные лепестки,— знаешь, есть такой Каль?

— Каль — значит дурак,— кричим мы, потому что разговор происходит на рыси.— Каль плешивый герой всяких сказок и глупостей, Калю всегда не везет.

— Не везет, дурак! — кричит Нури.— Он хотел с товарищем идти в Персию, в бандиты. Товарища убили, он

испугался, бежал назад, сказал: никогда не буду это грязное дело делать, как это я спасся? Приходите все радоваться, что я спасся. Он колол овцу, делал плов, всех звал и рассказывал, чего он видел в Персии и как лучше дома. Вот собрали народ, «тамаша» праздник вышел вроде...

Вечером среди розовых клумб и шелковых милицейских одеял и занавесок, между пестрых персидских голубей, бродивших по двору, Нури сокрушенно говорил:

— Не уезжай сегодня, подожди завтра, я тебе принесу камчу. Ах, какая камча, достану такую камчу — любоваться будешь.

Но мы с товарищем не обладаем временем.

— Через год приедем, Нури, ты большой начальник будешь, вот тогда воз камчей соберем!

— О, воз,— говорит он, довольный, как ребенок,— едем в Мескев, Ленинград, да?

— Да, Москва, да, Ленинград!

— Знаешь что, скажи там, в случае что, скажи, что в Кара-Кала есть Нури, очень красивый Нури, веселый Нури, двадцать пять лет, жена и ребенок.

— Обязательно скажем, Нури,— будь спокоен. Это мы обязательно скажем!

Полдень в Арабата

Теснясь, сидят и стоят дехкане колхоза Арабата, смотря на приехавших во все глаза. Уже трижды опустошились пиалы с зеленым чаем, разговор ведется непрерывно, но несколько церемонным образом. Переводчиком служит школьный учитель из Кара-Калы, направленный в район. Простая экономика маленького колхоза налицо. Только что отъехал трактор, храбро залезающий в самые глухие горные щели, стада ушли на гору, перерыв — полдень — беседа. Никто из туркмен не говорит по-русски, хотя это неизвестно. Иногда, по особой азиатской врожденной недоверчивости, все собрание стоит-стоит человек, упорно отказывающийся понимать по-русски, и вдруг он оборачивается и ясно говорит: «Разрешите пройти, товарищи»,— и, любуясь вашим недоумением, уходит.

Русские обычно по-туркменски не говорят. Знают десять — двадцать слов, необходимых для самых обиходных вещей, и все. Сейчас дехкане Арабата спрашивают, и обязательно каждый хочет, чтобы все его вопросы были

записаны в книжку. Когда записная книжка после вопросов не раскрывается, они не продолжают беседы, а учитель-переводчик говорит по-русски: для виду запиши, это вопрос ненужный, но покажи, что записываешь.

Приходится делать вид, чтобы не затягивать беседы.

— Почему,— спрашивает один, и учитель переводит,— равные членские взносы в колхоз не учитывают многосемейность? Вносят все одинаково. Справься в Кара-Кале. Почему сахар и чай получили мы восьмого мая последний раз, а теперь двадцать третье и больше ничего нет, и чай у нас вышел. Что делает Туркмен-Сауда? Узнай в Хлопкоме, как они считают при выдаче продуктов семью в три — пять — восемь человек или отдельно выдают на десять человек сразу?

— Если человек опоздал вступить в колхоз и работает сейчас на шоссейной дороге, как ему попасть в колхоз?

— Почему Агил-Нияс Бекмурадова живет у брата мужа, старуха, и ей не выдают пайка, не считают ее за работницу?

— Мы делали дорогу Кара-Кала — Дузлу-Тепе. Все делали селения, повинность была, чтобы автомобиль мог ходить. Автомобиль ходит, и все мимо, а нам говорили — будет дорога, будете ездить на машине, а машина не берет нас. Мы никогда в жизни никто не катался на машине. Пусть хоть председатель колхоза, когда дело есть, едет в Кара-Калу на машине, а то мы чиним дорогу и никакой не видим пользы себе, шофер все машет мимо и гудит. Скажи, пожалуйста, в Кара-Кале, что мы раз в жизни хотим ездить на машине. Запиши, пожалуйста.

Действительно, это несправедливость: в Ново-Артыке мы говорили с человеком, проложившим эту стопятидесятикилометровую дорогу в три месяца. Все селения, мимо которых она прошла, выставили на свой участок рабочих в порядке повинности, и дорога была сделана. У нее есть недостатки: мосты должны будут перестраиваться, принимая во внимание селевые потоки, так, чтоб быть заливаемыми и служить сообщением, даже оставаясь покрытыми мелкой водой, не подвергаясь размыву. При бедности транспорта автомобилей ни пассажирских, ни грузовых не хватает, но учесть желание дехкан во что бы то ни стало получить автомобильное крещение все-таки стоит.

— Почему,— спрашивают дехкане,— в колхоз не принят Алаверды? Он бедняк, это у него родственники баи, а он батрак, дробит камни и голодает. Это надо разобрать.

Он ходит после своей работы на дороге работать в поле, а ему ничего не платят!

Тут я вспомнил случай, рассказанный в одном из районов сплошной коллективизации. Там был старик, которого как родственника бая не приняли в колхоз. Он это исключение из трудовых списков воспринял как оскорбление и как гибель. С тех пор не было такого усердного работника в колхозных полях, как он. Его гнали, ему говорили: что ты стараешься, все равно ничего тебе не будет! Он молчал и работал больше и дольше всех. Он отрекся самыми последними словами от каждого из своих байских родственников. Он плакал последними слезами и шел в поле. Весь колхоз говорил о нем, так он работал два месяца и начал сдавать. Невероятное упорство его оставалось, здоровье же было все-таки стариковское. И все-таки он не шел никуда, кроме как в поле. Ближайшее общее собрание приняло его в колхоз. Он ходил и смеялся от радости.

Я смотрю на тесные ряды дехкан Арабата. Сколько таких маленьких колхозов рассеяно по огромной Туркмении! В каждом из них есть такие старики, стоящие иных молодых. Полдень в Арабата — настоящий азиатский. Четвертая перемена чая стоит перед нами. Слышится тяжелый шаг возвращающегося трактора. Трактор пришел. Беседа кончена. Все обступают трактор. Тракторист обтирает тряпками машину. И тут маленький ишак, стоявший поодаль, скосив кочевничий свой глаз, лягает трактор задними ногами со всех сил и, от звонкого удара сам испугавшись, прыгает далеко вперед.

ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ КАРА-КАЛЫ В КЫЗЫЛ-АРВАТ В НОЧЬ С ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО НА ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ МАЯ СЕГО ГОДА НА ПОЛУТОНКЕ СИСТЕМЫ ФОРД

Я знал человека, который, что бы ни рассказывал, всегда рассказывал с преувеличением. Так как это выходило местами очень убедительно, ему верили. Силой обстоятельств я сейчас поставлен в такое ложное положение: что ни напиши — все покажется преувеличением. И, однако, во всем описании не будет ничего лишнего, только то, что я сам видел и ощущал.

Надо сказать, что горы в этих местах, особенно на закате, представляют какую-то битву цветных скал. То ли

особое падение солнечных лучей, то ли особое устройство каменных выступов и скал, но трех разных цветов скопища камней сходятся друг с другом одновременно, а в провалах по горизонту лежит цепь, от которой будто только что отступило море Великого Потопа, и ковчег вот-вот пристанет к высочайшей вершине этой цепи, подчеркнутой и перечеркнутой какими-то огненными росчерками заката. Другой вид этих мест — это горы, белые до тошноты, на глаз мягкие, лунные, какие-то с кратерами и и треугольными вершинами, стоящие отдельно, всевозможных величин. Между ними шныряет дорога, то проваливаясь, то взлетая и поминутно поворачивая.

По такой вот дороге и должны были ехать мы ночью двадцать пятого мая. Ни один столичный литератор не описывал этой дороги, и все же она литературна настолько, что потребовала целого отступления, прежде чем могла быть введена в очерк.

Грузовик-полутонка не заключает в себе ничего особенного. Стенки платформы, достаточно расшатанные непрерывными рейсами по горной дороге, были схвачены веревками. Рядом с шофером поместился я; в этом узком помещении необходимо было особо спасаться от толчков и не мешать управлять шоферу, потому что иной толчок под руку в опасном месте грозил нам аварией. Кроме того, по сиденью все время перекатывались чьи-то громоздкие часы, которые мы везли в починку в Кызыл-Арват и которые не влезали ни в один карман, и спрятать их было решительно некуда. В. А. Луговской, мой спутник, завладел всей пустой платформой и, сев прямо на пол, отдал себя на растерзание бешеным броскам машины, причем единственное, что он предпринял в защиту себя,— это пропустил под руки веревки, охватывающие стенки грузовика, и стал похож на спускающегося на парашюте человека, запутавшегося в веревках парашюта и прыгающего безостановочно с дерева на дерево. Я положил правую руку на раму дверцы, стекло которой было опущено, и шофер, очень невеселый парень с измученным лицом, пустил мотор. Нас сразу тряхнуло основательно и понесло в темноту. Все эти приготовления не были вовсе комическими, ибо дорога ожидала нас самая серьезная.

Итак, мы отправились. Впереди машины шли две белых полосы света от фонарей и освещали окрестность очень приблизительно. Скоро тряска стала неимоверной. Мы въехали в белые лунные скалы. Они все превратились

в меловой зверинец, показав такое громадное количество скошенных морд, лап и падающих решеток, что я не удивился, увидав, что мы мчимся прямо в черный ров, взявшийся неизвестно откуда посреди дороги. Я хотел схватить шофера за руку, но справился с этим обманом зрения и удержался на месте. Это была просто черная тень, походившая на канаву, как нарисованная. Этих канав-теней, пересекавших дорогу, становилось все больше. Иногда автомобиль пробовал перепрыгнуть их, иногда замедлял ход, и тут я заметил, что шофер не столь спокоен, как я думал. Наконец прыгающая дорога, на которой уклона нельзя было разобрать из-за бледно-цветной и обесцвеченной окончательно светом наших фонарей почвы, пересеченная не фантастическими, а очень обыкновенными рытвинами и тенями, так вошла в глаза, что их стало ломить от бесконечного однообразия, рассеянного света и скачущих в нем тысяч мелких меловых песчинок.

Тут я увидел, как от стены утеса отделились два человека в высоких шапках и шагнули нам навстречу. Не поддавшись на удочку галлюцинации, я только притаил дыхание, и вовремя, потому что люди эти появились только в моем воображении, а утес, призраком возникший неожиданно слева, был самым настоящим белым утесом, о который мы едва не разбились. Наш форд рвануло вправо с громадной силой, и шофер, миновав это место, вытер пот рукавом. Ночь была довольно прохладная, и жара тут, конечно, ни при чем.

«Пожалуй, так, виляя вниз и вверх часами, мы не дотянем до конца»,— подумал я, и сразу что-то серое упало со скалы перед автомобилем, и так как он не убавлял ходу, то и серый клубок не останавливал своего бега. Я видел ясно, что это заяц; большой заяц плясал перед автомобилем, именно плясал, не страшась летящего на него чудовища.

— Заяц,— сказал шофер, впервые за всю дорогу промолвив слово.— А раз я барса спугнул от ручья. Он пил, а я наехал. Он как махнет назад, чуть в машину не попал. Ушел по уступу. Они ночью все шляются.

Заяц потанцевал, ему надоело, и он исчез в стороне. Нас качало все больше.

— Черт его знает, болен я совсем,— сказал шофер,— мотает меня, и живот болит. А эту дорогу ночью ехать хуже не надо. Вот сейчас будет еще спуск на повороте. Вы слушайте, пожалуйста, не скрипят ли тормоза.

Нас кидало с ужасной непоследовательностью. Как я ни прислушивался, не скрипят ли тормоза, я ничего не слышал, кроме длинного непрерывного свиста. Этот свист шел за нами от самой Кара-Калы и до самого утра. Была ли то настойчивая ночная птица или ветер, но свист был упорный и сильный. Присматриваясь к шоферу, заметил я, что он нервничает больше, чем ему полагается в нашем положении. Все это очень комично выглядит теперь, но тогда мы боялись опоздать на поезд в Кызыл-Арват, и глупая непонятность этих мест нас расстраивала. Снова что-то длинное и узкое возникло из-под автомобиля и начало мчаться впереди, и тут я, как ни рассматривал, не мог признать зайца в этом новом плясуне.

— Кто это? — спросил я шофера.

— Это тушканчик,— ответил он изнемогающим голосом, и как только он сказал «тушканчик», зверек провалился, точно мы его рассеяли в пыль, а я увидал, что мы едем по улице, где окна закрыты ставнями и тени от дверей ложатся на дорогу. Я закрыл глаза в страшной злости на собственное никчемное переутомление. Мне казалось, что это переутомление. Может быть, я так устал от бесконечных дорог Туркмении? Я открыл глаза. Улица насмешливо отбрасывала тени оконных ставней и дверей, а плоские черные люди жались к стенкам домов от нашего автомобиля.

Я оглядел шофера сбоку. Глаза его были полузакрыты, и руки ездили по рулю. Я взял его за плечо, стараясь не смотреть на дорогу. Он очнулся, вздохнул, и мы выругались оба. От ругани улица исчезла на минуту, но снова появилась у меня перед глазами. Тогда я решил спать, спать во что бы то ни стало, что бы ни случилось. По моим расчетам, мы проехали долину, которую с Луговским окрестили Иосафатовой за ее причудливый безмолвный конгломерат одиноких скал, изрезанных и выбеленных, проехали Лунные горы — тоже наше название — и были где-то в направлении на Хаджи-Калу. Цифры километров на счетчике накапливались так медленно, что я решил лучше спать. Толчок почти выбил меня из сиденья, и я снова увидел темную тень, бежавшую к автомобилю, на этот раз нам навстречу, открыто.

Шофер чуть затормозил на повороте, тень добежала до нас и возникла на подножке.

— Это литература,— сказал я про себя.— Этого не бывает.

Тень стояла на подножке и что-то кричала шоферу. Шофер задержал машину, убавил ход и совсем остановил ее. На подножке стоял вполне осязаемый человек.

— Ну, как едешь? — спросил он.

— Ничего. Тормоза гудят, по-моему, посмотрим немного.

Он вылез из автомобиля, полазил, пошарил под колесами и после совещания со встретившимся незнакомцем закурил.

— А я,— сказал незнакомец,— здесь ночую с автомобилем. Я снял с того, знаешь, с первого — колеса...

Тут вспомнил я разбитые и брошенные по дороге автомобили, жуткие в своем одиночестве, как трупы странных животных, исклеванных неизвестными птицами. Их разбирали по мере возможности. Поэтому у одного не хватало колес, у другого мотора, у третьего были выломаны бока,— встреченный и занимался этой разборкой автомобильных мертвецов, оттащенных в сторону от дороги. Он и возник, как некий гробокопатель.

Попрощавшись с ним, помчались мы дальше. Улица, виденная мной так ясно, больше не пробовала появляться, но шофер бледнел все больше. Видел ли он что-либо, сбивавшее его с толку, или он серьезно заболел в дороге, но он бросал автомобиль, как лошадь, подымая его на дыбы или отбрасывая назад одним ударом руки в местах, где, казалось бы, в этом не было никакой надобности.

Белый утомительный свет летел перед нами, и дорога эта самыми прямыми путями шла в ад, вполне поэтически обставленный и психологически подготовленный.

Тут я увидел стыдное по авантюрности зрелище и ничего не мог понять. Гоголь, Николай Васильевич Гоголь, знаток шабашей украинских ведьм, мог быть постановщиком этой сцены. Если я уже дошел до кошмаров такой низкой степени, то я, несомненно, выпал из XX века в век мне неизвестный, не похожий на наш век с тракторами и социальной революцией, если я вижу среди ночи скачущих голых людей, освещенных,— что освещенных! — залитых с ног до головы пламенем костров, ярким, как арбузное мясо, людей, скачущих с самыми дикими криками вокруг огня и обмахивающихся громадными головнями. Изредка они в бешенстве ударяли этими головнями по земле. Дым костров обволакивал этих литературных демонов и летел по земле, гонимый ветром.

— Это самый глупый сон из всех виденных мной,—

сказал я вслух, и шофер остановил снова машину. Луговской недовольно заворчал на своем дьявольском плацдарме, а к нам подошел голый человек с головней, от которой отлетали мохнатые, как пчелы, угли.

Подошедший оказался шофером, а черная груда его автомобиля меняла свою окраску ежеминутно в блуждающем пламени самым безобразным образом.

— Ну и дороги,— ругался он,— брошу все и уеду к себе. То ли дело приморское шоссе, Гагры — Хоста или Сочи — Мацеста. А тут от этой сволочи едва головней отобьешься. Сколько ее на огонь, гадины, стремится, не сосчитать.

— Кого на огонь? — спросил я.

— Фаланг, дьявол их разрази! Скорпионов, фаланг целые полки. Так всю ночь и скачи. Спать нельзя. Раз я ехал, пить захотелось, один был, остановил автомобиль, к ручью пошел, фонарей не погасил, иду назад, а ими дорога полна: желтые, громадные, прыгают под ноги. Чуть не заплакал. А ты что? — спросил он моего шофера. Шофер сказал что-то очень невеселое, и мы распростились. Снова, поражая дорогу белыми лучами фар, мы швырялись из стороны в сторону. Наконец руки моего автомобилиста упали, и он сказал:

— Не доедем. Не могу. Столько набилось в глаза муры, спать хочу. Будем спать в Хаджи-Кала...

Я помню только угрожающе-протестующий шум Луговского, падающий на шофера, пляску колес, снова белые скалы, безжизненные и прыгающие, изменяющиеся перед каждым поворотом, и сонную, выбежавшую по обеим сторонам дороги четырьмя огоньками Хаджи-Калу.

Мы завезли автомобиль в какое-то подобие двора, и нелепая бестолочь ночи обступила нас. Шофер, шатаясь, сполз с сиденья, загасил фонари и ушел, тотчас же растаяв во мраке. Я попробовал следовать за ним и наступил сразу на три спящие тела в скомканных простынях, похожие на распоротые тюки, и вернулся к Луговскому. Он сошел со своего мрачного ложа, разбитый и зеленый, и мы курили папиросы, как демоны глухонемые, гадая, что за предметы вокруг. Все тонуло в сером тумане. Все равно ничего нельзя было понять. Шофер не появлялся.

— Он умер,— сказал я.

— Он хитрит,— сказал Луговской.— Мы должны быть в Кызыл-Арвате, и мы будем. Я сейчас пайду его. Подумаешь, Художественный театр.

И он ушел на поиски и вернулся через пять минут. В ночном киселе люди тонули, как иголки.

— Я испорчу ему сон,— сказал Луговской, и мы немедленно задремали сами, не успев привести в исполнение свою мысль.

Но спать мы не смогли. Я думаю, что и шофер наш не успел заснуть, ибо Луговской инстинктивно нажал грушу сигнала, и рев разнесся по всей Хаджи-Кале. Ему это понравилось. Он нажимал грушу, и та стонала и ревела, пока тьма не родила мятой и молчаливой фигуры шофера. Он не сказал ничего нам и влез в автомобиль. И тогда мы помчались с неслыханной скоростью в рассветном тумане, ползавшем по горам. Временами в его прорывы я видел, как у дороги спят люди, как дома, завернувшись в одеяла и оставив газету рядом с подушкой. Собаки, положив лапы в остывшую золу костра, равнодушно провожали нас. Сонные автомобили паслись на лугах около дороги. Их хозяева спали под кустами, накрывшись брезентом. Дорога была захвачена воинственным племенем шоферов.

Силы наши кончились. Я видел сквозь стекло вверху полосатое лицо Луговского. Шофер все тише и тише бросал автомобиль. Я не помню, как заснул. Я проснулся от порыва свежего ветра. Было совсем светло.

Автомобиль стоял в горном проходе. Скалы нависли над нами. Луговской спал, повиснув на веревках, как древний разбойник, умерший на кресте. Шофер храпел с открытым ртом, похожим на широкое отверстие взломанной копилки. Дорога была пустынна. Хорош был со стороны наш сомнамбулический автомобиль, и как был любезен наш шофер, все-таки остановивший автомобиль на дороге, а не в обрыве под насыпью, где наш сон был бы неизмеримо крепче.

Ночь кончилась. Птицы пели. Мы приехали в Кызыл-Арват. Гигантская фигура человека, испытанного в этих местах, нашего старого знакомого, возникла перед нами. Этот ответственный работник дорог и автомобилей дружески приветствовал нас.

— Спали в дороге, спали, да не выспались. Я так и думал. Никто не проезжает ее залпом. Ну, каково ехалось в Лунных горах?

— Как в Лунных горах? — сказали мы.— Да мы это придумали для литературы — Лунные горы.

— Какая же литература? Официальное название.

Плохие места, плохие. А долину Смерти проехали как? Трясло?

— Позвольте! Долина Смерти — это уже из бульварного романа. Знаменитые строки: серебристый смех зазвенел в долине Смерти.

— Да вы не шутите. И долина плохая. На семьдесят шестой версте... там поворот убийственный, зверский поворот. Туда недавно завернул наш Амо, так мы его оттуда и не доставали. Четверо убиты, а двое свалились, пролетели все ужасы и уцелели. Дорога тут ночью скверная, одни коридоры, да спуски, да повороты. Машину не развернешь. А улицу,— сказал он, подмигивая,— видели улицу? Сознайтесь, улицей ехали.

— Ну, ну,— запротестовал я,— это уже слишком. Вы же человек серьезный.

— Да я серьезно и говорю, а вы не волнуйтесь, вы же меня знаете. Я и на острове Диксона зимовал, и в Индии под горячим солнцем парился. Мне чего ж хвастаться серьезностью. Я сам там однажды измучился, так что говорить. Ну, так сознавайтесь, улицу видели?

— Честное слово — видел, чего мне лгать, ну, видел.

— Так вот я так же машину вел и встал в тупик. Не могу ехать. Дома, народ. Плюнул, остановил машину, вышел, погулял, покурил, сел за руль, поехал дальше, и пошло, знаете, что вместо улицы — шахматная доска. Будь ты проклята — на всю дорогу! Черная и белая. Квадрат черный, квадрат светлый. И все в квадратах, куда ни погляжу, и бежит моя машина по квадратам, а куда бежит, не знаю, не могу сообразить. Остановил опять, вылез, посидел, погнал снова, до поворота видел — дорога дорогой, завернул за угол — началась улица. Ну, знаете, бросил я это дело к чертям, не доехал, лег спать у дороги и проспал до рассвета.

— Чем же вы это объясняете? — спросил я.

— Чересчур скалы прихотливо изрезаны и как-то барельефно, не в вышину, а вглубь, потом чересчур белые они все, одинаковые — барит, говорят, наружу. Таких скал нигде в мире нет. Свет от фонарей беловатый, мутный, и от скал свет беловатый, мутный, нейтральное освещение получается, и глаз отдохнуть не может, а все утомляется. И сам утомляешься, потому что все повороты, все спуски и подъемы. Следишь руль, следишь тормоза, следишь ход, и не хватает целости сосредоточения. Дробится человек по частям от однообразия, и мозг уже работает на сторону,

в область воображения, а скалы сами подсказывают такое первое впечатление. Вот так и выходит. Плохая дорога. Ну, вы не выспались, значит,— перебил он себя,— ну, ничего. В поезде выспитесь. Часов десять ехать вам.

ТУРКМЕНСКИЕ ЗАПИСИ

САМОВАР И УДАВ

У чистенькой юрты, в которой живет лесничий-русский, стоит самовар, желтый, толстый, как водолаз, полный жара и бытовой простоты. Через площадку против него распластался только что убитый удав — резиновое, тропическое, необычайное животное. Над ними уступы ущелья, очень знакомые и совершенно чужие деревья. Кто сильнее в этом пейзаже: самовар или удав? Кто вам больше нравится? Этот лукавый вопрос вы должны решить, не сходя с места, приняв желтое дымящееся сооружение и длиннохвостую неподвижную кишку за некие знаки, принципиально равные. Такие сочетания вы найдете повсюду в Туркмении. Бытовая простота будет граничить с предметами чрезвычайной, почти книжной обостренности. Я ничего не скажу пока о самоваре, но — довольно удавов. Я знаю некоторых, они предпочли бы, чтобы в этом ущелье висели с диких деревьев бесконечные удавы, и тигры ходили бы вперемежку с барсами по густым травам, и тишина одиночества наполняла бы воздух, и у входа в ущелье лежали бы обглоданные черепа несчастных путешественников.

В такое ущелье стоило войти и содрогнуться. Когда-то Вамбери обошел далеко Мерв, ибо слишком страшная слава шла про его обитателей. Одна легенда потрясала сердца слышавших ее, и великий путешественник потрясся тоже. Прошло какое-то время. Я ходил по скучному базару Мерва, как по Ситному рынку, где все знакомо и все обычно. И я думаю, что тихий совхоз в ущелье, из коего выгоняют аульную скотину, чтобы она не жрала плодовых деревьев, вполне подходит к нашему сегодня. Совхоз нисколько не оскорбит зеленой красоты ущелья; соседство его, правда, переносит удава в другой словарь, делает его не героем из мира приключений, а скучной ненужной змеей, путавшейся под ногами совершенно зря и поплатившейся

за это. Рассказывают, в Бразилии удавы живут под лестницами в домах, и ночью, когда все спят, они выходят и жрут крыс. Когда у лесничества в Ай-Дзрэ будут свои дома, возможно, тогда удавы приобретут профессиональную ценность. Их будут звать Васьками и Мишками. Будут кричать под лестницу: «Васька, вылазь!» — и этакий гигант природы покажет свою треугольную голову и засвистит; пока же я стою за вещи скромного, но прямого назначения; что касается самовара, то я предпочитаю электрический чайник.

ВАТТОЛА

Ваттола посмотрел в окно: над заливом стоял белый пар, словно выпаривалась вода на сковородке. Жара выжимала залив и сжигала горы вокруг. Весь Красноводский район удручал своей бесконечностью и ненаселенностью. Он был больше любого европейского государства средней руки, и люди, уезжая по служебным надобностям в глубь его, казались из города путешественниками, отправившимися в Лхассу. Ваттола состоял секретарем райкома. Председатель, хозяин района, уже три недели находился в песках, и за все три недели от него не пришло никакой весточки. Ваттола взял лошадь и поехал в пески. Ни одного ручья, ни одной речки. Мертвая страна лежала вправо и влево от его седла. В редких колодцах горько-соленая, похожая на слабый раствор английской соли, вода разъедала рот. В аулах Ваттола разговаривал с туркменами.

— Когда здесь бывают люди из города? — спрашивал он.

Скотоводы переглядывались. Потом один из них отвечал с упреком:

— Когда нужно собирать налог, тогда приезжают,— больше не видали людей. Вот ты приехал, но не знаем зачем...

— Сколько у вас грамотных? — спрашивал Ваттола.— Я привез газеты и плакаты.

— Грамотных у нас нет,— ответил старый скотовод,— в другом ауле, день пути, есть мулла, но он не едет к нам, говорит: далеко ехать.

Ваттола вспотел от ярости. Он был бессилен. Он вышел из юрты. Ни одной зеленой точки на желтом изломе пустыни, ни одного поля. Единственное достоинство кли-

мата — мокнущие раны от сухого воздуха заживают сами через самое короткое время. Ваттола усмехнулся. Он вспомнил постоянный мираж этих мест: река, висящая в воздухе, с отрубленными концами. Его жизнь походила на этот мираж. Мать из Милана, отец из Берлина. Сам он попал в плен в Россию и десять лет работал в революции. Революция научила его не останавливаться перед труднейшим.

Его рвали на части. На Кара-Бугазе люди, обалдевшие от соли, вечной соли вокруг, потерялп связь с городом. Пустыня не давала возможности сообщаться с необходимой быстротой. Ваттола взял Амо и в семь адских часов пересек песчаный барьер. Связь установилась.

На Челекене стала исчезать нефть. И не то чтобы она исчезала, а из леса вышек действовало всего десять. В чем дело, Ваттола? На черной туркменской шхуне, внучке «викингов Каспийского моря», Ваттола пришел на Челекен. Он нашел весь инвентарь промыслов пришедшим в негодность за давностью лет: канаты сгнили, вышки развалились, как тут доставать нефть? Надо было бить тревогу.

Ваттола возвращался в город, зная, что и там его караулит тьма первостепенных дел. Этот район был недоступен простому человеческому пониманию. Каждое дело влекло за собой тысячи сложностей. В городе надо было поднимать порт, устанавливать темпы, пароходы брали тысячи транзитников, рискуя утонуть от перегрузки. В городе не было деревьев; у привычных людей от жары синие круги скакали перед глазами. Надо было сажать тополь, карагач, арчу, джиду, черт знает что, чтобы получить сто метров тени. Жителей становилось все больше. Надо было доставать им воду из родников на горе...

Он метался от песков к морю и от моря к пескам. Революция не миновала даже верблюдов. Большого одногорбого верблюда «системы» аруано и двугорбого «типа» бугро она придумала смешать и получить помесь сильного крупного инера. Это практиковалось и раньше, но не в таких крупных размерах. Человек из Москвы, приехавший наблюдать этих новых представителей верблюжьей республики, сообщил Ваттоле с тревогой, что на дальних колодцах он нашел не туркмен, а киргизов, между тем он не переходил границы Казахстана. Проводники-туркмены увели его и отказались быть в тех местах.

Вечером к юрте, где сидел Ваттола, прибыла толпа туркменов.

— Воды не хватало, иолдаш,— нам не хватало всегда воды, а теперь пришли еще другие.

— Но ведь они кизыл-баши,— сказал неопытный москвич, наблюдавший инеров,— уговорите их уйти обратно.

— Они не трусы,— отвечали туркмены, потупившись,— их больше, и они не уйдут. Если будет так дальше, уйдем мы: нам нечего делать на пустых колодцах, и у скота нет травы,— у них с собой приведены все стада...

Ваттола сказал, что все будет улажено. Туркмены ушли. Он знал, что это за гости и сколько их. Тысяча сто киргизских семейств, вооруженных до зубов, перекочевали из района Мангышлака в Туркмению. Он сел на лошадь и с тремя милиционерами из иомудов поехал на их кочевья. И когда он увидел их костры и одиночных всадников в скошенных шапках с крыльями, он вспомнил еще, что это бежали от революции на юг готовые на все киргизские баи, не желавшие социализма.

Ваттола стоял на холме и смотрел на дым, поднимавшийся из юрт иного образца, чем иомудские. Громадное солнце горело на его лице германо-италика. Разве он не распутал столько азиатских узлов до сих пор благополучно? Он тронул коня камчой и поехал тихо к вечерним кибиткам. Милиционеры следовали за ним в некотором отдалении.

В городе Ваттола сказал нам:

— Я получил бумагу — ехать учиться в Москву — мне! — вы понимаете — мне! учиться! Я стал азиатом, я забыл, как выглядит Европа. Я даже не знаю, как я буду жить без пустыни.

ХРАНИТЕЛИ ГРАНИЦ

«...Старший дозора из заставы Кара-Тепе, Хотабской комендатуры, товарищ Степанов показал своему спутнику на мягкие впадины, сделанные верблюжьими ногами, и на глубокие ямки от лошадиных копыт.

— Догоним,— сказал он,— а ну, догоним...

Они проверили оружие и пошли. Они прошли тридцать километров по следу. Холмы не выдавали никого. В саксауле бегали равнодушные ящерицы, шипя и клокоча. Прошли еще раз тридцать,— никого. Пот уже не стекал. Он выступал и застывал клейкой, тяжелой сеткой на лице и на теле. Прошли еще пятнадцать — и задержали лоша-

дей. На песчаной сопке сидели люди и отдыхали. Чалмы их показались пограничникам райскими цветами, а лошади и верблюды — прямо сказочными животными. Люди приняли пограничников за демонов пустыни, раскрыли рты, издавшие горький вопль, и подняли худые руки людей, не годных к физическому труду. Товарищ Степанов собрал их пожитки и товары и, как воспитатель, подгоняя нужными словами, привел на заставу. Здесь он заодно подсчитал свои километры: их было сто пятьдесят, сделанных в двадцать два часа...»

— Ха,— сказал стрелок с юго-запада, услыхав прочитанное письмо,— у нас контрабандисты на Теджене старее, хитрее. Донесли раз, что пронесено через границу четыре мешочка жемчуга. А черт знает ему цену. Пошли в то место, взяли мешочки. Снесли в таможню — будьте добры — радуйтесь, получайте на память — наложили на жемчуг народные печати...

Вечером сижу один, приходит тех мест бородатый такой шайтан, ничего не боится — скупщиком у нас на счету состоит. По-русски, по-фарси говорит, как святой.

— Можно,— говорит,— с тобой беседовать один на один?

— Ну, можно...

Подходит вплотную, оглядывается на дверь.

— Завтра я тебе принесу четыре мешочка с жемчугом и четыре тысячи рублей...

— А ты помнишь, где ты это говоришь?

— Э, помню, все помню. Ты — начальник — взрослый человек. А! Решай сразу...

Я помолчал, думая, как его, черта, уколупнуть.

— Что,— говорит,— думаешь, не выйдет? Решай сразу. Да! А что думаешь, не выйдет?..

— Не выйдет,— говорю,— катись...

— Ну, так прости меня, я старый человек, но ты дурак...

— Что ты сказал? Ах ты, сукин сын! Повтори...

— Не волнуйся, зачем волноваться? Ты верно слышал: я так и сказал — ты дурак, пачальник...

Повернулся и ушел. Я плюнул ему вслед, а наутро нарочно узнал на таможне, что за жемчуг. Оценили в четырнадцать тысяч рублей. Такие дела...

— Наша граница трудная, лихая наша граница,— сказал третий,— поедешь на линию, где проволока оборвана, починить, включиться нельзя никак — не заземлить, хоть

ты лопни: влажности в земле никакой. Ну, шомполом ямку устроишь, помочишься и лошадь приведешь подбавить, тогда еще можно дело сделать, а так пропадай — пыль сухая-пресухая, а не земля. У нас в пещерах кое-где, в палатках посты стоят. Заблудился один парень у нас, от поста до поста шестьдесят километров, украинец был, дали ему компас, а он взял как милый, а ни черточки в нем не понимает. Заблудился он, блуждал, блуждал, ездил, ездил — не найти дороги. Слез он с седла, показал свой компас маштачку своему: «Мишка, подывись!» Посмотрел Мишка, ушами повел — мол, соображу как-нибудь — и к вечеру вывел его на пост. Вот уж хохотали над ним! «Мишка, подывись» — так и говорим теперь к слову...

— Держал раз бой,— вступил в беседу татарин-кавалерист,— большой бой держал с басмач. Сто тридцать восемь басмач было. Отбили всех, урон считали свой: сдохли три лошак,— он помолчал немного, выпустил дым изо рта и добавил: — И старшина сдох один... хороший был старшина...

— За десять патронов афганцы овцу дают,— спросил я,— правда ли это?

— Бывает,— сказали сидевшие у коновязи,— их хлебом не корми, дай оружия, а стреляют меж тем неважно. Солдаты у них на постах в одних подштанниках караул держат. Начальник заставы, сами видали вы, в женском пальто ходит. Персы только одеты чище, а насчет храбрости не герои. Завелся у них разбойник на самой границе, так они пришли со своего поста на наш и говорят: «Если он нападать будет, вы уже не гоните нас,— мы к вам прибежим».— «Ну, что же, говорим, прибегайте, спрячем куда-нибудь, сохраним существование, так сказать...»

СТРАННОСТИ ТУРКМЕНИИ

— Конечно, вы можете смотреть на меня, как на копилку курьезов,— сказал белобрысый, северного склада человек с выгоревшими от долгого пребывания на юге бровями и усами,— но я вам сообщу некоторые странности Туркмении.

Посмотрите, пустыня вокруг увеличивается именно при проникновении в нее человека. Нет человека,— пески закрепляются, на них появляются деревья, они становятся крепкими. Пустыню сделал человек. Он вырубил леса сак-

саула и вообще леса, его скот пожрал траву, дороги углубили колею — ушли в почву, распылили ее, и пески стали двигаться. Вырубите леса в Копет-Даге, и много холмов, твердых как камень, пойдут с места,— они песчаные по натуре...

Возьмите другую странность, Мургаб и Теджен — наши артерии водяные. На Мургабе огромные гидросооружения, а воды с каждым годом все меньше. Мургаб и есть по-фарси — куриная вода. Верховья их в руках афганцев, они и разбирают воду на свои поля, а нам — остаточки. А если им придет в голову свою пятилетку изобрести да в четыре года ее исполнить, по Мургабу будут куры бегать, и куда мы тогда денемся со своим хлопком? О расширении хлопковых полей в этом районе думать уже не приходится. То же самое и на Теджене. Может прийти такое великое запустение, что ахнете. Транскаракумский канал так и остается мечта мечтой. Вы были на Келифском Узбое, вы знаете, как там дела...

Дальше — приходит туркмен: «О иолдашляр, чего я видал».— «Ну, что ты видал?» — «Шли мы, шли около Унгуза, видим колодец — никогда не знали такой колодец. Обрадовались. Опустили ведро: вода черная, густая, переливается — совсем не вода. Бросили огонь — вспыхнуло все — ой, какой пожар был! Мы бежали оттуда прочь».

— Так это, значит, нефть?

— Выходит — нефть, а добейтесь, где он ее нашел,— он только рукой махнет. В пустыне, говорит. Да, чудес здесь сколько угодно... В колодцах пустыни — нашли ученые недавно — живут простейшие организмы, известные в науке до последнего времени лишь как аборигены Средиземного моря... Вот и объясните сие явление. Таких случаев в мире не было. А скафаренгус-рыба с крысиным хвостом водится в Аму-Дарье, подобная ей есть лишь в Миссисипи. Что тут за родство — непонятно, пока что и никто того не знает. А на Красноводской косе видел я другое чудо — песчаное. Как-нибудь вечером, если зарыть в песок, так на полсажени, водопепроницаемый брезент, чтобы он имел скат в небольшой колодец, и туда поставить ведро и закопать брезент песком, то утром ведро полно свежей воды...

— Позвольте, но это уже непонятно... Над вами подшутили.

— Извиняюсь,— это непонятно только на первый взгляд. Нет такого сухого воздуха, в коем бы не было хоть

самого малого количества воды. Если почва, над которой этот ток воздуха проходит, твердая, то он проносится над ней бесследно, но если она пориста, как песок, то нагретый воздух проходит в толщу почвы и, охладевая, выделяет из себя избыточное количество воды, а так как это происходит непрерывно, то в конце концов вода уже оседает каплями, а капли переходят в струйки, до тех пор струящиеся, пока не встретят водонепроницаемый слой. Здесь и скопляется вода, питающая колодцы или стекающая в более низкие слои... Вы заметьте: на глине ничего не растет, а в песках — и саксаул, и гребенчук, и селим, и все что хотите...

— Отчего же это явление неизвестно местному населению?

— Ну, я не авторитет. Я сказал уже, что я копилка курьезов и научных странностей, а от другого увольте. Обратили ли вы внимание, какое количество имен здесь турецких, повторяющихся в Турции, ближе именно к Средиземному морю? Здесь Ушак и в Малой Азии — Ушак, большой город, здесь Узун-су, Казанджик, Айдин и в Турции Айдин, центр бывшего Айдинского вилайета. Колодцы Ушак имеются. Большие и Малые Балханы все называют здесь Балканы. Странное явление. Оно, конечно, объяснимо и свидетельствует, что здесь жили турки когда-то...

Вы не смейтесь, что я вроде отрывного календаря. Оторвал листок — и научные сведения на каждый день. Нами, старожилами, край держится. А вы попросили особых случаев. Вот вам и странности. Есть такие сборники рассказов, где, скажем, одни страшные рассказы, кровь в лед превращать, написаны. А я вам всю правду рассказываю с научным обоснованием. Можете где угодно распространять, подрыва науке не будет. Заметили вы, что туркмены никогда не снимают своих тельпеков, или папах? Если бы они сняли и вы увидели бы их головы, вы бы испугались: они все разной и фантастической формы...

— Почему же?

— Да потому, что они с детства в каждом племени по-своему затягивают голову младенцу, сдавливая ее по особому образцу... Вы простите меня, но тут и природа и люди с сумасшедшинкой. Та же Аму-Дарья — в эту зиму она взяла да и замерзла, а течет она по десять верст в час — течение не малое для такой реки. И вода ее — драгоценнейшая, словно вода реки Нила, содержит благословенный ил,

так эта вода хулиганит как: в одну ночь как снимет головы арыков, что будешь делать? Сплошной урон сельскому хозяйству. Так в этом году у Керков она возьми да и замерзни, а на правом берегу остались дрова, и никак их не переправишь,— для верблюдов и лошадей лед тонок, а город без дров. Догадались тонко-тонко, прямо по-азиатски. Расставили батальон красноармейцев цепью от берега до берега, передавали, как по конвейеру, поленья. И так восемь вагонов перегнали из рук в руки в Керки. Никто, конечно, Аму за врага не считает, но таит она в себе одну опасность, такую, что, вроде последнего дня Помпеи, может уничтожить по речному течению все города, и притом в один день.

— Что же она — вулкан, что ли?

— Вот, выходит, вроде вулкана. Течет она с огромнейшей высоты, и вливается в нее несколько рек, пока она станет Аму. Так на одной из таких рек, на Мургабе (Мургаб этот Памирский, конечно, не Пендинский), стояли в ущелье таджикские селенья Усой и Сарез. В тысяча девятьсот одиннадцатом году возьми да от неизвестной причины и обвались стены этого ущелья, так крепко, что от кишлаков не осталось ни пылинки, ни скота, ни людей, а Мургаб встретил такую каменную баррикаду, что пробиться не мог и остановился бурлить, как бы поднятый на воздух. Образовал озеро в шестьдесят пять верст длины, на высоте-то на какой,— на высоте в одиннадцать тысяч футов! Теперь представьте, если эта плотина где-нибудь раскроется — камень подмоет или упадет где уступ — и это озеро со своей высоты ринется в Аму-Дарью. Какая волна пройдет и каких бед она наделает! Озеро это в опеку взяли, туда нет-нет да и странствуют на просмотр гидрогеологи, блюдут его... и висит эта опасность день и ночь, хотя мало кто о ней знает.

Ну, а чтоб закончить чем-нибудь политически интересным, напомню вам, а если не знали, сообщу, что именно из-за Кушки, из-за самого южного пункта бывшей империи, в тысяча девятьсот пятом году началась всеобщая железнодорожная забастовка, ибо там приговорили к расстрелу одного железнодорожника, и как протест все дороги в России встали...

— Сомневаюсь, чтобы было так, как вы рассказываете...

— Сомневаетесь, можете проверить в архивах...

СТОЛИЦА ПОД ВОПРОСОМ

Столицу Туркмении хотят перенести из Ашхабада в Чарджуй. Об этом можно только сожалеть. Ашхабад — хороший, благоустроенный, трезвый город. Чарджуй — город, где электричество горит, когда захочет, нужного количества домов для размещения правительственных учреждений нет, а по количеству пьяных он возьмет все рекорды: пьяные встречают вас при въезде в город, они же, шатаясь, стоят в очереди за вином во всех кооперативах, ночью валяются на улицах и хватают прохожих за ноги. Не переносите столицы из Ашхабада! Ашхабад лучше. Ашхабад не зависит от капризов Аму-Дарьи, улицы его тенисты и вполне просторны, жители гостеприимны и радушны. Здесь положено начало новому туркменскому искусству, театру, литературе. В прошлой своей истории город представляет переход от аула с кибитками к русскому военному лагерному городку, от лагерного плана — к городу провинциальному общего типа,— но что это значит? Вена была лагерем, и Лондон был римским лагерем, и далеко не гвардейским. Ныне Ашхабад превращается в индустриальный и культурный центр всего Закаспия.

В Чарджуе туркмены-эрсари носят чалму, и у них узбекские халаты и обычаи. В Ашхабаде туркмены ходят в пиджаках и ездят на велосипеде. В Ашхабаде нашли секрет древней мозаики и облицевали памятник Ленину так, точно он встал из «Тысячи и одной ночи». В Ашхабаде уйма научных учреждений, Госплан и Туркменкульт.

Конечно, иногда в нем проступают черты провинциализма, но здесь я предоставляю слово постоянному жителю его. Приводимое ниже описание весны в Ашхабаде принадлежит перу двенадцатилетнего мальчика.

Этот фельетон написан не из желания мальчика заняться литературой. Нет, это просто классная проверочная работа под названием «Весна в Ашхабаде». Со своей стороны могу добавить, что автор довольно верно изобразил картину апрельского Ашхабада.

Весна в Ашхабаде

Весна в Ашхабаде начинается рано. Уже в конце марта месяца появляется трава и идут теплые дожди. В солнечные дни можно ходить без пальто. На улицах, особенно немощеных, грязь непролазная. Все устремляются в Туркменсауда за галошами, но

таковые, к сожалению, отсутствуют. Появятся они только летом. Прошлогодние овощи кончились. Новых нет. За мясом стоят очереди. По городу носятся нытики и паникеры и отравляют настроение. В начале апреля распускаются листья на деревьях, и муравьи появляются в неограниченном количестве. За ними появляются и мухи. Ученики начинают бешено хулиганить, наверстывая потерянное в течение двух предыдущих четвертей.

— Теперь конец года, не исключат,— говорят они.

Предкласскома чахнет на глазах у всех, зато распускаются тюльпаны.

С двадцатого апреля весь город на ногах, городская общественность готовится к Первому мая, а паникеры и старухи — к землетрясению.

Растительность, особенно травяная, пышно распускается. Но в конце мая трава желтеет. Грязь на улицах превращается в пыль, и в Туркменсауда появляются галоши. Весна кончилась. Начинается лето.

ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

Девяносто пять процентов туркменской территории представляют земли неорошенные и не годные для оседлой жизни, и только пять процентов занимают поселения и сельскохозяйственные культуры сегодняшнего дня. Земельная реформа, ликвидировав байские, феодальные, родовые пережитки, наделила землей в первую голову безземельных, потом — малоземельных и наконец всех дехкан, кои не имели самостоятельного хозяйства и изъявили желание сесть на землю. Так было ликвидировано 2289 хозяйств и урезано 15 271. Почти каждое новое бедняцкое хозяйство получило по одной голове рабочего скота и по комплекту местного инвентаря.

По сведениям с мест, земельная реформа не добила кулака. В сильно потрепанном виде, но он остался в сети родовых отношений. Его спасли бедные родственники. Вопрос коллективизации должен учесть то обстоятельство, что до семидесяти процентов всего дехканства имеют по одной десятине посева. Подъем этих хозяйств без соединения в колхозы невозможен, замена омачей и азалов европейскими плугами — тоже. Внедрение европейской техники может идти только через колхоз, разрушение дувалов (глиняных оград), разъединяющих поля, создание пахотных массивов, урегулирование и развитие ирригационной сети.

Контрольные цифры предусматривают динамику развития культур на поливных землях как увеличение площади с 327 000 гектаров 1927 года до 402 000 гектаров в

1933 году. Этот рост площади возможно удастся, но расти бесконечно площадь, даже при полном благополучном развитии Туркмении, не может. Ей расти некуда. Самые смелые умы видят прирост земли до пятидесятого года. После этого земли больше нет. Начинается пустыня или величайший риск — постройка плотины на Аму-Дарье, превышающей Днепрострой, но не дающей никакой гарантии в окончательном успехе.

Расчет прост и страшен: на гектар посева требуется 1800 кубометров воды, а взять ее неоткуда. Вопросы, связанные с тракторизацией, тоже разрешаются по-разному. В иных местах из-за слишком дробного деления полей и удивительно крепкой почвы трактор не пригоден вовсе или необычайно дорог, показывая стоимость обработки гектара от тридцати трех до сорока восьми рублей, что недоступно беднейшим объединениям. Кроме того, тяжелым тракторам в этом лабиринте дувалов, канав и ям негде даже развернуться, и они нередко рушат шаткие мосты своей тяжестью. Сложность самого хозяйства выдвигает триумвират, единственно необходимый и неразделимый. Три силы — ирригатор, техник и агропом — могут решить проблему полей.

Трактору техника мешают чересполосица, арыки, система орошения, плохие дороги, плохие поля.

Ирригатору мешает непостоянство Аму-Дарьи, смывающей сооружения, необходимость тщательной разработки слишком мелкой сети арыков.

Агроному мешает неодинаковость наклона полей, разность крепости почв, особенности климата, отсутствие вовсе воды или неожиданный ее излишек, чрезмерные внезапные дожди, неодновременная просыхаемость полей.

Выходит, что и пять процентов хорошей жизни нужно завоевать настойчивым трудом. Несомненно, что в давние времена населенность современной площади Туркмении была огромна. Древний Мерв имел до миллиона жителей, и система орошения была доведена до блеска. Что стоит одна плотина Султан-Бенда; но века войн, уничтожавших систематически всякую жизнь на этой земле, вызвали в конце концов пустыню, и она пришла со своими песками и безводьем. Полоса культурной земли очень узка, даже на Аму-Дарье она не превышает двадцати километров.

Единственным спасением для поднятия хозяйства яв-

ляется коллективизация и ирригация, усиленная ирригация. Колхоз означает поднятие культурности обработки, расширение площади и появление на сельской арене всех трех сил одновременно: ирригатора, техника и агронома.

Из них особо нужно выделить ирригатора.

Вопрос водяной — самый жуткий. Едва он не урегулирован — приходит пустыня. Из земли выступает соль, поле становится солончаком. Белый блеск солончаков имеет не только сходство, но и родство с лежащими в пустыне костями,— это одинаковые знаки смерти. Я понимаю туркменов, которые встречали в старое время воду с молитвой и благоговением. Теперь они могут отложить молитвы, ибо вода стала советской, и обратиться к ирригатору, но благоговение у них осталось. Тут ничего не поделаешь.

Пять процентов хорошей жизни лучше, чем ничего, но это не так много.

ЧТО ТАКОЕ ПУСТЫНЯ

Прямо передо мной, на дворе, возвышалась груда беловато-голубых, как мне показалось, палок или сломанных и высушенных солнцем с ободранной корой деревьев. Я подошел ближе. Это лежали скелеты сотен верблюдов, овец, лошадей. Луна играла ими, входя в черепа, роясь в них.

— Утильсырье,— небрежно сказал хозяин.— Пособирали в пустыне!

Я долго не мог отвести глаз от голубого холма, от этого конца стад, прошедших пески вдоль и поперек, чтобы на фактории Госторга сойтись на всеобщий митинг костей в лунную апрельскую ночь.

Я вышел из фактории и прошел сто шагов. Очертания первых барханов закрывали горизонт. За ними начиналась пустыня. На другой день мы въехали в барханы на прекрасных, достойных всяческой похвалы конях. Они шли «юргой», странным аллюром, похожим и на тропоту, и на широкую рысь. Барханы вздымались над нами с двух сторон. Можно было ехать только по узкому коридору между ними. С боков подымались огромные песчаные степы, верхний край их дымился. Змееобразные тени от оползающих несчетных песчаных поясов утомляли глаза. Мы вывели лошадей на вершину. От края до края стояло желтое однообразие барханов. Буря переставляет целые ряды их, но и без бури в них заблудиться ничего не стоит.

Японский художник Хиросиги сказал когда-то: «В моих картинах даже точки живут». Такими точками в пустыне рассеяны люди. Одна медицинская работница около Пальварта призналась совершенно откровенно: «Я заплакала, когда въехала в пески в первый раз, мне стало так жалко свою жизнь, оставленных на родине детей и так мутно на душе, что я ревела, как сумасшедшая, целыми часами».

Мой хозяин, закаленный пустыновед, рассказывал, как он, впервые пересекая пески до колодца Ширама, не мог удержаться от страха. «Страх охватил,— рассказывал он,— все мое существо. «Ты никогда не вернешься назад,— говорил я сам себе,— ну, ты прожил сегодняшний день, а завтра к вечеру, наверное, погибнешь. Разве можно остаться живым в этих местах? И какая смерть: без пищи, без воды». А теперь пошел уже пятый год, как я здесь, я ночью один шлялся в пустыне — ничего, только всякий раз, когда, с барханов возвращаясь, вижу культурную полосу, как-то легче дышится».

Пастухи же в пустыне проводят всю жизнь. Может быть, они от одиночества и однообразия выработали в себе привычку ничему не удивляться и ничего не желать? Вряд ли. У них желаний не меньше, чем у горожанина. Но поговорку: «Знакомый дьявол лучше незнакомого человека» — придумали, несомненно, они.

«Пустыня ужасна!» — стоит воскликнуть одному европейцу, как тотчас же другой закричит из своего угла: «Не лгите. Мало мест прекраснее пустыни». Я знаю людей, влюбленных в ночи пустыни, саксауловые леса, в ночные костры, в блуждание среди барханов, и знаю таких, чьи волосы в пустыне стали белей солончаков. Ощущения, несомненно, многообразны и противоречивы.

В иных местах тропа, по которой вы приехали на колодец, наутро уже не существует. Песок съел ее. Выкопать колодец в двенадцать метров обходится в двести рублей. Есть места, где колодцы удалены друг от друга на тридцать километров. Есть колодцы глубиной в сто метров.

Если проехать мрачные стены барханов, то увидишь степь, слегка холмистую, наивную и грубую. За ней будут чередоваться случайные пастбища, солончаки, саксауловые леса и такыры — глиняные выходы. Овцы едят мягкую траву, не пренебрегая самой мелкой. Верблюд предпочитает колючку, и он пасется без надзора, уходя, куда ему вздумается в сторону от кочевья. Особенно он любит

бродяжничать зимой, когда всюду есть вода, и он шляется, не давая о себе знать месяцами. К весне он вернется на свой колодец, даже если ему придется бежать сто километров, ибо в пустыне исчезнет с поверхности вода, а пить ему не дадут из других колодцев ни за что. Как правило, заблудившихся верблюдов не поят, чтобы они возвращались волей-неволей к своим хозяевам.

Их пастухи живут сами, как тихие отшельники. Что бы ни говорили об их полнейшей независимости, о жизни, в которой они нагуливают себе здоровье и миросозерцание философов, это — сказки. Пустыня кормит их туго, они едят обыкновенно яг-шурпу — воду, залитую салом, в которую накрошен чурек, и запивают зеленым чаем без сахара, с лепешкой. Пустыня посылает на них цингу и туберкулез, а на их детей — рахит, и тех и других награждая катарами.

Дети черны, как черти, и худы, как палки. От рабской тяжести головного убора у женщин в кочевьях развивается туберкулез позвоночника. Грязь в юртах не поддается описанию. На кошмах едят, спят, сидят, по ним ходят целый день.

Животные забегают в юрту. Ожоги лечат так: кипятят мочу с рисом, гребенчуковой корой и солью и этой смесью смазывают ожог; при гнойных нарывах на пальцах надевают на пальцы распоротую заживо ящерицу; простуду лечат верблюжьим молоком с красным перцем. Женские болезни не лечатся вовсе, так как женщина никогда, из гордости, или из скромности, или из страха, не признается в них. Если ребенок сильно кричит, то решают, что этот крик от пупка, и начинают вертеть пупок пальцем до тех пор, что образуется пупочная грыжа. Мрачные люди живут в песках, и мрачна сама пустыня, владычица их жизни.

В весеннее время, во время «окота» каракуля появляются и басмачи, чтобы воспользоваться плодами «окота» и снова с добычей удрать за границу. Число самих стад сильно уменьшилось со времени революции. Наконец, не достигнуто еще полной ясности в методах преобразования скотоводческого хозяйства, и, может быть, только решительная национализация пастбищ и колодцев и передача их скотоводческим объединениям послужат к развитию скотоводства в пустыне.

В пустыне имеются сейчас «единственные» в Советском Союзе ревкомы: ревкомы северных и южных Кара-

кумов. Северный помещается на серном заводе (холмы Чемерли), южный — на колодце Ширам (сорок километров от афганского Андхоя).

Каракумы никак нельзя сравнить с Сахарой. Они не имеют ни оазисов, ни пальм, ни прохладной райской воды. Воздух в них чистый, это верно; полюбить их можно по формуле: сколько людей — столько сортов любви на свете, но легенду как об особой смертоносной романтике песков, так и легенду о прелестях существования в песках следует разрушить.

Для самих туркмен пески — то же, что леса для северного человека. Непривычному путнику в лесах, как и в песках, будет одинаково неуютно. Песчаные бури, как и лесные пожары, равно невеселы. Природа песков и лесов сама по себе полна торжественности, и солнце почти самовлюбленно закатывается в барханах. Волк, выходящий на холм и медленно, не боясь выстрела, идущий по песчаному выступу, и очковая змея, лежащая поперек тропинки, от которой в испуге отскакивают лошади,— явления примитивные и любопытные.

К пустыне можно привыкнуть: к постоянным блужданиям в ней, и ночлегам у подножья барханов, и к тропинкам еле заметным,— ведь среди них есть тропы, по коим с XIII века по XIX ходили караваны из Багдада в Хиву. В пустыне есть свой этикет и своя мораль, свой суд чести, свои особенности: так, персидский серебряный кран кое-где предпочитается червонцу, ибо иной кочевник не понимает бумажных денег и любит только звонкое золото или серебро. У пустыни есть свои банкиры, герои и знатоки. Славнейший из людей Каракумов, Иншихов-Ташауэский, имеющий орден Красного Знамени за походы против Джунаида, не собьется с пути ни днем ни ночью. Никакого компаса или карт у него нет. Про Иншихова говорят удивленные соплеменники, что он потому так уверенно водит караван, что впереди него всегда идет шайтан, которому он продался, и несет в руке свечку, огонь ее никогда не гаснет и бывает днем красного, а ночью белого цвета. Возможно, что это так и есть. «Знакомый дьявол лучше незнакомого человека»,— сказано впервые не вчера; в этой фразе вся мудрость пустыни, только думаю, что этот шайтан живет не впереди старика, а в нем самом. Кто сто раз пропел путь из Ташауза на Мерв и Ашхабад и обратно, тот в сто первый раз не собьется...

Перед нами туркменский колодец со всеми его составными частями, чайник, штопаный, как сапог, в заплатках, в протезах, гапыз — губной музыкальный инструмент, бронебойный нож с утолщенным острием, трубки, шашки, тельпеки, ткацкие станки, прялки, колыбели — словом, весь бытовой инвентарь страны, и все это совершенно крошечного размера, и все это умещается на одной стене.

— Мне надоело давать вечные объяснения,— говорит владелец этих вещей,— я велел сделать мне эти предметы во избежание лишних описаний и теперь ограничиваюсь только показом.

Узкое коричневое лицо хозяина полно иронии, когда он говорит, слегка поблескивая глазами:

— Вы интересуетесь туркменами? Это славный народ. Это верный и храбрый народ. Вы, вероятно, знаете или вам, вероятно, рассказывали о люцернском льве, работы Торвальдсена. Он лежит с копьем в боку, умирая на камне в Люцерне, как память о швейцарских воинах, погибших на чужбине... А сколько туркмен, швейцарцев Востока, продали дорого свою жизнь, умирая на чужбине! Они достойны десятков львов — они с Чингисханом ходили на Москву, они загнали кавказцев из равнин в горы и сделали их навсегда горцами, они защищали Иерусалим под славными знаменами Саладина, они бились за культуру против варваров Европы — крестоносцев, они были гвардией и любимцами халифов. Русские дрожали перед ними от ненависти. Гродеков называл их в бессилии черным пятном на карте, позором человечества, Скобелев сделал все, что мог, чтобы раздавить туркмена, «этого скорпиона в пустыне». Миллион пленных персов прошел через руки туркмена за одно столетие. Омар Хайям был туркменом. Мало народов Азии имеют таких поэтов, как Махтум Кули...

Хозяин начал незаметно волноваться, но, сразу взяв себя в руки, продолжал уже обыкновенным голосом:

— Я собираю и записываю рассказы старых людей, пословицы и поговорки моего народа. Я даже опубликовал часть из них, и одну запись, относящуюся к борьбе за Денгиль-Тепе, или, как вы говорите, Геок-Тепе, я напечатал в «Туркменоведении».

— Дорогой товарищ, разрешите вам сделать маленькое замечание, в порядке познания истины. Там в статье

есть примечание, что за давностью времени у излагавшего историю борьбы произошло, может быть, за ослаблением памяти, смешение фактов, путаница событий; так это совершенно не так. Он рассказывает все правильно, но почему-то редактор думает, что это относится к завоеванию Денгиль-Тепе 1881 года, когда все описания с абсолютной ясностью изображают события похода Лазарева и Ломакина 1879 года, особенно это видно по поведению Токма-Сердара, занимавшего в те времена странную выжидательную позицию.

— А! — хозяин дернулся узким и костистым плечом, лицо его сразу заострилось.— Это же разве я? Это примечания сделала редакция. Русские всегда верны себе: они вечно ошибаются. Англичане в Индии никогда не перевирали местных названий, они учились со всей старательностью индийским языкам. А много вы знаете русских, знающих туркменский язык? Перевирать все имена — это они умеют. Они подарили нас каким-то Кзыл-арватом, когда это место было всегда Кзыл-рабатом, рабатом, а не арватом. Арват значит женщина, а рабат — двор, караван-сарай, а если они начнут переводить, то выходит тоже плохо. Какой-нибудь неграмотный топограф постарается и увековечит. Вы были в Красноводске, а видали вы там Красную воду? Я тоже не видал, но видел там аул, который назывался и называется Кзыл-су, потому что туркмены поселились там, где больше всего хорошей воды, и у нас слово «кзыл» имеет несколько переносных понятий, как «золотой», «прекрасный» и другие, но переводчик, конечно, схватил первое попавшееся с размаху, и осталось недоразумение под названием «Красноводск».

— Вероятно, скоро ваш музей на стене станет собранием действительно музейных предметов; все эти омачи, халаты, тельпеки, шашки, домашние прялки и ручные мельницы исчезнут из быта в связи с советизацией и приближением к индустриальному периоду Туркмении.

Собеседник наш сделал узкие глаза свои чрезвычайно вежливыми.

— Я буду только жалеть об этом,— сказал он,— легко потерять накопленное веками и не приобрести нового своего. Что останется от туркмена, если он снимет с себя веками продуманное и приспособленное к нему одеяние? Не будет ли он похож на пальму, перевезенную из Африки на мороз? Вы не боитесь, что слишком поспешное приближе-

ние аула к социализму примет для него вид простудного заболевания и все начнут кашлять? Я против зачеркивания вековой культуры одним росчерком. Уже исчезло искусство ковра, стало подделкой, ремеслом, грубым и неубедительным, люди из-за куска хлеба ткут жалкие узоры, не связанные ни живописной, ни исторической зависимостью. Я стою только за одно необходимое и совершенно свежее слово: колхоз. Но в колхозе не нужно обязательно сразу снимать халат. Его дело гораздо глубже и важней. Оставьте туркменов носить то, что они хотят. Это великая вещь. Что бы вы сказали, если бы в Ленинграде заставили всех надеть в двадцать четыре часа халаты и папахи? Я думаю, вы бы не сильно обрадовались...

— Кто вас научил так хорошо говорить по-русски?

— Я кончил в свое время русский кадетский корпус. Я был последним аманатом [1] свободного оазиса Теке. Отец умер беглецом в Индии, а сын стал тем, чем он есть...

КОЕ-ЧТО О БАСМАЧАХ

На севере часто спрашивают: «Ну, кто же эти басмачи? Разбойники? Если разбойники, почему их так много и почему они все разные?»

Сначала отвечу, почему они все разные. Они резко распадаются на басмачей бухарских и басмачей туркменских. Первые базируются на эмигрировавшего в Афганистан бывшего эмира бухарского, на Ибрагим-бека и Файзулу Максума и других басмаческих вождей Восточной Бухары, Локая и Ферганы. Вторые признают своим избранным вождем Джунаид-хана и его приспешников. Ишан Мазари Шерифа, вероятно, духовный отец и тех и других.

Состав басмачей разнообразный — от бежавшей верхушки бухарской бюрократии и чиновничества до простых профессиональных бандитов и обманутых дехкан. Задачи самые различные — от вредительского рейда до случайного бандитского налета на стадо каракулевых овец, на кооператив с мануфактурой — до мстительного, всегда неудачного набега на пограничный пост. Английская разведка иногда пользуется ими для своих специальных целей. В далеких и темных окраинах Ташауза у Джунаида кое-где остались маленькие теплые гнезда сочувствующих. Сам же маститый «старец», неудачный «король Иомуди-

[1] Аманат — заложник.

стана», живет около Герата, изгнанный из пределов Туркмении.

О борьбе с басмачеством написаны десятки документальных и мемуарно-очерковых книг.

Новый Пушкин, пожелавший написать «Историю басмачества», должен будет знать узбекский и туркменский языки, и тогда он напишет книгу, поражающую неожиданностями, ибо самые любопытные материалы можно получить путем личного опроса свидетелей басмачества или чтением подлинных документов. Что стоит одна прокламация Джунаида, где он в числе прочих благ, кои будут отпущены погибшим в борьбе с большевиками — джадидами, обещает каждому умершему пост председателя райкома (!) в раю. Борьба с Джунаидом потребовала больших усилий, она происходила в пустыне, где пехота действовать не может, автомобили бесполезны, и только кавалерия и отчасти авиация могут соперничать с быстрым, неуловимым и ловким, знающим все местные условия противником.

Недавние кровавые набеги Файзулы Максума на Гарм и Калаи-Вамар и сына Джунаида на один из постов говорят о том, что противник не сложил еще оружия. Появлению в пустыне отдельных шаек очень трудно воспрепятствовать, граница проходит по пустыне на протяжении тысячи верст, вооружение у них преобладает английское, а лошадей они иногда, нисколько не жалея, кормят терьяком (опием) так, что лошади идут как стрелы;— попасть в них или догнать их на этом безумном карьере нет никакой возможности.

Иногда басмачи становятся оригинальными.

Так, они увели в плен фельдшера и держали его у себя около года, возили его с собой и заставляли лечить их и перевязывать раненых. Через восемь или девять месяцев они дали ему верблюда и около тысячи рублей советскими деньгами и вывели на наши посты. Этот мирный неожиданный исход чрезвычайно удивил фельдшера, не мечтавшего уцелеть среди своих диких пациентов.

Когда в бою была захвачена семья брата Джунаида, шестилетний племянник своего дяди, сидя на верблюде, отворачивал лицо, если к нему подъезжал, чтобы заговорить с ним, кто-нибудь из красноармейцев. Он сжимал кулачки и отказывался разговаривать. Когда его мать устала, идя рядом с верблюдом (животных не хватало, жара одолевала людей), он уступил ей место и слез, чтобы молча

шагать жалкой упрямой фигуркой рядом с громадным мохнатым зверем.

Другой мальчик был сыном Курбаши Аннабалы. Когда Аннабалу сильно ранили в пустыне и басмачи собирались бежать, они решили, что Аннабала скоро умрет и что спасать его не стоит; чтобы обеспечить ему тихую смерть, отвезли его за барханы и, оставив немного воды и пищи около, а также его сына, двенадцатилетнего мальчика, умчались от красноармейцев.

Мальчик перевязывал раны отца и со спартанской доблестью ходил за восемь километров в аул, расположенный на такыре, за водой. Он приносил пищу, воду и хлеб, делал под палящим солнцем переходы в шестнадцать километров ежедневно, пока его отец не отлежался и не выяснилось, что рана его неопасна для жизни.

Тут они были захвачены нашим патрулем, и старика водворили в больницу в Ашхабаде. Мальчик не покидал своего места у постели отца. Он сидел и не сводил глаз с раненого.

— Иди играть,— говорили ему,— отец спит, ты ему не нужен. Его кормят, и поят, и лечат...

— Не уйду,— говорил мальчик,— если я уйду,— добавлял он наивно,— вы его убьете, вы его отравите.

Мальчик был беспощаден, как взрослый басмач.

Басмач не жалеет ни себя, ни врага никогда. Застигнутые в узких улицах кишлака басмачи иногда поступают так. Задние снимают с себя оружие и передают передним, чтобы оно не досталось окружившим их красноармейцам. Передние стараются пробиться, а задние, безоружные или с одним ножом, кидаются на преследователей, чтобы задержать их и погибнуть.

Раз Джунаид случайно сбил наш аэроплан. Он сжег летчиков вместе с машиной. Захваченный басмач показал, что летчиков допрашивали хорошо, но что они были ранены.

— Что значит хорошо?

— Не знаю,— отвечал он.

— Но ведь их сожгли. Это рассказывал пастух, который все видел.

— Они уже умерли тогда,— отвечал басмач,— люди говорят так. Кто знает?..

Действительно, кто знает? Басмач жесток по природе, как жестока по природе и сегодняшняя его покровительница, имя которой — Англия.

Чудесное изобретение — автомобиль, это истинное дитя века, наглое, уверенное и насмешливое. Наше сокровище звали мы товарищеским особым именем, хотя официально он был фордом-полутонкой. Мы же всегда представляли его так: автомобиль системы «Опрокидонт-Руайяль» по прозвищу «Обезьяна». И правда, он падал с нами в арыки, застревал в песках, разламывал мосты, влезал на деревья, тонул в грязи, в воде, завывая, несся по глиняным и песчаным дорогам, откидывая верблюдов и ишаков к стенам и презрительно гудя в их громадные уши.

Машину, подобную нашему «Опрокидопту», нельзя никаким способом убить до конца. Какая-нибудь часть, а то и несколько перекочевывают на другую машину, и честь спасена. Я видел, как собирали одного такого храбреца из тридцати семи старых машин, и, когда новый «Опрокидонт» рявкнул, точно здороваясь со своими сборными костями, все части задребезжали, ответив ему: «Служим республике».

И как прекрасно они служат республике! Так машина Амо без единой поломки, неся на себе ответственный груз из хороших людей Туркмении, сделала пробег в четыреста километров, если не больше, по пустыне, не имевшей даже караванных дорог. Она чуть не наехала на кобру, знаменитую пыльную чешуйчатую гадину, вставшую при виде такого зверя на хвост, смертельно зашипев и засвистав, раздув свое демонское горло. Она думала, что один вид ее, обращающий в бегство все живое, заставит вспотеть пыльный автомобиль. И он остановился, потому что кто-то закричал «кобра!» и всем захотелось стрелять. Но, соскочив с машины, стрелки подняли сами такую пыль, что кобра исчезла в этой пыли при оглушительном салюте трех винтовок. Ее искали, но не нашли.

Самое забавное в этом путешествии было то, что на борту машины находился старый знаток песков — проводник караванов. Он стал настоящим штурманом на одном из первых кораблей пустыни. Как в свое время русские первые проложили железную дорогу в сыпучих песках, когда вся Европа твердила, что это «блеф» и не верила и посылала людей удостовериться, так и теперь случится, что автомобильное сообщение пройдет раньше по линии Хива — Чарджуй, Тахта-Базар — Керки и Ташауз — Ашхабад, чем по линии Фец — Тимбукту или Триполи — Чад.

Кочевник, разъедаемый страшной болезнью, сжавшийся, исхудавший, с хрином в горле, отрезал голову громадной стодвадцатисантиметровой ящерице и положил ее сушиться. Когда она высохнет, он с отчаянием измелет ее в порошок и набьет им чилим, к которому не советуется прикасаться никому. Хозяину его нечего терять. Странный синий горький дым пойдет из погибшей головы ящерицы, и, взглянув на трун ее, знающий человек с сожалением воскликнет: «Какой замечательный варан!»

— Нет варан,— скажет сифилитик, глотая едкий и чешуйчатый дым,— зем-зем, касаль...

Да, это варан, именуемый зем-зем и касалем (больным), хотя он более здоров, чем его пациенты. Кочевники верят в целебную силу его измолотой и выкуренной головы. Они же боятся, чтобы он не пробежал между ног. Это лишает мужчину мужской силы.

Варан бегает по пустыне, как заведенная модель крокодила, и жрет своих меньших собратьев. До наших дней на свободу и жизнь этой удивительной полосатой ящерицы никто особенно не покушался. Раз экскурсия москвичей привезла в Москву в Зоологический сад несколько экземпляров, но большинство спокойно и независимо жило, не чувствуя над собой беды.

Недреманное око Госторга давно приглядывалось к безработному животному и наконец отдало приказ по своим отделениям — заготовить как можно больше варанов. Что значит заготовить? На местах недоумевали. Призвали мальчишек и сказали на одном из пунктов:

— Ну-ка, сообразите варанов, да побольше...

Наутро сорок варанов, упиравшихся всеми ногами, бивших хвостами, шипевших всякие пустынные ругательства, были притащены на веревках, как собаки, смелыми охотниками. Вараны никогда не видели на одном месте такого количества соплеменников. Они попытались вступить в битву тут же со своими мучителями, но их били по головам камчами, и тогда они решили всласть полакомиться друг другом. Свист, шип и треск хвостов наполнили всю факторию. Растерявшиеся служащие не знали, что с ними делать. Саженные ящерицы вставали на дыбы и плевались. Куда было девать их, чем кормить, как сохранять — инструкции не было.

Мальчишки требовали денег и грозили бросить своих

пленников во дворе и уйти. Запросили центр. Вараны неистовствовали. Они отравили жизнь всем. Наконец вышел радостный заведующий, получивший по телеграфу разъяснение, и объявил:

— Режьте их, сволочей, и снимайте осторожно с них шкуру. Чтобы я умер, если знаю, как это делается...

Все с радостью приступили к великому избиению. Госторг продал кожи варанов за границу на дамские сумочки и туфли — и опомнился, ибо он зараз в медовый месяц вараньего своего увлечения истребил до десяти тысяч этих животных. Варан же размножается чрезвычайно медленно, как животное почти философское и ироническое.

НОЧНОЙ ОМАЧ

Знающий человек уверял нас, что омач или азал — тяжелейший деревянный плуг, изобретение рабской культуры — изгнан навсегда из его района, сожжен и прах его развеян.

Он показывал нам хартии, на которых была начерчена вся система жизни района, через общее собрание колхоза до МТС — машинно-тракторной станции, шутка сказать, в шестьдесят шесть тракторов. Мы списывали в свои записные книжки удивительную лестницу труда, предусматривающую особую роль каждой ступеньки. Затем мы пили чай. Затем наступила ночь, теплая, опьяняющая, благоухающая лунная ночь. Мы разнежились, нам захотелось видеть ночную пахоту тяжелыми тракторами «валлис», мы хотели упиться зрелищем индустриализации. Нужно было найти тракторы. Мы пошли сначала по дороге, прислушиваясь, откуда донесутся их победные ночные шипы. Мы услышали их очень близко и с разных сторон одновременно. Потом сверкнули где-то в низких кустарниках их фонари, и шипенье их перекрыло крик лягушек и цикадный лязг. Мы бросились по следу.

Мы избродили множество полей, сваливаясь не раз в арыки, упираясь в дувалы, в чащу деревьев, в глинобитную стену, и всякий раз, когда нам казалось, что мы уже достигли цели, шум тракторного дыханья долетал с противоположной стороны. Всю дорогу за нами шла собака, которая садилась в стороне, когда мы останавливались, и бросалась за нами, как только мы уходили дальше. Может быть, она хотела рассказать нам дорогу, но у нее не хватало смелости.

Во всяком случае, мы видели огни, слышали рев машины,— мы отказались от возможности приблизиться вплотную. «Ничего,— сказали мы,— мы видели их днем достаточно». Повернули обратно и сразу в мягком полусвете луны натолкнулись на маленькое поле. На нем бродил одинокий дехканин с тяжелым деревянным древним омачом. Мы подошли к нему и спросили: как пайти трактор? Он понял только слово «трактор» и испугался, что его поймали, спрашивают, почему не трактор, а омач на его поле. Он остановился в недоумении, испуганно озирая нас, маленький ночной сельский контрабандист, слепо доверяющий своему старому ветхому другу, окруженный дыханьем драконов. Мы посмеялись над уверениями человека, что все омачи превратились в прах в его районе, и вернулись на базу.

Мы рассказали о ночном омаче человеку с хартией.

— Эх, вы,— сказал он,— не сообразили, что несколько омачей оставлены нарочно, чтобы запахивать огрехи, знаете, огрехи, углы их собачьих площадок, именуемых полями, величиной с кошму,— вот откуда и омач...

Так объяспял он, но мы ему не поверили.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Все скамейки полны детей, русских и туркменских. Большие тайны скрыты широкими ширмами. Оттуда поминутно вылезают кривобокие фигурки и лихо движутся навстречу друг другу, крича какими-то боковыми голосами, потому что за них кричат люди. С затаенным дыханием смотрит маленькая публика, как папочный бай крадется к маленькому трактору, чтобы его испортить. Худой ватный ишан стоит на страже. Пухлый краснощекий пионер следит за их действиями и в решительный момент кричит, и с ним кричит вся маленькая публика. Бай прячется за юрту. Вбегают встревоженные куклы, ищут его.

— Вон он где! Вон он! Стоит! Не туда! Не туда! Он там! — кричат зрители, подымаясь с мест. Бай посрамлен. Аудитория рукоплещет. Ее спрашивают, что она поняла из показанного. Она поняла все. На двух языках дети пересказывают пьесу. Правда, она несложна, в жизни так не бывает. За детскими спинами возвышается вечерний Копет-Даг.

Туда бы, в аулы следовало направить этот легкий и по-

нятный театр, все кулисы которого и актеры укладываются в три чемоданчика. Я знаю, что медицинский отряд при обследовании в Чикишлярском районе пользовался кукольным театром для пропаганды первых правил гигиены и медицинской помощи. Взрослые игнорировали поучительность спектакля. Эта сторона не сильно задевала их, с детства избегавших всякого знакомства с чистотой одежд и жилищ, но они радовались зрелищу больше детей, потому что дети по счастливой конституции детства могут считать занимательным любое незначительное происшествие; взрослый кочевник раскачивается и возбуждается трудно. Его ничем не удивишь. Кукольный театр захватил его сразу своей особой новизной.

В Европе есть страна, насыщенная тысячами кукольных театров. Это Чехословакия. В кукольных театрах она сохранила древний героический эпос, под видом шутки и драматической сказки — национальный дух, борясь с германизацией школ в свое время. Туркменский кукольный театр гораздо счастливее в своих заданиях. Он может научить зрителей мыться, употреблять мыло, чистить зубы, ликвидировать неграмотность, научить обращаться с примусом, с керосиновой лампой, а заодно меткой шуткой разоблачить ишана или бая. Он хитрый и умный, туркменский Петрушка, и он многое сделает, если захочет, а суметь он всегда сумеет,— ибо зрители — народ неискушенный. Они будут рады всему.

НАДО ЗНАТЬ ВОСТОК

В свое время во Франции долго не знали, что Аму-Дарья переменила направление. Одному знатному иностранцу академики показывали достижение своих наук, хвастались точностью и всеобщностью знаний. Ему показали подробную карту России и Азии, и на ней значилось, что Аму-Дарья впадает в Каспийское море.

Огромный детина преневежливо усмехнулся, взял карандаш и со свойственной ему резкостью начертил новое направление реки и заодно обрисовал берега неизвестного французам Аральского моря.

— Ваша карта зело не верна,— сказал он в свое оправдание.

Так царь московитских дикарей Петр преподал урок точности ученым географам. Ему ли было не знать направления Аму-Дарьи, когда он отдал свой славный и легко-

мысленный приказ: идти в Хиву и повернуть в Каспийское море Аму-Дарью. Я не знаю, куда девался барабан, обтянутый кожей несчастного начальника этой экспедиции Бековича-Черкасского, но такой барабан был.

Этот случай, так сказать,— повод к рассуждению.

Я застал в Туркмении работников, прекрасно знающих Восток, даже говорящих по-афгански, по-персидски, по-туркменски,— не о них я забочусь. Они будут украшением страны и сделают много полезного для нее; но есть товарищи, занимающие ответственные посты, которые не имеют ни малейшего желания к изучению окружающего и находятся во всех случаях жизни во власти переводчиков, что иногда приводит к недоразумению печального свойства.

Сами туркмены бывают очень предупредительны. В одном ауле ждали приезда двадцатипятитысячника. Об этом приезде шли долгие разговоры. Говорили дехкане о том, что он человек не привычный к условиям их быта, ему будет очень трудно, он может заболеть в юрте. Они сговорились и построили приезжему среди своих юрт глинобитный уютный домик и обставили его простой, но европейской мебелью.

Тут ничего не скажешь. Но когда видишь приехавшую из какого-нибудь небольшого северного города девушку-работницу, никогда в жизни не подозревавшую о существовании Туркмении, девушку, для которой никакого домика не построено, и она недоумевает на каждом шагу, начиная с вечного лета (каждый день жарко и солнце) и кончая фалангой, бегающей по одеялу (ее она принимает за безобидного паука и в то же время смертельно дрожит при виде черепахи), девушку, рекомендованную как инструктор, но обладающую познаниями слишком слабыми для деловой и практической работы,— тогда становится жалко эту девушку, неминуемо запутавшуюся в сети непонятностей. Да, есть выдвиженки, тоже не знающие географии, но практически годные для кочевой жизни среди неизвестного им доселе народа.

Они садятся на лошадь, едут по аулам, дружат с женщинами, находят среди них переводчиц и помощниц, умеют поговорить просто и ничего не боятся. Есть женщины, с ворохом плакатов и листовок переходящие вброд разлившиеся арыки, женщины, принявшие на себя обязанности в колхозных советах, объединяющих до тысячи хозяйств. Следует произвести необходимую проверку личного соста-

ва этих приехавших издалека товарищей для их же собственного блага. Нечего скрывать, работники на местах в иных случаях сознательно отводили приехавших от работы, объясняя это тем, что при особой специфичности работы на данном участке новичок неумелым поведением может погубить с трудом достигнутое равновесие.

— Надо знать страну,— говорили они.— Какое доверие будет у туркмена, если лицо, приехавшее ему помочь в трудном деле, само беспомощно, как ребенок? Разобраться в родовых отношениях аула, или в сложном порядке водяного снабжения, или в плане хозяйственных работ, неизвестных европейцу, можно далеко не сразу.

Наконец, первичные сведения о Туркмении и ее быте совершенно необходимы. Я сам видел товарищей, ретиво стучавших о стол и создававших колхозы в три дня, и в три дня они же разваливались, дискредитируя важное дело.

— Мало стучать кулаком по столу,— говорили тут же в ауле такому неудачнику товарищи,— надо знать страну, и когда вы усвоите, что такое туркмен, когда узнаете, что ишан значит больше муллы и есть худший враг Советов, хотя по бедности не платит налога вовсе, и что бедняк иногда держит сторону бая, потому что это родственники (одного рода), и что не безразлично гонять дехканина за десять километров от аула на работу в поле, руководствуясь тем положением: не все ли равно, где ему работать, что женский вопрос не исчерпывается выдачей мануфактуры или чая,— вот тогда вы будете работником на месте, за которым пойдут дехкане.

А иначе туркмены будут смеяться над тем, кто, не понимая их языка, думает, что он все знает и всех убедил.

КОМЕТА ГАЛЛЕЯ

Незадолго до мировой войны один странствующий натуралист описал в незатейливых словах прохождение кометы Галлея, которое ему довелось видеть во время пребывания под Кушкой.

Комета в виде шара засияла перед ним своим фосфорическим бледным светом и далеко отбросила за собой все более и более расширяющийся к концу хвост, производя во всех подробностях впечатление сильно движущегося тела. Местные авторитеты Алексеевского поселка в лице нескольких старых баб клятвенно уверяли, что такая

звезда не может долго продержаться на небе и непременно свалится на землю. Кричали в это время птицы-сплюшки (Noctua Bactriana), и вдали прорезал воздух звук русской вечерней кавалерийской зори...

Земля меняет свое лицо с быстротой завидной, и если подумать, что Галлеева комета появляется над Кушкой раз в семьдесят пять лет, то, отложив эти десятилетия назад от срока, указанного натуралистом, мы получим эти места в виде довольно пустынном и, прямо сказать, жалком.

Битвы кочевников рождают единственный грохот среди пустынь, в воздухе висят унылый крик караванщиков и топот туркменских орд, летящих на Персию. Картина одичания и основательного беспросветного средневековья.

Сейчас мы имеем под Кушкой колхозы русские и кочевничьи, железную дорогу, аэроплапы, хлопковые поля, фруктовые сады и приближающуюся индустриализацию Паропамиза.

Отложив от Галлеевой кометы семьдесят пять лет вперед, мы превратимся в предсказателей довольно рискованных, но если скажем, что в восьмидесятых годах нашего столетия над Кушкой снова пройдет далекая небесная гостья, что она увидит?

Может быть, она найдет в Кушке узловой пункт (небоскребы, склады, заводы) трансазиатской железной дороги, вагоны с надписями: Париж — Москва — Дели, Ташкент — Герат — Сингапур, увидит громадные станции использования солнечной энергии, огромный канал, пересекающий Каракумы, с барками и электрическими лодками, тучи каракулевых стад, плантации каучуконосов, темные тела дирижаблей, летящих за Гиндукуш,— полный расцвет человеческой жизни.

Кто может что сказать? Мы можем только бросить эту записку в бутылку и пустить ее в темный океан времени. Пусть ее выловит наш потомок и прочтет ее так же случайно, как я случайно прочел записку натуралиста.

ОГОНЬКИ В ПОЛЯХ

Ночью — а дехкане обычно работают на полях ночью — сквозь ветви джиды или пизкий кустарник можно видеть мигающие огоньки. Это курят работники на полях. Они делают трубку тут же, из глины, которая у них под нога-

ми. Пропустив через нее веревку и вынув ее, получив отверстие, они набивают свежую трубку табаком и с удовольствием затягиваются.

В пустыне пастухи, за неимением глины и дерева, делают трубки из человеческих костей, прожигая в них дыру. Курить из таких трубок могут только простые сердцем и разумом люди.

В стране, где нищему подают милостыню щепоткой зеленого табака — «насса», глиняные и костяные трубки, примитивно сделанные, понятны. Страшней люди с зеленоватым отливом лиц и трубки с зеленоватым темным дымом, трубки терья-кешей — курильщиков опия. В Персии, где опий распространяется правительством, где существуют на каждом шагу дома для курения, где люди-призраки — явление обычное, этот зеленый отлив лиц не примечателен.

Но туркмен, употребляющий опий, громадный, плечистый нарядный молодец, постепенно превращающийся как бы исподтишка в соответствующе громадный скелет с выкаченными мрачно глазами, потухшими и слюдяными,— явление единичное, но запоминающееся.

Такие отъявленные терья-кеши на учете в маленьких городах. При постоянной контрабанде кое-какой опий перепадает в их руки. Если их арестовывают и, продержав без опия неделю-другую, выпускают на улицу, они без денег, то есть без возможности добыть предмет своей страсти, устремляются обратно в арестовавшее их учреждение и, валяясь в ногах, умоляют дать во имя жизни кусочек смертоносного лакомства. Иногда им дают.

Они шатаются в трущобах и все меньше и меньше походят на людей. В один день их хватятся случайно и не найдут. Они исчезли с лица земли, как тот зеленоватый клуб дыма, который они так любили.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ОХОТА

Белая цапля никак не хотела согласиться, что это ее последний вечер на земле. И она оказалась права. Напрасно мы подбирались к ней, прячась за выступы сухих арыков и распластываясь в высокой траве; она переносилась, как бы танцуя, с места на место, необыкновенно быстро оглядываясь и определяя расстояние до подозрительных шорохов.

Наконец нам надоело это бессмысленное преследование, мы поднялись на ноги и пошли по высокому краю водоема. Внизу у воды подымались камыши, тугайные заросли, шуршали змеи; изредка, совсем не тогда, когда нужно, вылетали гуси, куропатки, утки.

Мы вышли на чистое место и увидели афганского генерала. Водоем загибался вправо и далеко врезался в афганскую территорию, и по его краю против нас шел афганский генерал. Он охотился. Он шел, болтая длинными руками. Он не держал в руках ничего, кроме платка, им он изредка обмахивался. За ним шли двое слуг. Один нес ружье, необычайно почтительно вздрагивая. Другой шел с пустыми руками. Может быть, он заменял собаку и доставал дичь вплавь из водоема, куда она падала пораженная. Собаки у генерала не было.

Изредка вся группа останавливалась. Генерал замечал птицу. Группа замирала. Оказывалось, что генерал ошибся и принял причудливую тень за гуся. Тогда они трогались дальше в свой трудный охотничий путь.

Наконец настоящий гусь появился перед взорами высокого охотника. Он остановился и протянул руку назад, не оглядываясь. Слуга вложил ему в руку ружье, а второй ловко поймал сброшенный одним движеньем плеч плащ. Генерал выстрелил, не целясь. Гусь нагло пролетел над ним. Генерал протянул назад ружье. Слуга принял его, перезарядил, другой — накинул плащ на генеральские плечи, и группа двинулась дальше. Потом они спугнули утку, потом стайку чирков. Вдруг наша белая цапля направилась к водоему. У нас забилось сердце. До сих пор генерал стрелял, придерживаясь своего ритуала с плащом и ружьем — и все мимо. Вся группа двигалась в неестественном молчании. По-видимому, генералу дьявольски нравился этот церемониал охоты. Может быть, в Европе, в свите Аманулы, в английских парках он научился бить ручных голубей, но в Азии — мы свидетели — у него ничего не выходило.

Наша цапля летела прямо на генерала. Если вскинуть ружье, этот вечер в жизни цапли был бы последним. Но генерал смотрел как зачарованный, подняв голову, его слуги тоже. Они решали, стоит стрелять или не стоит. Решили — не стоит. Слишком близко, легко промахнуться. И, когда цапля пролетела над их головами, язвительно махая им крылом, мы тоже помахали рукой издали вельможному охотнику и ушли.

Первая в мире, единственная статуя, изображающая туркменку, стоит у входа в Туркменкульт. Туркменка занята невероятным делом: она читает книгу. Рядом с ней на равной высоте по другую сторону лестницы сидит туркмен. В жизни пока туркменской женщине не так часто приходится видеть книгу или быть на равной высоте со своими мужчинами. Но туркменка завоюет себе свободу, по-видимому, очень скоро, и это будет неожиданная туркменка.

Она имеет много героических родственниц в прошлом своего народа. Стоит только вспомнить женщин, сражавшихся на стенах Геок-Тепе, или известную Хелей-бакши — женщину-музыканта, победительницу всех бакши. На состязание с ней приехал знаменитый Кер-Кеджали.

— Посмотрим, какова кобыла в скачке,— сказал он перед началом состязания.

Хелей-бакши была беременна, на последних часах беременности. Она приняла вызов.

Долго длилось небывалое состязание, и около полуночи она спросила мужа:

— Чего ты хочешь: победы или ребенка?

— Победы,— отвечал верный своему прямому взгляду на вещи супруг.

Тогда Хелей-бакши на время покинула состязание, родила сына, оставила его родственникам и вернулась победить. И она победила старого и славного Кер-Кеджали, и он уехал с позором.

Я вспомнил эту героиню, когда в одном месте столкнулся со спором женщины-мираба с дехканином. Она победила, совершенно уничтожив его.

Эта современная, говорящая, а не поющая Хелей-бакши, не музыкант, а колхозный деятель, была красива и никому не давала пощады. Она била ленивых камчой и клялась политграмотой. Ее все боялись. Ее высокий пост мираба — распределителя воды — всячески уважался.

Ей редко прекословили. Она была настоящим современным работником аула.

Природная грация туркменки очень выигрывает от европейского платья. В Ак-тере, в несусветной глуши, мы увидали неожиданно иностранку. Француженка или аме-

риканка шла медленно по пыльной пустой площади Актере, в тени похожих на гигантские зеленые губки карагачей. Как она сюда попала, эта красавица, эта европеянка, и что она здесь делает?

Наш спутник засмеялся.

— Это здешний организатор женотдела...

Женщина обернулась. Мы увидели смуглое строгое тонкое туркменское лицо с узкими длинными черными бровями. Мы поняли, что эта женщина скорей умрет, чем наденет на себя снова халат и длинные безобразные штаны.

ИСТОРИЯ ВРАЖДЫ ОДНОГО БАЯ И ОДНОГО ПАСТУХА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАВШЕГО БАЕМ

У одного бая были пастухи. Когда приходил срок платить им, он посылал джигитов, и они убивали пастухов поодиночке.

Один из пастухов перехитрил бая, он уцелел, разбогател и стал соперником, стал сам баем. Их вражда длилась бесконечно. Они избегали встречаться целые десятилетия. Они встретились случайно на вокзале: их обоих отправляли в Соловки в одном вагоне.

НЕОЖИДАННЫЙ БРЭМ

Базарные ишаки, стоявшие и бродившие между деревьев, затрубили все сразу, выражая страшное недовольство. Лошади смотрели равнодушно. Верблюды презирали происходившее. Туркмены не обращали внимания на поведение своих животных.

У заболоченного хауса была привязана на длинную веревку молоденькая ослица. Большой ишак с раздутыми поздрями и ушами бросался ей на шею, стараясь повалить ее на землю. Он кусал ей шею, уши, спину, ноги, бил ногами, борол изо всех сил, волочил за уши по земле, таскал и бил ее смертным боем. Она валялась в пыли, и слезы стояли у нее в глазах. Она жалобно хрипела, он отскакивал и снова бил ее и трепал, кусая и шипя. Вся ишачья толпа ревела в негодовании. Ишак терзал несчастную ослицу прямо как работорговец.

— В чем дело? — спросили мы.

— Он ничего не может,— сказал ближайший туркмен,— он — каль, паршивый. Тьфу...

Ишак в четвертый раз волочил за ухо мученицу. Из уха бежала кровь. Тогда мы взяли камни и камнями отогнали неудачливого разъяренного инквизитора от его жертвы на другой конец базарной площади.

Ишаки замолкли. Ослица, всхлипывая, пила мутную воду и вздыхала.

«СВЯТАЯ» МАНУФАКТУРА

Мечеть в Астанабаба испытанной древности. Она посерела от старости, и купола ее похожи на великанские страусовые яйца, вмазанные в глину. Молитвенные дома окрестных аулов запущены, стены покрыты арабскими надписями не священного содержания, мулл нет, обряды не соблюдаются, запустение могил бросается в глаза. Рассказывают, что трупов в могилах нет. Их украли и съели гиены. Ислам умирает на глазах, кое-где окаменев, кое-где рассыпаясь пылью.

Мечеть в Астанабаба относится к первому случаю. Она каменеет. У входа в нее сидели женщины, охотно взявшие у нас двугривенные за право входа. Серая пустота стен не поражает глаз ни величиной, ни изяществом. Сама гробница святого отгорожена решеткой, ужасно похожей на ту, что стоит в любом почтовом отделении, имея дверь с надписью: «Посторонним вход запрещен». Такая дверь была и тут. Надпись подразумевалась. Мы вошли. Гробница была серая и пустая. Пыль и грязь захватили помещение. Пятипалые светильники и подарочные рога разных животных лежали вперемежку. Смотреть было нечего. Мы повернули к выходу. Проводник нам сказал: это единственная чтимая мечеть во всем округе. Мы усомнились. Один из товарищей поотстал; он закричал, чтобы мы вернулись. Мы возвратились, не ожидая ничего интересного. Он показал пролом в стене, неискусно замаскированный. Мы пробрались по узкому коридорчику, огибавшему здание, в укрытую от глаз посторонних посетителей залу. Она была еще больше первой, еще серей. Прохлада и сумрак. Между голых стен стоял огромный глиняный гроб, далеко превышающий размеры общечеловеческого гроба. На этом гробу во всю ширину его, свисая по концам па листы грудой наваленных ветхих книг, лежала мануфактура: халаты, одея-

ла, покрышки, ткани всех цветов, рисунков и размеров. Внизу были старые, почерневшие, пропыленные, изъеденные молью ткани прошлого столетия. Сверху яркими цветами сияли материи, только что взятые из кооператива. В пол-аршина толщины лежала «святая» мануфактура, принадлежавшая мертвецу из Астанабаба. Она была неприкосновенна,— и мы действительно не прикоснулись к ней.

ПРИМИТИВ

Мы садились в автомобиль, чтобы ехать в район.

— Подождите, сейчас с вами поедет секретарь аулсовета.

Открылась дверь, и вышел на балкон секретарь — молодой высокий туркмен в европейском платье. За ним выбежала очень милая девушка. Он хотел идти к автомобилю. Она загородила ему дорогу, повисла на шее, целуя его щеки, лоб, губы. Мы приняли это за шутку. Секретарь мягко отстранил девушку и хотел идти. Она бросилась на него снова. Ее руки соскользнули с его плеч, и вдруг она упала, как срезанная, перед ним, прижалась головой, обняла ноги, целуя их.

Мы в недоумении увидели, что девушка обливается горючими слезами. Молодой человек хранил полное самообладание. Он поднял ее с земли и прислонил к балкону. Она неудержимо рыдала, закрыв лицо руками. Он пошел, она побежала за ним. Он влез в наш автомобиль и сел рядом с шофером. Шофер дал гудок. Девушка стояла в воротах, открыв заплаканное красивое лицо. Она шаталась от горя. Глаза, огромные и распухшие, извергали слезы, целые ручьи слез.

— Что это такое? — спросили мы местного человека, ехавшего с нами.

— Они недавно поженились,— ответил он.

— Ну так что?

— Так он уезжает на два дня в район...

— Не понимаем.

— Ну, так она его любит, и больше ничего. Ей жалко, что он уезжает. Ну, вы понимаете, она его очень любит...

— Ага,— сказали мы хором,— только и всего... Удивительно!

СМЕРТЬ АННЫ ДЖАМАЛЬ

Анна Джамаль из аула Янгалак, как все туркменки, до изнеможения молола зерна на каменных ручных мельницах, пряла, ткала, разбирала и устанавливала юрту, таскала воду, работала в поле. Вечный платок закрывал ее рот,— как хорошая жена она должна была молчать и работать. Тяжелый саммок давил ее голову, неуклюжая одежда безобразила ее фигуру. Она шла сквозь жизнь как привидение.

Она видела, как продают в жены девятилетних девочек, как семилетние девочки, вместо кукол, игр, сидят согнувшись рабынями, приучаясь за ткацкими станками, или учатся валять кошмы, до крови растирая маленькие руки о грубую шерсть. Такая же судьба подстерегала и ее детей.

Это были первые времена советской власти, когда старых туркменок приходилось за пять рублей уговаривать быть членами аулсовета, и то таких старух набралось всего три, так трудно было туркменкам разбираться в советских порядках, и так недоверчиво смотрели они на все новое, не ожидая от него ничего хорошего.

Анна Джамаль много дней и ночей думала о той бесконечной тьме, в которую посажена она и ее соплеменницы и которая называется жизнью. После долгих раздумий она пошла в город и записалась в партию.

Через некоторое время в Ашхабаде был съезд, первый съезд женщин Туркмении, и на этом съезде говорила большие слова туркменка Эне Кулиева, и многие женщины видели в ее словах правду. В далеких юртах начали они борьбу иногда с целым аулом за свободное существование.

Анна Джамаль была из первых. Она ездила по аулам и говорила с женщинами, только с женщинами, как друг и агитатор. Откуда она брала слова для агитации? Сами вещи агитировали за нее. Она только указывала на них. Нелепые одежды, ручные мельницы, грязные колыбели, рабские платки, тяжелые омачи — первобытные плуги — одним своим видом говорили больше слов. Аульные люди стали шипеть за спиной Джамаль. «Капыр» — называли ее насмешливо и обидно. Она перед всеми изменяла вере, изменяла адату, она оскорбляла свой род, она ходила в городе в Джинотдел (отдел дьявола), дьявол вошел в нее. Избегайте ее, женщины!

Но женщины ее не избегали. Они тайком приходили в юрту, где сидела она, и слушали. Джамаль говорила торопливо и сбивчиво, но все было ясно и так. Она говорила как раз те слова, каких давно ждали туркменки. Она не забросила хозяйство и детей. Труд каждого дня не страдал от ее поездок и речей.

Кечели, муж ее сестры, оказался дурным человеком. Она ездила утешать сестру три раза. Кечели косо смотрел на ее приезды. Однажды он послал ее сестру за водой. На скользкой глине у колодца сестра поскользнулась, упала и сломала ногу. Анна Джамаль поехала ее навестить. Тут Кечели потерял терпение. Он выхватил кинжал и закричал: гит! (вон!). Он натравил на нее собак. Со слезами на глазах вернулась Джамаль в свою юрту, а в юрте ее ждал брат. Смотря тяжелыми глазами, он сказал:

— Уходи из Джинотдела, уходи, или ты не будешь жить с нами. Вообще не будешь жить. Довольно позора!

Она так взглянула на него, что он вышел, посерев. Тогда подошел к ней брат мужа и сказал:

— Ты прогнала Ораза Вели, но я тебе скажу, ты стала безбожницей. Ты отлично знаешь, что мы по закону издавна покупаем себе девушек в жены. Зачем ты об этом говоришь всякий раз в своем Джинотделе? Берегись!

...Ночная пустыня лежала вокруг юрты. Взошла луна. Огромные пески забелели. Старуха Пухта Ханау услышала конский топот. Всадники крикнули Хаджем Кули, и когда она вышла из юрты к ним, спросили корму для лошадей. Их было четверо, и низ лица у них был закрыт.

— Куда вы едете в ночное время? — спросила Пухта Ханау.

— Мы едем убить жену Ак Мамед Бурунова,— ответили они.

— Что она сделала вам плохого? — сказала Пухта и вдруг испугалась ночи и всадников.

— Молчи! — воскликнули они и ударили коней.

Маленькая Кичи, дочь Анны Джамаль, проснулась оттого, что со звоном упало ведро в юрте. Она открыла глаза и увидела людей, вошедших в юрту, и услышала шум лошадей, топтавшихся у самого порога. Один из вошедших погасил ночник, и на минуту стало темно. Люди толкались по кибитке, наклоняясь к спящим, и старались в темноте нащупать женский головной убор. Они не могли отыскать в темноте Джамаль, потому что она, нару-

шив обычай, спала без убора. Тогда Кичи закричала в ужасе и разбудила мать.

— Что случилось? — спросила Джамаль, вскакивая с постели.

Боковой полог юрты был откинут. Черная борода Оразa Вели висела у входа. Луна вошла в юрту. Один из туркмен схватил девочку за плечи, поставил на ноги и кинжалом надрезал ей кожу на лбу. Кровь стекала на глаза, и Кичи не могла видеть хорошо, что происходит. Самого Ак Мамеда держали на постели и не давали ему подняться. Брат Кичи плакал, потому что кровь стекала ему на глаза, как и у сестры, но он был меньше и плакал только от боли, не сознавая происходившего.

Всадники убили Анну Джамаль кинжалами и ускакали. Дети лежали у трупа матери до утра. Утром пришли соседи со всех сторон, и мужчины пошли искать следы.

Растоптанный ячмень, конский навоз и следы коней вели от колодца до колодца. Тогда созвали много людей рода и совещались. Родственники убийц предлагали мужу деньги и скот, предлагали мировую. Кечели, Джемал, Шаган, Курбан-Шаган и другие уговаривали Ак Мамеда, но он сидел мрачный, и глаза его не смотрели ни на кого.

Приехали Нари, Овсар-оглы со старухой Тойдже. Он говорил: «Брат и меня может убить»,— и настаивал на мире. Ак Мамед взглянул на маленькую Кичи, и она сказала: «Отец, я знаю всех, кто убил, а ты тоже знаешь?»

Тогда Ак Мамед искривил рот и сказал: «Да»,— и он отказался от мировой.

Убийц судили в Ашхабаде и расстреляли. Когда их судили, весь город ходил смотреть на черных ночных всадников пустыни, убивших непокорную женщину. Убийцы спокойно сидели и думали, что они сделали большое дело и великий испуг охватит туркменок. Однако хоронить Анну Джамаль пришло так много женщин, что аульные туркмены смутились. И когда они услышали, что говорят женщины над могилой, многим стало стыдно за себя. Они разошлись по юртам, оставив женщин одних. И тогда женщины плакали об Анне Джамаль и говорили речи, такие же, какие говорила она. Смерть Джамаль стала известна повсюду.

Прошло много времени. В Туркмению приехал товарищ Калинин, Михаил Иваныч, председатель ВЦИКа. Туркменки подарили ему женский костюм — тяжелый саммок, яшмак, закрывающий рот, грубый халат, рабские

туфли, длинную рубашку и большие штаны, завязывающиеся ниже пояса.

Калинин удивился и спросил:

— Да я же не собираюсь жениться на туркменке, я женат, а многоженство запрещено. Зачем мне все это? Да у меня и жалованья на калым не хватит!

Тогда туркменки ему ответили:

— Возьми себе эти одежды, и пусть они тебе всегда напоминают о рабском положении женщины-туркменки и о том, что советская власть должна уничтожить это рабство и сделать туркменку свободной.

ЗАБЫТЫЕ ЦИТАТЫ

Забавно, что Анатоль Франс следил за постройкой Закаспийской дороги, и в романе своем «Красная лилия», когда героиня собирается ехать в Италию, он устами своего героя предлагает ей другое заманчивое путешествие. «Я думаю,— говорит он ей,— что хорошо было бы весной побывать в Закаспийском крае. Вот интересная и малоизвестная страна. Генерал Анненков предоставит в наше распоряжение вагоны, целые поезда на выстроенной им железной дороге. Он мой приятель, он даст нам эскорт из казаков. Это будет весьма внушительно».

Но если Анатолю Франсу поездка в Туркмению казалась интересной и заманчивой, то доктор Гейфельдер отчаянно напугал французов, в том числе и путешественника Буланже.

Буланже читал книгу доктора по дороге в Туркмению, к «диким туркменам, которым я хочу нанести визит», как писал он друзьям. Буланже в книге доктора Гейфельдера с ужасом неприкрытым читал следующие строки о жизни в Закаспии:

«Как только европеец высаживается в Красноводске, он начинает испытывать влияние жары и сухость воздуха и почвы. Он страшно начинает потеть, быстро теряет в весе, худеет, чахнет. Появляется хрипота, постоянный жар во рту и в дыхательном горле, и применение пищи в это время страшно мучительно.

На открытых частях тела солнце вызывает раздражение кожи (эритему), она трескается и шелушится. А купанье в море производит мокнущую сыпь (экзему), часто сопровождаемую гнойными нарывами. Прекрасная страна!

Органы пищеварения тоже страдают: принятие большого количества воды или даже малого, но нечистой воды, вызывает поносы и катары желудка и кишок, сопровождающиеся дизентерией. Появляются кишечные кровотечения, упадок сил постепенно увеличивается, пока наконец вы не умираете от прободения кишок. Но часто болезнь принимает форму брюшного тифа, который прекращает наконец все ваши мучения. Прекрасная страна».

Так, Туркмения, говорили о тебе знатные иностранцы. Сейчас они не найдут ни «диких» туркмен, ни генерала Анненкова, ни казаков, ни болезней, так страшно обязательных для каждого приезжего. Все гораздо проще в этом мире, чем кажется.

1930

ВАМБЕРИ

Глава первая

Незнатный серый воробей
Учился сам летать.
От себя и к себе, от себя и к себе.
Он крыльями начал махать.
И так он махал, и так он хотел
Летать и видеть свет,
Что не заметил, как взлетел,
И прозевал обед.
Он всюду был, он был везде,
На что ему обед,
Когда он видел всех людей
И всем кричал привет.

I

То был маленький хромой еврейский мальчик. Звали его Герман Вамбери. Семья его ютилась в глухом венгерском городке. Вокруг города лежали болота, а в доме Вамбери во все окна и двери стучала нищета. Чтобы не умереть с голоду, нужно было работать всем: взрослым и малышам.

Работу давали окружавшие городок болота. В них водились длинные и тощие пиявки. На этих маленьких чудовищ был большой спрос в те времена. Их ставили больным, и они высасывали больную кровь. Их охотно покупали в аптеках. Они требовались во множестве. Семья Вамбери продавала пиявок и кормилась этим.

Каждое утро Вамбери, его братья и сестры собирались у большого стола, на котором копошились груды пиявок.

Мальчик отбирал их по длине и толщине, очищал от слизи и купал в свежей воде. Разобрав, выкупав и разложив пиявок по холщовым мешкам, дети мыли руки и шли обедать.

Мать подавала большой горшок с горячим рассыпчатым картофелем.

— А что будет еще, мама? — спрашивали дети.

— Съешьте это, а на второе будет еще картофель,— отвечала мать,— его сегодня много.

Но не всегда она отвечала так. Иногда ни куска хлеба и ни одной картофелины не было в доме.

Заглядывать на кухню было бесполезно. Плита не топилась. Тогда дети бежали из дому на городской пустырь.

Там на смятой траве, между косых кустов и мусорных куч толпился самый вольный и рваный народ: цыгане с огромными пуговицами, скреплявшими их лохмотья, нищие, безработные, ремесленники и просто бродяги.

Тряпичники продавали свои находки: бутылки, сломанные чашки, лампы, гребенки. Фокусники из прогоревших цирков глотали горящую паклю и ходили колесом.

Цыганки гадали на картах и плясали, звеня широкими поясами из медных колец.

У шарманщиков прыгали на ящиках зеленые попугаи и просили сахара. Дети хохотали и дразнили их.

На пустыре было тесно от людей.

Босой Вамбери, подпрыгивая со своим костылем, пробирался между ними и просил у этого сброда чего-нибудь поесть. Ему давали со смехом или с издевкой. Ему кидали куски хлеба, остатки колбасы, лепешки.

Раз к нему подошел худой старик инвалид, седой и одноногий. Они сели на жесткий желтый камень и заговорили. Малый и старый были оба в лохмотьях и оба калеки. Их глаза встретились.

— Ну, что? — спросил старик.— Эх, брат, что же ты будешь в жизни делать? Смолоду на одной ноге скачешь. Кем же ты хочешь быть?

— Я часто хожу сюда,— отвечал мальчик,— здесь много людей, и все они говорят по-разному. И многие говорят так, что я их не понимаю. Я хочу знать все языки, я хочу всех понимать, кто бы что ни говорил.

Инвалид отодвинулся от него с удивлением:

— Хо-хо, клоп! Посмотри на него: он хочет знать все языки — это недурно!

Старик закашлялся и встал, качая головой.

II

Вечером Вамбери снова мыл пиявок, сжимая их двумя пальцами и потом сажая их в мешки. Спали дети на полу в ряд. Под рваным одеялом они скатывались в комок и при-

жимались друг к другу, чтобы согреться. Почти каждую ночь кто-нибудь из них просыпался и кричал:

— Пиявка, пиявка!

Все шумели, искали свет,— вспыхивал огонь и освещал ногу или руку, на которой примостилась пиявка, удравшая из мешка. Беглянку, а то и трех-четырех беглянок сразу, ловили и снова водворяли на место.

...За городком поля стали серыми, гуси не шлепали по лужам, а гоготали у ворот, деревья сделались больными и тонкими,— пришла осень.

Вамбери отвели в школу, и он сидел вместе с другими мальчиками и заучивал букву за буквой. На ночь мать клала под его подушку учебники.

— Это нужно, Герман,— говорила она,— чтобы знание само проходило через подушку тебе в голову.

Вамбери учился с таким жаром и радостью, как будто у него было четыре руки, чтобы писать, и две головы, чтобы запоминать.

Но бедность, стучавшая в окна, вошла теперь и в дом.

Снег лежал на крышах, а в печи не было дров. Мальчик бежал в школу, засунув руки в карманы, грея их горячим картофелем, занятым у соседей.

Сестра Вамбери поступила прислугой к старой чиновнице на другом конце городка.

Мать отвела Вамбери к одной знакомой женщине. Это была портниха. Она должна была выучить его шитью.

Вамбери сидел в неуютной комнате, засыпанной обрезками материй и наполненной лязгом ножниц и шорохом разрываемых тканей.

Иголка колола ему руки, а нитка непослушно убегала. Хромая нога мешала свободно двигаться, а руки не умели резать правильно.

Над ним издевались и били по рукам аршином. Он плакал по ночам и вытаскивал из угла учебники. Но школа была далеко. В праздники он бежал к матери и жаловался.

Дома сидели братья, худые, как зайцы, и дрожали от холода, и мать говорила ему:

— Потерпи еще, милый, потерпи хоть до весны, а там увидим.

И весной Вамбери положил ножницы и иголку и сказал портнихе:

— Я больше не буду шить. Я еду учиться.

Рыжая портниха от изумления уронила наперсток и подушку с булавками, а мальчик встал и ушел.

III

По длинным дорогам большие, сильные быки и лошади везут возы с сеном, с дровами, с углем и с соломой.

Долго ехал Вамбери с матерью через низенькие бедные деревушки, рощи и леса, луга и речки, пока не приехали к шлагбауму города Ниска у подножия лесистых всклокоченных гор.

Темные своды школы, которая содержалась монахами-пиеристами, поглотили Вамбери.

Перед тем как отвезти Вамбери в эту школу, его мать выдержала большой бой со своими знакомыми.

— Он знает Библию,— говорили они,— в Библии есть все. Зачем учить тому, чего в ней нет? Это только погубит мальчика. Пусть он лучше станет сапожником — это богатое ремесло.

Но она настояла на своем:

— Мне трудно расстаться с ним. Мне очень тяжело отдать его чужим людям, но мой сын имеет хорошую голову. Для этой головы Библии мало. Пусть он учится всему, что знают люди.

И Вамбери учился в монастырской школе.

Первый год учения прошел, как ветер по роще,— неожиданно и быстро. Латынь звенела в ушах мальчика с утра до вечера, мороз на улице щипал его за нос, но сытный обед редко был гостем его желудка. По ночам ему снилось, что он странствует по диким странам и говорит на неведомых языках. Он просыпался в поту и вскакивал. Спал он где придется,— у разных случайных благотворителей на мешках в передней или где-нибудь за плитой на кухне.

Зато, когда он увидел в первые каникулы ивы своего родного городка, он торжественно показал им, развернув так, чтобы видел весь пустырь, свой похвальный лист, где было написано золотыми буквами его имя.

— Золотом, вы понимаете, совсем золотом, посмотрите,— хвасталась его листом мать, показывая соседкам.

И все удивлялись. Такой маленький и такой умный!

Ее материнское сердце кипело от гордости. А Вамбери говорил:

— Это еще немного, мама! Я должен знать все, все...

С первыми полосами сентябрьских дождей костыль Вамбери снова застучал по коридорам монастырской школы.

Толстый новый преподаватель позвал его к себе и оглядел с головы до ног; потом презрительно спросил:

— Ты еврей, Вамбери?

— Да,— ответил мальчик, смотря ему в глаза.

— Скажи мне, Мошеле, зачем тебе учиться? Не лучше ли тебе стать резником и продавать мясо?

Вамбери звали не Мошеле, и он вспыхнул, но вспомнил сейчас же ножницы и иголки портнихи, голодных братишек, старый согнувшийся их домишко, и мать с заплаканными глазами, и ночи, отданные книгам.

— Учитель,— ответил он,— я нищ и мал. Я буду слушать вас, как отца. Но я не хочу быть мясником.

Монах усмехнулся и сказал:

— Хорошо, я верю, иди в класс.

IV

Этот год упал на мальчика, как черное облако. Знакомые его, у которых он получал обед и ночлег, разъехались из города. Карман Вамбери не знал, что такое деньги. Мальчишки на улице хватали его за костыль, подставляли подножки, бросали камнями в спину, кричали:

— Урод, трус, калека!

Он шел и дрожал от ярости.

Горбун шапочник дал ему угол в своем чулане. Но есть было нечего. Тогда он попросил в школе работы. Ему сказали:

— Приходи по утрам до уроков чистить учителям сапоги и платье.

Едва зимнее солнце начинало трогать окна, Вамбери уже сидел с сапогом в руке у печки в большом школьном коридоре и одним глазом следил за щеткой, бегавшей по сапогу, а другим глядел в книгу.

Печка сделалась его другом — она грела и успокаивала его. А потом — в нее всегда можно бросить полдюжины картофелин, случайно сохраненных от вчерашнего дня.

Кроме печки, книги были его верными товарищами. Зачитываясь, он забывал голод.

Однажды весной школьники дурачились и играли на дворе. Листья яблонь летели им навстречу. Воробьи прыгали по забору.

Веселье кружило мальчикам руки и ноги.

— А ну, Вамбери,— подзадоривал один из них,— побежим, ну, побежим, кто скорее.

— Куда нам с ним,— кричали другие,— он на трех ногах, он нас всех сразу обгонит.

Вамбери побледнел от гнева и вскочил. И он бежал вместе со всеми. Но они далеко обогнали его и, столпившись на другом конце двора, показывали ему языки и строили носы.

Он стоял одиноко, запыхавшийся от усилий. Мальчики смеялись.

Тогда он отвернулся и пошел прочь от школы и от своих мучителей. В этом городе было одно место, куда он ходил плакать, когда ему было тяжело. Это была могила его отца. Туда он пришел и теперь.

На могиле он сел и оглядел себя. Рваная куртка одевала его плечи, костыль протер ее, и под мышкой зияла дыра. Из одного сапога торчали пальцы. Морщины выросли на маленьком лбу после этого осмотра.

— А, проклятый,— сказал он, хмурясь, дергая костыль из-под руки,— ты долго еще будешь делать меня посмешищем? Кто сильнее, я или ты,— сейчас увидим. Отец, отец, будь свидетелем!

И Вамбери ударил изо всех сил костылем по дереву, росшему на могиле. Костыль переломился и упал.

Опираясь на палку, ступая с болью, Вамбери пришел домой и собрал свои книги. Собрав, он завернул их в одеяло. Больше вещей у него не было.

— Куда ты? — спросил шапочник.

— Я ухожу,— сказал он,— здесь мне больше нечему учиться. Я пойду дальше.

V

Старый и мрачный город Пресбург впустил Вамбери в свои холодные, как пещеры, улицы.

Он долго ходил от дома к дому, и ему казалось, что дома отворачиваются от него, а лавки играют в прятки. Так неожиданно выскакивали перед ним окна, в которых лежали колбасы, окорока, сладкие пироги и конфеты.

Люди бежали вокруг, но никто не хотел взглянуть на него. Никому не было дела до хромого мальчика.

Он был чужим в этом большом и мрачном городе.

Вамбери остановился на одном углу. Над ним качалась вывеска: обеды. Он вошел. Человек с синим шрамом на подбородке спросил, что ему нужно.

— Я хочу есть,— сказал Вамбери.

— Здесь едят только те, кто может заплатить за съеденное,— ответил ему хозяин,— а кто ты такой?

— Я приехал учиться, но могу и учить...

— Ну-ну,— сказал хозяин,— у меня есть оболтус-сын, которого следовало бы подучить.

— Что ж,— сказал Вамбери,— я готов. Я могу показать свое свидетельство.

И он показал его.

И Вамбери получил ученика и одну половину складной кровати у господина Леви — так звали хозяина столовой.

Еду он должен был добывать сам. Он садился с книгой в углу столовой и наблюдал за обедающими. Это были бедные и тихие люди, такие же, как и он. Они платили медными монетами за жидкие супы и жесткое мясо. Вамбери подбирал остатки от кушаний. Иногда ему протягивали и целый кусок. Потом он уходил опять в угол и раскрывал французскую грамматику. Он уже знал языки: латинский, немецкий, венгерский, еврейский.

Теперь его страстью был французский язык. Он заговаривал по-французски со всеми, толкаясь по улицам,— с крестьянином, идущим в погребок, с кухаркой, продающей молоко, с немцем, часовым мастером, с собаками, сидевшими у дверей.

У него было дикое произношение и честное упорство.

Его ученик блистал совершенным невежеством. В тусклый вечер, когда Леви, подсчитав кассу, пришел в комнату к Вамбери, мальчик раздевался, чтобы лечь спать.

— Погоди,— сказал Леви,— мой сын сказал, что у тебя появилась сыпь. Что это такое?

— Это, вероятно, лихорадка,— отвечал Вамбери,— не больше.

— Ну-ну,— сказал Леви,— повернись-ка к свету. Эге, а тебе придется, паренек, убираться отсюда. Таких мне не надо. Ты еще перезаразишь весь дом.

Вамбери встал, чувствуя, что удушье схватывает его за горло.

— Ничего, мы сейчас сосчитаемся. За три обеда, что ты мне должен, можешь не платить. Я оставлю у себя твою подушку и одеяло. А теперь иди — я тебя не держу.

Вамбери исходил все бульвары и переулки: он был отверженным и не мог постучать ни в одну дверь, он не мог показаться ни одному человеку.

Мрачный чужой город окружал его.

Тогда он сел на скамью в глухом углу улицы. Но и тут

раздались шаги ночного сторожа. Мальчик залез под скамейку в кусты, лег на землю и свернулся клубком.

— Ничего,— говорил он себе,— крепись, Вамбери!

И он на память читал про себя стихи по-латыни и по-французски, пока не уснул.

VI

Наутро он пришел в монастырскую больницу и постучал в железную дверь. Его впустили и уложили на жесткую, скрипучую кровать. Книг он не отдал. Он их положил под изголовье и только тогда успокоился.

Железная дверь выпустила его обратно только через две недели. К нему на улице подошел тонкий, как гвоздь, старик с кусками белой щетины на скулах. Он слышал, что Вамбери разговаривает с водосточной трубой по-французски, и спросил:

— Ты хочешь работать, мальчик?

— Еще бы!

Вамбери даже подпрыгнул на одной ноге.

— Идем со мной в таком случае.

И старик, который занимался ростовщичеством, привел его в свою квартиру. То была холодная низкая комната с большим сундуком и двумя черными шкафами. К ней сбоку примыкала прихожая, где лежали остатки ковра и пустые бутылки. Это было все.

— Что ты знаешь? — испытующе спросил старик.

— Я знаю пять языков.

— Это меня не касается. А сколько тебе лет?

— Четырнадцать лет,— отвечал Вамбери.

— А ну, скажи что-нибудь по-немецки.

Вамбери сказал.

— А ну, скажи что-нибудь по-латыни.

Вамбери сказал.

— Ты не совсем дурак, мне кажется,— сказал старик.— Ну так слушай: я стар, и мне трудно готовить себе обед и подметать комнату, а потом — меня могут ограбить, так как я не держу собаки. Если ты будешь смотреть за мной и охранять квартиру, этот ковер к твоим услугам.— И он жестом султана, дарящего гостю провинцию, указал Вамбери на остатки ковра в углу прихожей.— Ну, и кое-какой кусок хлеба тебе обеспечен.

— Хорошо,— согласился Вамбери,— я буду служить вам за слугу и за собаку.

Но старик даже крошки не оставлял подчас после себя на тарелке, и Вамбери мстил ему тем же. Он забывал заводить ему часы, убирать комнату и спал ночью так, что его хозяина могли сто раз пронести туда и обратно, и Вамбери не проснулся бы.

VII

Шел 1848 год. Стены тихого Пресбурга затряслись от грохота пушек. Венгрия восстала против угнетателей — австрийцев. Огонь войны перекидывался с кровли крестьянской хаты на крыши замков и стены крепостей. Вена свергла императора. Студенты и рабочие укрепляли город. Битвы перекатывались по краю. Венгерские революционеры собирали отряды.

Но борьба была неравной. Начались казни. Трупы висели на площадях, и грохот барабанов заглушал вопли разоренных семейств.

Вамбери ненавидел насилие. Он бегал по улицам и на всех языках ругал австрийцев палачами. Тогда его стала ловить полиция.

Вамбери должен был бежать из Пресбурга.

В поле у Дуная он встретил нескольких венгерских солдат, спасшихся от плена.

Они были запылены, и поражение читалось на их лицах.

— Все кончено,— говорили они,— будем ложиться и умирать. Пропадай наша свобода!

Тогда поднялся один старый пастух и прохрипел им шатающимся от старости голосом:

— Стойте, дети! Всегда, когда с нами беда, приходят нам на помощь старые мадьяры из Азии: ведь мы их братья,— будьте спокойны, они и теперь нас не забудут.

Это было откровением, которое поразило Вамбери. Его всегда тянуло на Восток. Ему всегда снились пустыни и пальмы. Не там ли он найдет многое множество языков и племен? Там он научится понимать всех, на каком бы языке ни говорил человек. Там он найдет этих старых мадьяр из Азии.

И он ушел потрясенный.

Когда звезды встали над его головой, он сел у канавы при дороге и дал слово, что больше не будет толкаться в учебные заведения. Судьба загнала его в Будапешт. Тогда еще он назывался просто Пешт.

VIII

Самое грязное и самое шумное кафе в Пеште — кафе Орчи. Там собираются приехавшие из провинции кулаки и фермеры. Там стояла особая скамейка. На эту скамейку, как невольники, садились учителя, ждавшие, чтобы их наняли куда-нибудь в отъезд.

Много раз сидел на этой скамейке Вамбери, много раз уходил он с нее и возвращался снова. Иногда у него оказывались деньги. Тогда была передышка. Он покупал себе потрепанные брюки и даже раза два сходил в театр.

Ученье он не прекращал ни на минуту. Он учился языкам днем и ночью, в поле, в сарае — везде, где можно было раскрыть книгу и положить бумагу. Он заучивал по сто слов в день. Как самоучка, он коверкал слова, приходилось их переучивать снова,— он переучивал по два, по три раза.

Он читал Пушкина по-русски, Андерсена — по-датски, Данте — по-итальянски, Хайяма — по-персидски, Сервантеса — по-испански.

При таком терпении ничто ему не было трудно. Слова чужих стран входили в его голову как бы играя. Он забавлялся их пестротой и музыкой. Он видел их, как видят картины или статуи. Они прыгали перед ним, и каждое означало что-нибудь новое, еще не известное ему.

Если ему удавалось ненадолго получить себе комнату, он увешивал ее плакатами, на которых писал кратко по-турецки или по-персидски, чтобы никто не мог прочесть: «Работай, всегда работай, будь настойчив — стыдись!»

Он сам задавал себе уроки и, если не приготавливал их к сроку, оставлял себя без обеда.

Но жить становилось все труднее. Люди вокруг него жили в тяжелой, безвыходной нищете. Он решил ехать на Восток.

Деньги не любили его. Ему удалось в Вене достать угол на улице Трех Барабанов, где он переходил с хлеба на воду и худел, как котенок.

Квартирная хозяйка благоволила к нему. Она приходила к нему иногда, и становилась перед ним с заложенными за спину руками, и тихими овечьими глазами смотрела на него.

— Когда вы встанете на ноги, Вамбери? — спрашивала она.

— Я уже стою на них,— отвечал он,— и ничто не сможет меня сбить с них.

Он вспомнил сломанный свой костыль и улыбнулся.

— А это что у вас? — допытывалась она, заглядывая в тетрадь, испещренную заметками в клетках.

— Я отмечаю всякий день, дорогая фрау Шенфильд, все, что я должен сделать. Если я не сделаю в течение месяца всего, что я должен сделать, я первого числа объявляю себе выговор.

— Вы странный человек, Вамбери,— говорила хозяйка и уходила недоумевая.

И снова шатался Вамбери всюду, собирая гроши на жизнь. Время шло.

Однажды весной он вошел к фрау Шенфильд. Она обрадовалась ему и хотела угостить его кофе, но он отказался.

— Вы торопитесь, Вамбери? — спросила она.— Может быть, приехала ваша матушка?

— Она давно умерла, фрау Шенфильд.

— Тогда вы, может быть, спешите к своей невесте? — спросила она с улыбкой.

— Нет,— отвечал Вамбери,— я еду в Турцию, в Константинополь.

Глава вторая

Когда тоскует конь,
Он бьет копытом пол —
Он непонятно зол;
Но ты коня не тронь.
Но ты коня не бей,
А выведи на луг.
А ты возьми седло
И выбери страну,
Дай шпоры скакуну —
Увидишь, что болезнь,
Что всю болезнь его
Как ветром унесло.

I

Громадным многоцветным лагерем раскинулся Константинополь. На холмах подымались похожие на шатры мечети. Как копья, в небо торчали белые минареты.

Ржанье вьючных животных наполняло улицы. Их было так много, что казалось, будто вся страна куда-то переселяется.

Рядом с толстыми раззолоченными людьми жили голые грязноволосые нищие, покрытые рубцами и ранами. У ног прохожих дымились жаровни.

Проходили красные, как раки, и синие, как павлины, солдаты. Дворцы султана были отгорожены от всех золочеными решетками. По зеленой воде Босфора бежали, обгоняя друг друга, остроносые лодки. Под их веслами в прозрачной воде играли диковинные рыбы.

Стук копыт, крики торговцев, приветствия и брань оглушали новичка.

В маленькой прохладной кофейне сидели греки, турки, арабы и персы.

На возвышение поднялся худой смуглый хромой человек. Наступила тишина. Не слышно было даже шороха передаваемых наргиле и чашек.

Человек читал нараспев с гортанными ударениями обрывки «Ашик-Гариба» («Влюбленный иностранец»).

Слушатели вскрикивали от удивления и восхищения.

— Кто это? — спрашивали они хозяина.— Кто это?

И тогда хозяин кофейни говорил с улыбкой:

— Это один венгерец, он только что приехал в Стамбул и уже говорит по-нашему, как эфенди. Это не человек, а чудо.

Вамбери кончил стихи. Ему поднесли кебаба и пастирмы (жареного и копченого мяса).

Вамбери съел и ушел в соседнюю кофейню. Он жил, как хромая смуглая птица, перелетая из одной улицы в другую, с базара на базар, и так же, как птица, зарабатывал себе на хлеб пением.

Потом он шел к венгерцу Песпеки, своему другу, в разрушенный домишко, на пустырь. У них на двоих был один ободранный диван.

— Одна половина ваша,— предложил ему Песпеки,— другая моя. Это называется царьградской роскошью.

— Но здесь очень холодно,— сказал Вамбери,— нет ли у вас какого-нибудь старого тряпья?

Песпеки с грустной улыбкой вытащил из угла большое пыльное знамя.

— Накройтесь этим — это вас, наверное, согреет. Под этим знаменем мы дрались за свободу Венгрии... Больше у меня ничего нет.

Но знамя, согревавшее когда-то сердца, больше не грело. Оно уже стало простым куском материи.

С первыми лучами солнца Вамбери вскакивал и шел в город. Здесь перед ним лежал Восток, и он был нужен этому Востоку.

Слава об иностранце, говорящем по-турецки лучше турка, облетела город. С ним искали знакомства. Вамбери зазывали к себе чиновники и паши, чтобы у него учиться языкам Европы.

Прошло четыре года.

Казалось, колесо судьбы круто повернулось. Из худого, скромного молодого человека Вамбери превратился за это время в здорового, сытого турка. С ним говорили писатели и министры.

Мидхат-паша, всесильный зять султана, рассуждал с ним о падении ислама, о происках французов и англичан, об истории Турции. За его знание турецкого языка и турецкого быта он дал ему имя Решад-эфенди, что значит «верный».

— Почему вы не хотите поступить к нам на службу? — спрашивали его.

— Не для этого я боролся, чтобы после десяти лет голода и холода, обладая знанием десяти языков, засесть в кабинете чиновником. Я не могу принять службу султана — я состою на службе у человечества. С каждой новой главой о Турции я вписываю главу в историю человечества. Я привык бегать, и от сидения у меня затекают ноги. А потом я еще не видал Востока...

Турки качали головами и говорили, что он лукавей шайтана.

II

Однажды он шел по берегу Босфора через высокую зеленую рощу. Под деревьями сидел старый турок и сжимал в одной руке трубку с опиумом, а в другой держал чашку с кофе, размахивая ею по воздуху, чтобы охладить.

За деревьями прятались уличные мальчишки, следя за ним с хохотом.

Турок накурился опиума так, что ничего не понимал. Мальчишки подбирались к нему, втыкали в чашку длинные соломинки и высасывали кофе.

Живой скелет смотрел в чашку, убеждался, что она пуста, и, думая, что он выпил ее, кричал слуге:

— Кафеджи, дольдур (подлей еще)!

Ему подливали, а мальчишки снова высасывали кофе через соломинку.

И Вамбери понял, что вся Турция такова. Опьяненная смутными ядами прошлого, она спит и не видит, кто за нее пьет ее кофе.

Ему стало грустно. Он окинул мыслью весь Стамбул. Он видел десятки богачей, у ног которых влачили жизнь тысячи бедняков. Нищета и рабство были хозяевами Стамбула. Чашка кофе или трубка опиума — и день прошел.

Кто-то сказал над его ухом арабскую пословицу:

— Все несчастья в жизни от желудка!..

Перед ним стоял лохматый человек в рубчатой чалме. Четки целыми рядами обвивали его шею, а глаза блестели, как куски меди.

— Кто ты? — спросил его Вамбери.

— Я дервиш, эфенди,— отвечал он,— я был в Бухаре, Самарканде, в Мешхеде и Куте. Я был всюду, где лежит тень плаща пророка. Там, где ни разу не ступала нога неверного.

И он прошел мимо, повторяя арабскую пословицу:

— Все несчастья в жизни от желудка!..

Вамбери долго не ложился спать в эту ночь.

— Так я буду там,— сказал он себе,— я буду там, где не ступала нога европейца. Назло всему исламу и всем дервишам я приду в те места и взгляну своими глазами, чтобы знать, что это такое.

Через месяц пароход «Прогресс» вез Вамбери в Трапезунд, город на Черном море, откуда можно караванным путем попасть в Персию.

III

Вамбери высадился в Трапезунде. Он пересек страну курдов, где высокие дикари, нищие и храбрые, хвалятся конями и оружием.

Нападая на караван, они стреляли с коня так метко, что могли отстрелить пуговицу, не задевая всадника.

Вамбери проехал желтый Тавриз, где на базарах галдят четыре страны света, проехал голубое Урмийское озеро, Казвин, похожий издали на свадебный шоколадный торт, и приближался к Тегерану.

Ему было не по себе. Он думал, что Восток — это зем-

ной рай, где под пальмами живут красивые и веселые народы, а здесь перед ним лежала или соленая пустыня, или пустыня без соли; развалины городов и каналы, полуобвалившиеся и запущенные, походили на кладбища. Башни и крепости торчали, как досадные придатки к скалам.

Персы, между которыми он жил это время, постоянно осыпали его ругательствами, так как он выдавал себя за турка. Они были шииты и к туркам-суннитам питали нестерпимую вражду.

Даже на его осла, как на суннитское животное, сыпались удары бичей.

Рядом с Вамбери постоянно шел злой фанатик в смушковой шапке, длинном халате и в зеленых туфлях и кричал, точно ему платили золотом за этот крик:

— Ты думаешь, эфенди, что Омар, этот паршивый пес, эта дьявольская скотина, эта вонючая гадина, не поступил вероломно? Отвечай сейчас же!

Вамбери мог бы ответить персу: «Друг мой, я не заинтересован в этом, ты можешь успокоиться...»

Но этот ответ был бы равносилен объявлению войны. Его убили бы, приняв за дьявола. Вокруг были темные и бешеные люди. Многие из них никогда не видали европейца.

И Вамбери делал строгое лицо и спорил, как суннит, спорил, как турок, спорил до седьмого пота. Он изучил в Стамбуле все штуки мулл, и его трудно было заподозрить в обмане.

Так было на каждой остановке, на каждом перекрестке, на каждом ночлеге.

Наконец они увидели ряды тополей и фруктовые сады. Между ними белело что-то большое и бесформенное. Это был Тегеран.

Вамбери загорел и закалился. Его звали Решад-эфенди. Вся его прошлая жизнь, казалось, была отрублена от него. У него завелись новые друзья.

В прекрасные синие ночи Тегерана он сидел с ними, читал им стихи Омара Хайяма и Гафиза. Красное вино — хуллари — темнело в их бокалах. Звучали непрерывные тосты. Они придумывались тут же, на лету.

— Пью за избавителя караванов! — кричали одни.

И все пили за избавителя караванов.

— Пью за Бинат-ул-Нашша (Дочь Мертвеца)! — кричал другой.

И все пили за Большую Медведицу, называемую в Персии Дочерью Мертвеца.

Так пировали всю ночь под синим небом Персии.

Потом кричали совы и лаяли собаки предутренним лаем. Звезды бледнели и уходили с неба. Тогда шли спать.

IV

Вамбери пришел к своему приятелю — турецкому послу в Тегеране, Гайдар-эфенди, и развернул перед ним карту.

— Что хочет сказать мой друг? — Турок посмотрел вопросительно.

Он сам был человек свободный, без предрассудков, и уважал Вамбери.

— Немного внимания, господин,— сказал Вамбери,— взгляните сюда: вот здесь лежит Бухара, а здесь Хива,— там, где тянется великая водяная жила, называемая Оксусом или Аму-Дарьей. Туда пойдет Вамбери с вашего разрешения.

— Не шутите, такого разрешения не будет.

— Тогда Вамбери пойдет без разрешения.

— Никогда! — вскричал его друг.— Оттуда не возвращаются европейцы. Вы хотите быть разрубленным на куски или повешенным за ноги! Куда вы пойдете? Вы хромаете. Чтобы попасть туда, надо пройти сотни верст пути, и какого пути! Пески, горы, ямы... Терпеть холод и голод. У вас не хватит силы.

— О,— сказал Вамбери,— в Персии мне делать нечего. Я не археолог,— развалины меня не занимают. Что касается голода — я голодал пятнадцать лет, это не так мало. Что касается выдержки, то я вскакиваю на лошадь на полном ходу и взбираюсь на верблюда, как акробат. Общество бродяг и разбойников только развлечет меня.

— Но один вы не сделаете и трех шагов.

— А кто вам сказал, что я буду один? Я пойду со своими друзьями.

— Кто же они? Могу ли я видеть их?

— Для этого стоит только подойти к окну.

Гайдар-эфенди взглянул и вздрогнул. Во дворе посольства сидели паломники, возвращавшиеся из Мекки в Центральную Азию. Совершенно истощенные, покрытые

грязью и пылью, как загнанные животные, с четками и посохами сидели дервиши.

— С ними, с этими фокусниками и ханжами, пойдете вы, Вамбери? Я не допущу этого.

— Увы, господин, я уже решил.

— Я ничего не понимаю, Вамбери. Что вам нужно в Бухаре? Зачем вы ищете плохого и только плохого?

— Дорогой эфенди, я человек науки. Пословица говорит: не входи в дом с дурной дверью. Я хочу войти, я хочу увидеть Бухару. Может, всю жизнь я должен был положить именно на то, чтобы попасть в Бухару. Это упорство ученого, меня не остановит ничто. Почему я пойду с дервишами? Я говорю по-турецки лучше любого турка, профессия этих людей — обман. Я знаю, что простых людей обманывают с одинаковым успехом и в Азии и в Европе. Эти люди торгуют молитвами, и четками, и водой из Мекки. Они берут эту воду в любом колодце. С ними легко поэтому ладить. А если я погибну — потеря не очень большая. Родина моя далеко, семьи у меня нет. Поэтому не держите меня, мой друг.

V

Потом к Вамбери заглянул доктор Бимзенштейн. Он был похож на камбалу, которой приделали неожиданно ноги. Он трудно дышал и немного заикался.

— Вамбери, я слышал, вы идете в Бухару?

— Да, иду.

— Слушайте, старина, майор Конолли был там...

— Ну и что же?

— Его голова висит на зубцах эмирской башни. Стоддарт пошел по его дороге. Его пробили копьем, как лист картона.

— Были и другие, доктор, были и счастливее этих.

— Да, были; Блоквилль сидел передо мной, как сидите вы, и рассказывал о том, как туркмены жгли ему пятки и ломали руки. Вайсберн — крепкий англичанин — смеялся со мной над опасностями. Спросите ветер, Вамбери, спросите ночь, спросите дорогу, Вамбери,— где Вайсберн? Никто не ответит, потому что никто не знает, что стало с ним.

— Я скромней их, доктор. Я никогда не искал славы мученика. Я пройду незамеченным, как блоха на дервише.

— Незамеченным, Вамбери? Сто глаз будут следить за вами день и ночь. Будете ли вы есть, спать, притворяться молящимся — сто сторожей будут стоять за вашей спиной. При каждом шаге вы будете наступать на шпиона. В степи, в монастыре, на базаре, на улице стоит одному человеку сказать: «Это френги» (европеец),— и вы погибли. Вы никак не сможете защищаться. Дрогнувший взгляд, оступившаяся нога, неверное ударение в слове выдадут вас.

— Все так, доктор, но у меня есть одно, за что я ручаюсь.

— Что же это, Вамбери?

— Сила воли, сила воли, доктор.

— Хорошо,— сказал Бимзенштейн,— тогда накануне вашего пути вы зайдете ко мне.

Была теплая южная ночь. Доктор сидел в своей комнате и курил. В дверь постучали. Он отворил ее и отшатнулся.

— Кто это? — спросил он.

— Не пугайся, эфенди,— отвечал человек,— я простой дервиш Хаджи-Махмуд-Решад-эфенди, я иду ко гробу Богаэддина.

И Вамбери со смехом бросился в кресло.

Суконный черный колпак стоял на его голове; плащ его оканчивался лохмотьями. Пояс из разноцветных веревок перетягивал стан. За пояс был засунут маленький топор с короткой ручкой. С рук свешивались черные зерна длинных четок.

— Ну, мой друг, я хочу вам сделать маленький подарок...

— Я жду, доктор.

— Здесь три пилюли стрихнина. Когда вы увидите, что все кончено, эти шарики сыграют для вас роль последних друзей.

— Спасибо,— сказал Вамбери, беря шарики и уходя.

На пороге он остановился и пристально взглянул в лицо доктора.

— Доктор, я думаю, что все же, несмотря ни на что...

Стук двери заглушил его голос и оборвал конец фразы.

Бимзенштейн бросился к двери и распахнул ее.

Никого не было. Одна теплая ночь глядела в глаза доктору.

Глава третья

— Тише шаг, тише шаг,
Шаг, шаг — тише! —
Так поют пески,
Засыпая кишлаки —
Стены, окна, крыши.
Звон и гам, гром и гам,
То не ветер бродит —
Караван по городам,
Караван по городам,
Весь гремя, проходит.
А один в нем человек,
Точно конь и воробей,
Всех быстрей и всех скромней,—
Настоящий человек.

I

Взад и вперед вдоль каравана разъезжали купцы, кричали и переругивались между вьюков. За ними ездили писцы и записывали, как в лавке, заключаемые сделки.

Чиновнику подавали чай на ходу и знатному персу набивали трубку. Он курил в седле так ловко, точно лежал на диване. Тут же на ходу били провинившегося раба. Часть ударов попадала по лошади. Караванный шут становился головой на седло и рассказывал анекдоты.

Так двигался этот странствующий базар, который назывался караваном.

Ослы, на которых сидели дервиши, не смели брыкаться и шли с постными мордами. Лошади стражи вставали на дыбы и дико вращали глазами. Верблюды купцов качали шеями, точно подсчитывая барыши.

Дервиши пристраивались как могли. Иные сидели на вьюках, держа в руке склянки со священной водой из Мекки. Склянки были сделаны в Европе, и, значит, одно прикосновение к ним делало любого мусульманина нечистым, но они не думали об этом. Иные шли пешком, иные трусили на собственных ослах.

Дервиши эти были мошенник на мошеннике. При Вамбери одному из них в драке выбили два зуба, и, когда благочестивые персы спрашивали его в дороге, где он потерял их, он отвечал:

— У горы Огод в битве с неверными пророк лишился двух передних зубов. Как же я мог не подражать ему?

И слушатели дарили ему деньги.

К ним приходили люди с больными глазами и просили помощи. Дервиши, приняв подарки, посыпали их глаза грязной землей, якобы привезенной из Мекки. Когда вся земля из этих мешочков, висевших на груди у каждого дервиша, выходила, они наполняли мешочки тут же, на месте стоянки, новой землей.

Вамбери закусывал губы и бормотал проклятия.

На остановках в селениях хозяева расстилали скатерти на земле и выносили блюда с едой. Грязные руки засовывались в мясо или рис и тащили, сколько могли захватить. Желая уважить товарища, скатывали ему куски жира в комок и предлагали с улыбкой.

Вамбери давился, но ел. С каждым днем ему становилось тяжелее.

Пыльный, обросший волосами, усталый, он глядел и запоминал все, проходившее перед ним. Мир, неизвестный европейцу, впустил его в свои владения.

Он смотрел на диковинные вещи. Вот отрядом командует десятилетний перс. У него карманные часы усыпаны рубинами, и в шелковом мешочке на груди висит его печать, заменяющая подпись. Он ходит с кнутом и подгоняет слуг и животных. Он произносит проклятия и молитвы, как взрослый. Слуги не смеют поднять на него глаза. Он ведет караван с кунжутным маслом.

«Так вырастают деспоты»,— думает Вамбери.

II

Вамбери знал уже всех своих товарищей-дервишей по именам. И они знали, что он идет в Бухару, в город, о котором пророк сказал, что всюду с неба видно, как нисходит свет на города, и только от Бухары свет столбом стоит в небе.

Дервиши били себя кнутами, чтобы иметь раны на плечах и на груди.

Они торговали ими, показывая их в городах. Они растравляли порезы на лбу так, чтобы получилась восьмиугольная язва. За это особенно хорошо подавали, потому что это значило, что человек усерден в молитве и, молясь, прижимает свой лоб к восьмиугольному кирпичу.

Вамбери было не до смеха. Среди этих полупомешанных негодяев и бесноватых трудно было притворяться равнодушным. И он пел суры Корана, и хватал себя за голову,

точно хотел оторвать волосы, и говорил гнусавым голосом, как они, и закатывал глаза. Он от природы имел талант подражания.

В Мешхеде все пошли поклониться в мечеть Имам-Риза. Купол мечети, покрытый золотом, сиял на голубом небе. Стены мечети блистали эмалью. Неграмотные темные люди толпились, задавленные этим тяжелым блеском, и плакали и вопили, следя с жадным вниманием за словами мулл.

За прочтение молитв нужно было платить деньги.

Один неграмотный скряга подошел к Вамбери.

— Брат,— сказал он,— у меня нет денег, прочти за меня молитвы, а я буду сзади повторять их за тобою.

Вамбери встал в позу и добросовестно отчитывал ему арабские стихи.

Вдруг он услышал, что голос за его спиной говорит как будто не молитву. Он остановился и прислушался.

— Больше пяти дукатов твоя кляча не стоит.

— Клянусь святым Абасом, ты жулишь. Я сам заплатил за нее двенадцать.

— Не ври, не ври, дорогой...

Вамбери обернулся с притворным гневом, едва подавляя смех.

— О, о,— закричал скряга,— мы немножно отвлеклись от молитвы!

Так, немножко отвлекаясь, молились и прочие паломники у могилы Имама.

Персия кончилась домом у длинного моста и холодной рекой с непонятным именем.

Караван изменился в составе. Присоединились афганцы и люди из Индии.

Вамбери запаршивел. Вамбери кусали насекомые.

Их было столько, что складки одежды шевелились, как живые.

Одежду расстилали над горячей золой, и она трещала, точно палка. Если не было огня, одежду кидали на раскаленный песок, и все насекомые переползали наверх. Если не было огня и песка, отыскивали муравейник. Муравьи поедали всех вшей дочиста.

На ночевках кричали, как дьяволы, бухарские ослы.

Они кричали так, точно их поливали горячей смолой.

Лошади бросались в сторону от верблюдов, потому что верблюды наедались жестких колючек и, не получая достаточно воды, пахли, как зачумленные.

Люди садились группами и беседовали у костров.

Персы хвастались сапогами, на подошвах которых было написано имя Омара. Они хотели непрерывно попирать ногами своего врага.

Индусы держались отдельно. Они были поклонники индийского бога Вишну и на ночь расставляли вокруг себя и своих тюков небольшие палочки, соединяя их тонкой веревочкой, и считали, что теперь они отгорожены от всех и не могут осквернить.

Афганцы показывали зарубки на рукоятках кинжалов и прикладах. Сколько было ими убито неприятелей — каждый мог видеть.

Дервиши плясали в кругу, вопили и просили подаяния. Им бросали остатки пищи и медь.

Вамбери чувствовал, что он сходит с ума.

Когда все засыпали, он начинал упражняться. Он запоминал выражения лиц своих спутников, их улыбки, их гримасы, их жесты. Он учился передразнивать их каждую ночь. Через два месяца его нельзя было отличить от других.

Он наружно растворился в караване.

Все считали его ученым дервишем, идущим в Бухару. Тревога иногда сжимала его плечи. Начинали дрожать руки. Смех звучал фальшиво.

«Неужели,— думал он,— я не вернусь?»

И он снова осматривался.

Желтые скалы толпились перед ним. Пыльные кусты выходили из трещин. Бегали широкие ящерицы.

Потом перед караваном раскрылись пески. Они шли во все стороны и нигде не кончались.

Появились кочевники. У них нельзя было отличить мужчин от женщин. У тех и у других были одинаковые шаровары, куртки и рубашки. Те и другие закрывали лицо от песка. Ноги их представляли какие-то колбасы из парусины. Собаки пользовались у них особым почетом. Если у кочевника спрашивали: «Не продашь ли жену?» — он только слабо злился, но если спрашивали: «Не продашь ли собаку?» — он бросался на обидчика с ножом. Это была кровная обида.

За Вамбери шла слава святого хаджи с Запада. Он плясал, как никто, и читал на стоянках длинные, звучные поэмы.

Все слушали благоговейно.

Туркмены с оттопыренными от бараньих шапок ушами,

с косыми глазами соскакивали с маленьких крепких коней и садились перед ним, прося благословения или позволения дотронуться до его одежды.

Вамбери смотрел на их широкие красные лбы, слушал их странный говор и ничего не смел записывать. Он только смотрел и слушал.

День за днем он только смотрел и слушал. Он стал губкой, которая впитывала все окружающее, как воду. Он думал, что он или ничего не запомнит, или голова его лопнет от множества мыслей.

Кочевники трогали его одежду, его пояс и шептались. Они приводили жен и детей, и те падали ниц перед Вамбери и простирали к нему руки. Если бы они узнали, что он обманщик, они закопали бы его живого в песок.

III

Однажды их толпу растолкал старик, голова которого была как изрубленный кочан капусты. Караван уже ушел так далеко, что вокруг были только одни пески и небо. Этот старик всю жизнь провел в грабежах и убийствах. Все замолчали. Он протянул жилистую, почти черную руку и заговорил:

— Шейким (мой шейх), почему бы тебе не начать большое дело? Ты святой человек — ты все можешь. Давай нападем на персов. У меня пять тысяч всадников, молодец к молодцу. Благослови их волей аллаха, и они пойдут за тобой. Подумай, шейким.

Вамбери не смеялся. Он думал. Он думал о том, что Персия — нищая, разоренная страна, о том, что войско шаха разбежится, как овечий гурт, о том, что европейские авантюристы в Тегеране поддержат его, о том, что туркмены отнимут у персов последнее добро в деревнях и выжгут поля,— а потом что?

Он думал, и все смотрели на него. Солнце закатывалось за их спинами, как громадное колесо войны.

Вамбери повернул лицо к старику. В его руках были жизнь и смерть тысяч людей. Жалкий мальчик, умиравший от голода в Венгрии, мог бросить народ на народ. Глаза его блестели.

— Я слушал тебя, шейх,— слушай и ты меня.

Старик наклонил изрубленную, как кочан, голову.

— Шейх, пока я не окончу обещанного аллаху пути

в святую Бухару, я не могу начать другого дела. Подожди.

— Я подожду,— ответил старик,— я подожду, пока ты вернешься. Воля божьего человека — закон.

И он встал, прошел между рядов, затаивших дыхание, и вскочил на лошадь.

На другой стоянке появился афганец. Черные ремни его одежды пугали детей. Он ступал мягко, как кошка. На первом же ночлеге он устроился около Вамбери.

— Хотя мы сидим криво, но будем говорить прямо. Кто ты? — спросил он без всякого выражения, но глаза его скосились, как у подбитого ястреба.

— Я иду из Стамбула.

— Зачем ты пришел сюда?

— Воля аллаха движет людьми,— отвечал Вамбери, зная, что он не сможет смотреть прямо на этого человека.

— Видал ли ты когда-нибудь френги?

— Я не смотрю на неверных, брат.

— Они смотрели на меня,— закричал афганец,— пусть горы упадут на их головы! Они убили моих братьев и отца в Кандагаре. Почему ты опускаешь глаза, дервиш?

— Если бы ты знал, сколько я терпел от них на своей родине,— медленно сказал Вамбери, взглянув на сросшиеся брови афганца,— ты бы давно ослеп от ярости.

Афганец шумно поднялся и ушел к костру.

На другой день он подъехал к Вамбери и, толкая его осла своим конем, закричал:

— Как тебя зовут, дервиш?

— Хаджи-Махмуд-Решад зовут меня.

— А как тебя звали раньше?

— Раньше меня звали мальчиком, потом эфенди, теперь я — хаджи, брат.

Афганец усмехнулся углом губ и поднял коня на дыбы.

В тот же вечер Вамбери, застыв на молитве, а на самом деле прислушиваясь, слышал от слова до слова все, что говорил афганец начальнику каравана.

— Керван-баши,— говорил он,— это русский шпион. Он высматривает все дороги, а потом придут русские. Они отнимут у вас жен и детей. Но я не дурак. В Бухаре есть эмир, а у эмира есть каленое железо для таких людей.

— Не спеши, друг,— отвечал керван-баши,— сначала убедись в этом.

И они пришли утром убеждаться.

Но Вамбери молился. Он стоял, как столб, и глаза его не видели ничего. Он стоял, как камень. Губы его шептали что-то.

Афганец, указывая на него, громко повторял кервану-баши свои обвинения.

Начальник каравана смотрел на Вамбери. Вамбери слышал все, он чувствовал, что одно движение лица может выдать его.

Он стоял, как камень. И начальник каравана отвел афганца, и до уха Вамбери долетел его шепот:

— Я не верю,— ты ошибся, афганец. Так не стоят франги.

IV

Афганец стал ужасом Вамбери. Он рад был всякому пустяку, чтобы придраться. Увидав у Вамбери одну случайную золотую монету, он подошел и спросил с угрозой:

— Разве ты, дервиш, не принял обета бедности? Или у тебя особые правила на этот счет?

— У меня особые правила,— сказал Вамбери.

— Я хочу знать их.

— Узнай — это не тайна. Золото помогает от желтухи. Я лечу этой монетой от желтухи. На прошлой неделе я исцелил двоих...

Афганец скрежетал зубами. Он был дик, как уступы гор его родины, и хитер простой хитростью. Здесь он чувствовал себя одураченным. Вамбери казался ему колдуном. Караван ночевал теперь у колодцев в маленьких жалких рощах, между громадных песчаных холмов.

Вамбери не спалось. Он повернулся на локте, и холодок пробежал по его спине.

Прямо перед ним лежал афганец и в упор смотрел на него. Но глаза у него были круглые и желтые. Он курил опиум и прихлебывал чай. Искры из трубки освещали его лицо. Сейчас он не был человеком. Он, обессиленный, лежал, как тюк.

Вамбери вздрогнул от неожиданной мысли. Он вспомнил о стрихнине. Одна пилюля, брошенная в чашку с чаем,— и этого человека не станет. Человека, который, может быть, завтра убьет его.

Он достал пилюлю и держал ее у края чашки. Афганец ничего не видел, ничего не чувствовал. Руки его дрожали. Он лежал, как тюк.

Тогда из облаков вышел молодой месяц. Лучи его упали на руку Вамбери. Жгучий стыд ударил ему в виски. Он отдернул руку и спрятал пилюлю.

...И снова тянулись пустынные холмы. Жара убивала животных. Люди стали падать от солнечных ударов. Лихорадка бродила по каравану. Воды не было. Вамбери упал. Глаза его ушли в красные круги, вертевшиеся повсюду. Над ним прыгали дервиши, кричали ослы.

Он приподнимался и стонал. Песок залепил глаза и уши. Горячий песок сыпался на грудь и жег руки.

Над ним наклонился кто-то, и Вамбери услыхал запах воды.

Он собрал последние силы и сказал:

— Пить, дайте пить!

Первый раз за все время он не помнил, на каком языке он сказал. Над ним стоял с кувшином воды афганец.

«Что я сказал,— подумал Вамбери,— это конец».

— Пей,— проговорил афганец, наклоняя кувшин,— в Бухаре ты уже не будешь пить, дервиш.

В эту минуту караван пришел в смятение. Люди, и вьюки, и животные смешались. Просвистали пули, две стрелы упали у ног Вамбери. Шум все рос.

— Нападение! — кричали со всех сторон.— Кладите верблюдов!

Отдельные всадники выскакивали из толпы и скакали навстречу разбойникам. Их легко отбили после небольшой стычки.

Потом все встали в круг. Посредине круга положили трех убитых.

Вамбери подошел с толпой дервишей. Прямо перед ним лежал афганец. Струя крови выбегала изо рта. Вамбери отвернулся.

Через неделю караван вошел в Бухару.

V

Вамбери сидел на ковре в одном из караван-сараев у дворцовой площади Регистана и смотрел вокруг усталыми глазами. Цель была достигнута.

До всего запретного можно было касаться.

Он видел дворец эмира, одиннадцать ворот Бухары, закрытых для европейца, канал Шахруд с зеленой водой,

пересекающий город, Меджид-Каян — мечеть с голубой головой и зелеными стенами.

Вот Мирхараб — башня из жженого кирпича, откуда сбрасывают преступников. Его не сбросили. Вот двор пыток, где его не пытали, вот рынок невольников, где он не был продан в рабство.

Все окружающие его люди считали его своим. Перед ним они занимались своими обычными делами: жарилось мясо у мясника, публичный писец писал под диктовку закутанной женщины любовное письмо, цирюльник плевал на щеки клиента, сбрасывая с пальцев мыльную пену на спину уличной собаки, оружейник стучал по клинку, крича о доброте сабли.

Все вертелось, как колесо, делающее одни и те же повороты.

В эту ночь Вамбери приснилось, что он мальчиком сидит на пустыре в Дуна-Сердагели и перед ним одноногий инвалид. Инвалид говорит ему: «О, ты хочешь знать все языки — это недурно!»

Вамбери посетил бухарского ученого. Ученый принял его как брата. Он дал ему чаю и трубку с лучшим табаком.

— Пей больше, хаджи,— советовал он ему,— кури больше, хаджи. Чай расширяет наши жилы и разжижает кровь, а табак освежает и мозг.

Сам ученый не курил — у него на поясе висела маленькая тыква, набитая буро-желтым табаком. Он запускал в нее руку, набирал табаку и всовывал в рот между языком и небом и потом выплевывал. Табачные брызги летели в лицо Вамбери, но он не замечал их.

Он держал в руках рукописи, драгоценные пожелтевшие страницы, написанные черными и красными буквами, горбившимися, как кошки и птицы. Таких рукописей не было ни у кого в Европе.

— Хаджи,— говорил ученый, сплевывая табак через плечо Вамбери,— ты очень любишь книги?

— Очень люблю.

— Я тоже — они совсем живые, хаджи. И потом они все знают. Ты еще придешь к нам, хаджи?

— Приду,— отвечал Вамбери,— я еще не раз приду.

— Ты принеси мне из Стамбула что-нибудь тогда из книг. Принеси мне Саадэддина и других, хаджи.

Вамбери вспомнил, как перед отъездом в Персию один доктор просил его привезти из Азии несколько татарских

черепов, чтобы сравнить их с мадьярскими, и как ему возразили:

— Пожелаем лучше нашему другу привезти в целости свой собственный череп.

Вамбери вспомнил это и улыбнулся.

— Я принесу,— сказал он.

— А любит хаджи стихи? — допытывался ученый.

— Больше, чем свет дня,— отвечал Вамбери.

— Это хорошо. Как сказано у Гафиза: за одно родимое пятно красавицы можно отдать два персидских города. Это очень верно, хаджи.

И он заплевался табаком так, что стал кашлять.

VI

Потом Вамбери был у гробницы Богаэддина и плясал и кричал с дервишами до утра. Как его ноги выдержали эту пляску, он и сам не знал. Но страх смерти стоял здесь ближе, чем где бы то ни было.

Он видел эмира, толстую золотую куклу. Эмир опирался на саблю и тряс бородой.

Перед приемом у эмира один из его придворных взял Вамбери за затылок и сказал в сторону:

— К несчастью, я забыл сегодня свой нож дома.

Что он хотел этим сказать, Вамбери не узнал никогда. Он стоял, как дерево. Его можно было резать, и он не закричал бы.

Он видел самаркандские сады и зеленый камень Тамерлана.

Потом он ушел из Бухары. Перед выступлением в пустыню сделали оракул из палок и камней и гадали на нем. Толкования Вамбери были лучше всех. Ему принесли подарки.

Когда же караван окружили страшные пески Адам-Крылгана, что значит: место, где погиб человек,— необозримые горы песка, разбитые бурями, белеющие кости между них,— Вамбери сразу повеселел.

С каждым шагом обратного пути у него становилось легче на душе. На стоянках он наблюдал странную жизнь. Богатый туркмен сидел с широко раскрытым ртом. Его раб затягивался дымом крепчайшего табака и, удерживая самую острую часть дыма, полной грудью вдувал остаток в горло своего господина. Это было дико и смешно.

Иногда невольник лукавил, и туркмен получал солидную порцию яда. Тогда глаза его вылезали на лоб, и он хватался за плетку.

Вамбери пил чай, приправленный салом и солью, и он ему очень нравился после тяжелого перехода.

Он видел людей, обмывавшихся песком, и сам мылся песком. Никто не может сказать, что он узнал быт Азии за письменным столом. Он был пропитан им, как его одежда — запахом верблюда.

Глава четвертая

— Кто это там,
Кто это там,
Кто это там? —
Спросил барабан.—
Кто пришел в наш край?
— Гость пришел из диких стран,
Друга старого встречай,—
Так ответил караван,
Караван-сарай.—
Что ты там ни говори,
Он вернулся в Тегеран,—
Он аовется Вамбери
Вамбери, Вамбери.

I

Начинался Афганистан. Тянулись обнаженные скалы и черные ущелья. В Афганистане дело дервишей было плохо. Афганские пастухи в полотняных плащах, с длинными ружьями вместо посохов, и купцы, носившие на себе целый арсенал, не хотели знать никакой святости. Они злобно смеялись и бросали камни.

Шпионы шныряли вокруг отряда. Особенно им не нравился Вамбери. Они крались за ним по пятам, и если он открывал их, то набрасывались и били. Есть было почти нечего. Холод пронизывал до костей.

Вамбери вспоминал молодость и улицу Трех Барабанов и туже стягивал пояс.

В холодный день они пришли в Герат.

Город «ста тысяч садов» напоил его лучшей водой в Азии. В садах можно было есть сколько угодно фруктов. Посетителей взвешивали при входе в сад и при выходе. Плата взималась с разницы в весе.

Сын афганского эмира Якуб-хан сидел в своем дворце и смотрел на площадь, где происходил парад. Прямо перед его окном играли музыканты. Толпа дервишей стояла в своих лохмотьях поодаль. Между ними был человек с диким и упрямым лицом. Он отбивал такт ногой.

— Это европеец,— сказал Якуб-хан,— никто в Азии не делает так, слушая музыку.

И он позвал его к себе.

И он говорил с ним долго о разных святых местах, о науке дервишей, об Афганистане, что это — улей, где есть пчелы, но нет меда; потом дотронулся рукой до плеча Вамбери и сказал, понизив голос:

— Ты ученый, хаджи. Ты много ученей всех хаджи, кого я видел. Ты — френги.

Вамбери понял, что этот человек видит его насквозь.

Делать было нечего, но он сказал:

— Нет.

Якуб-хан откинулся назад и задумался.

— Нет,— пусть будет так. Я не хочу тебя губить. Иди с миром. Я ошибся.

Вамбери не помнил, как он вышел из дворца, как он ушел из Герата.

Он мерз по ночам, и афганцы не скрывали злорадства.

Он походил теперь на грязный мешок, в котором стучали кости.

Однажды он приподнялся в седле и засмеялся.

Он смеялся беззвучно и трясся всем телом. Перед ним были темные глиняные стены Мешхеда. Он вернулся в Персию.

II

Проезжая по дорогам Персии, Вамбери чувствовал себя вновь родившимся; тут он мог выпрямиться, говорить каким угодно голосом, есть что хочет.

Он громко запел веселую итальянскую песню.

Узбек, его спутник, поразился необычайной перемене. Дервиш с Запада на его глазах стал другим человеком. Наивному кочевнику было очень приятно такое просветление. Все люди равно любят радость.

— Ты говоришь на чудном языке, дервиш,— сказал он,— я не понимаю ни одного слова. Но это язык ангелов. Это — молитвы?

— Конечно, молитвы,— отвечал Вамбери,— это особая молитва на хороший случай. Подпевай, и ты ускоришь спасение своей души.

Песни становились все легкомысленней. Узбек подпевал как мог. Пот градом катился с него, но он не хотел пропустить случая помолиться на чудном языке.

В одном селении, проснувшись утром, они услышали однообразный звук трубы.

— Что это? — спросил узбек, не знавший Персии.

— Это зовут в баню,— сказал Вамбери,— идем.

Они пошли в баню. Перед баней лежал конский навоз. Стены раздевальни были покрыты картинами битв эпоса Фирдуси, а вокруг лежала грязная одежда. В соседнем помещении они нашли маленький бассейн, полный теплой воды, где сидело десять человек сразу. Вамбери мылся и радовался теплой воде, как ребенок.

В третьей комнате им предложили выкраситься хной. Этой краской красили бороду, подошвы, ладони и ногти, и они становились красными.

Выйдя из бани, Вамбери громко смеялся.

— Чему ты смеешься? — спросил узбек.

— Я смеюсь мудрости. Ты знаешь, узбек, что дервиши должны держаться собачьих правил — всегда голодать, довольствоваться самыми неудобными местами, проводить ночи без сна...

— Я не знал этого,— сказал узбек.

— И все это я делал до сих пор — я был хорошей грязной собакой. А тенерь, черт возьми, я вернулся в человеческую шкуру, мой друг,— докончил он по-венгерски.

Потом они зашли в школу.

Увидев дервиша, малыши обступили его со всех сторон.

— Вы знаете географию?

— Знаем,— ответили они.

— Ну, скажите, во сколько времени можно обойти всю землю?

— В пятьдесят пять лет,— хором ответили они.

— На чем стоит земля? — спросил он еще.

— На ангеле.

— А ангел на чем?

— На рыбе.

— А рыба на чем?

Тут никто из них не мог ответить. Но один закричал:

— Я знаю. Рыба стоит опять на ангеле.

В другом городе Вамбери увидел у караван-сарая европейца-путешественника.

Он был одет с иголочки и блестел, как новый наперсток. Ругался он по-шведски очень сильными словами:

— Как сказать этим ослам, что они упаковали мой багаж не так, как нужно?

Смущенные персы, не понимая, чего он хочет от них, молчали.

Вамбери подошел к европейцу и сказал по-шведски:

— Вы ошибаетесь, сударь, такой вид упаковки самый лучший. Ему тысяча с небольшим лет. Он проверен на опыте.

Швед забыл закрыть рот от удивления.

Наконец он пролепетал:

— Кто вы такой?

— Я дервиш, сударь, и не более того. Но я знаю все языки мира.

И он прочел шведу два стиха из саги о Фритьофе.

Швед отскочил от него в ужасе.

— Видишь теперь,— сказал Вамбери узбеку,— аллах дает дервишам великую власть слова.

— Вижу,— сказал узбек,— но аллах очень высоко, а наше дело маленькое. Поедем дальше, дервиш.

Так они приехали через месяц в Тегеран.

III

Худой, черный, как уголь, обросший волосами, со шрамами на руках и ногах, Вамбери вошел в турецкое посольство.

Друзья окружили его с удивлением и радостью. Поднялась суматоха. Люди обнимали его и расспрашивали о путешествии; любопытные толкались, чтобы одним глазком взглянуть на человека, который отважно прошел столько тысяч верст по нелюдимым местам. Ему предлагали деньги и дружбу. Вамбери стал героем города.

Европейцы устраивали обед за обедом в честь его. Целый месяц Вамбери не обедал дома.

Перед отъездом в Европу он зашел посидеть к Гайдар-эфенди.

Они засиделись за полночь. Турок спросил его:

— Ну, а теперь скажите: нашли ли вы то, что искали, Вамбери?

— Нет,— ответил Вамбери,— я не нашел, и сейчас скажу почему. С детства я хотел узнать как можно больше языков и людей. Я узнал. Я хотел найти в Азии старых мадьяр, о которых живо предание в Венгрии. Я искал их и не нашел. Что делать! Никто мне не заплатил за мои лишения и седые волосы. Но у меня душа исследователя.

— А почему, Вамбери, вы вернулись живым,— вы не думали об этом?

— Думал,— сказал Вамбери.— Я вернулся живым потому, что пошел с чистым сердцем к диким народам, привыкшим видеть нож даже в руке друга. Если бы я хитрил из корысти и шпионил в самом деле, я попался бы. Но я мог смотреть в глаза этим людям, и в этом была моя сила.

— Теперь вы видели Восток и видели Запад, Вамбери. Что они такое?

— Я скажу вам. Я любил Азию давно и издалека. Может быть потому, что мне плохо жилось дома. Но чем дальше я входил в Азию, тем больше я находил там однообразия и лени. Это в Турции и Персии. Средняя Азия старше их на восемьсот лет. И Средняя Азия — склеп. Я с радостью вырвался оттуда. Там только рабы и деспоты. Нищета и пустыня. Подождем лучших времен... Я думаю, что через сто лет из Венгрии можно будет на поезде проехать в города, где я дрожал от страха смерти. Я пойду спать, эфенди.

...Перед отъездом Вамбери зашел к доктору Бимзенштейну.

— Доктор,— сказал он, стоя в аптеке Бимзенштейна,— я должен вам вернуть обратно ваш подарок.

И он протянул Бимзенштейну три пилюли стрихнина.

— Вспомните, вспомните, пожалуйста, что вы хотели сказать мне, когда приходили ко мне перед путешествием ночью,— закричал доктор,— я не слышал конца фразы.

— Я могу докончить сейчас, и пусть это будет к слову. Я крикнул вам тогда: доктор, я думаю, что все же, несмотря ни на что, жизнь — хорошая штука.

1925

ДРУГ НАРОДА

I

Над большой китайской рекой стоял шум и гам трудового дня. У берега виднелись маленькие, жалкие лодчонки китайской бедноты. Одни из них прижимались к берегу, как собрание досок, соломы и грязи, другие пускались в путь, выезжали на середину реки и там сбрасывали тонкую аккуратную сеть... Соломенные шалаши на их корме продували все ветры, и все дожди заглядывали в них.

Худой желтолицый рыбак Тзе Лу только что съел свой рис палочками, быстро бегавшими в его руках, потом сполоснул их в воде и прислонил к чашке сушиться. Он сидел на корточках перед женой в своей сальной, затасканной кофте и молчал. Жена видела, что он молчит не зря.

Младший сын их Ян Цзы, только что научившийся ходить, бродил по лодке, привязанный за ногу к кольцу в каютной стенке. Когда малыш вываливался за борт, его поспешно вытаскивали за веревку обратно, и дело кончалось без лишнего крика. А падал в воду он несколько раз за длинный летний день.

Обыкновенно Тзе Лу играл после обеда с мальчуганом, но сегодня он думал о чем-то другом. Наконец он нарушил молчание.

— Жена,— начал он, приставив ладони ко рту, как трубу,— жена, Сун Ят-сен[1] опять здесь. Он опять при-

---

[1] Сун Ят-сен (1866—1925) — великий китайский революционер, крупнейший представитель китайского национально-освободительного движения. В 1894 году Сун Ят-сен основал революционную организацию «Синчжунхой» («Общество возрождения Китая»). В 1905 году «Синчжунхой» объединился с двумя другими антиманьчжурскими союзами в новую революционную организацию «Тунмзнхой» («Союзная лига»). Программой «Тунмэнхой» стали три принципа, разработанные Сун Ят-сеном: национализм (свержение маньчжурской династии Цин и возрождение Китая), народовластие (учреждение республики) и народное благоденствие (уравнение прав на землю.)

Наш рассказ относится к 1907 году.

шел, и он ходит тайно; говорят, что он переодевается то малайцем, то японцем. И он все говорит и пишет день и ночь, и у него тысяча друзей.

— Чего хочет этот человек, Тзе Лу? Зачем он ходит вверх и вниз по реке, как рыба, и все ему не нравится?

— Он хочет сбросить императора и императрицу и всех мандаринов выгнать из страны. Он ругает их так, как ругают свиней и собак. Если выдать его властям, можно получить за его голову много-много серебра, котел серебра, воз серебра и еще лодку серебра...

— Его никто не найдет. Раз у него тысяча друзей, они его спрячут, и никто не получит это серебро...

— Как знать, жена, как знать. За ним ходят сыщики. Их очень много. Я сам видел одного. Его зовут недаром Ма Куай — быстрая лошадь. Он неутомим и подкован, как лошадь, серебром губернатора. Он сказал мне сегодня: «Ты беден, как улитка, что несет свой домишко на своей спине, и больше у нее нет ничего. И ты, кроме горя, ничем не торгуешь...» Жена, подержи Ян Цзы, он упадет сейчас в воду... Потяни веревку к себе... Так. Малыш опять на ногах... Что? Веревка оборвалась? Проклятая бедность... Нет даже двух мелких монет купить порядочную веревку, чтобы привязать хорошо собственного сына... Да, и вот Ма Куай сказал мне еще: «Сун скрывается среди торговцев и рыбаков. Если ты хорошо посмотришь, ты увидишь его... И тогда награда не заставит себя ждать и небо твоей жизни прояснится...»

— Не знаю, что сказать тебе, Тзе Лу,— ответила жена. Она была женщина неутомимая в работе, но измученная нищетой и скупая.

— Конечно, счастье приходит раз в жизни, но глупцы упускают и этот случай. Наши двое детей умерли от голода, трое других тощи, как мыши, отец твой получил язву желудка, и мать в земле от худой жизни. Попробуй поставить свои глаза так, чтобы увидеть Суна,— может быть, твоим детям будет житься лучше...

Тогда Тзе Лу вынул из-за пазухи рыжий платок и осторожно развернул его. Жена нагнулась, чтобы лучше видеть. На ладони Тзе Лу лежало желтое с пятнами яйцо. Тзе Лу надломил скорлупу,— под скорлупой оно было черное с белыми жилками. Такие яйца составляют особое китайское лакомство.

— Ему шесть недель,— с гордостью сказал Тзе Лу,—

это подарил мне в знак дружбы Ма Куай... Поделимся, жена...

— И что же ты ему ответил? Неужели ты был таким бесчестным, что взял этот дивный подарок и ушел молча?

— Нет, жена, я сказал ему, что сегодня я не заброшу сеть в воду, сегодня мои глаза будут смотреть хорошо и найдут Суна...

II

Сун Ят-сен хорошо знал, что будет с ним, если он попадет в лапы мандаринов. Поэтому он призвал всю свою ловкость и выдержку, чтобы не выдать себя как-нибудь глупо и случайно. Он отрастил себе волосы и длинные узкие усы. Так он стал похож на японца, и много шпионов были обмануты этим превращением.

Сейчас он шел по грязным улицам города, смешиваясь с шумной, громкой толпой. Он глядел вокруг и видел, как бедно одеты эти люди. У многих одежда никогда не знала стирки, у многих она была в заплатах одинакового цвета и одинаковой изношенности.

У лавок сидели важные купцы и смотрели, как дрессированные кузнечики сражаются друг с другом; иные из купцов курили трубки и играли в домино. Продавцы вареного риса, кипятка для чая и засушенных ящериц во все горло хвалили свой товар. Пробирались рикши — люди, запряженные вместо лошадей в легкие коляски,— прибивая пыль своими маленькими, почти женскими ногами. Проходили женщины с черными, похожими на грибы, прическами. Все это было знакомо Суну с детства, и это его не привлекало сейчас.

Немного в стороне за столом сидел бывший студент с осунувшимся, нездоровым лицом. Оловянным голосом он читал о древних героях, о драконах, о том, как эти герои жили, сражались, часто погибали. Читал он без всякого выражения, привирая от себя и не обращая внимания на окружающих. Слушатели толпились вокруг него и настороженно смотрели ему в рот, боясь пропустить слово. Они были неграмотны и с удовольствием слушали чтеца. Студент поднял голову, дал глазами знак, что он узнал Суна, и сказал, обращаясь к слушателям:

— Все в порядке. Это замечательные сказки, но завтра я вам почитаю еще лучшие: о драконах, которым скоро поотрубают хвосты!

Сун усмехнулся и прошел дальше. Его спутник зорко оглядывался по сторонам. Сун остановился перед уличным цирюльником. Цирюльник растирал голову своего клиента горячей водой, не трогая только самой макушки, откуда росла коса. Это место никогда не брилось. Потом он взмахнул железным обломком, точно хотел перерезать горло сидящему, и начал брить. Когда он растер своему клиенту спину, расчесал волосы и стал аккуратно заплетать косу, он заметил Суна. Ни малейшего удивления не отразилось на его лице. Сун слегка качнул левой рукой, и цирюльник сказал ровным голосом:

— Все в порядке... Что может остановить тебя! Ты — как это железо...

Он приподнял бритву.

— Ни один волос не будет жить, когда ты обрушишься.

Сун усмехнулся и прошел дальше. При скрещении улиц толпа напирала отовсюду, и только в одном месте было пусто. Там сидел рядом с сундучком уличный писец — находка для безграмотных. Перед ним стоял прибор для туши и лежала кисть, которой пишут в Китае письма.

Перед писцом плакала женщина и не скрывала своих слез.

— Сердце мое тоскует,— говорила она.— О, как тоскует мое сердце! Сына моего забрал мандарин, он бил его бамбуком по ногам, и ноги распухли, как губки, полные воды. О, если бы я умерла! Что мне делать, как не писать матери, чтобы она пожалела меня... Сердце мое тоскует. Возьми кисть и пиши, ты, умеющий писать...

Сун Ят-сен внимательно слушал слова женщины.

Уличный писец взял кисть, обмакнул ее в тушь и, прежде чем приступить к письму, сказал:

— Не плачь, мать, Сун вездесущ, точно ветер; мандарин уже кусает свой хвост, как собака. Недолго твоему сыну питаться палками. Ты еще попляшешь на его свадьбе.

И, обратясь к спутнику Супа, он добавил шепотом:

— Вторая лавка налево, где продаются сорго и саго... Все в порядке!

Сун, закрывшись широкополой соломенной шляпой, хотел пересечь улицу в указанном направлении, но послышались удары гонга и пронзительные крики:

— Дорогу, дайте дорогу! Расступитесь, собаки, дайте дорогу знаменитому сыну Славы, Красоты и Мудрости...

Люди расступались на обе стороны, прижимались

к стенам и почтительно склоняли головы. Середина улицы сразу опустела. Показались бегущие китайцы с хлыстами, которыми они били всех, не успевших посторониться. За этими хлыстарями несколько человек несли в руках цепи и устрашающе звенели ими. Кто вызовет гнев мандарина, тот узнает, что такое цепи и сколько они весят. Люди, несшие цепи, сами были одеты в лохмотья и питались подачкой. Самого мандарина, знаменитого сына Славы, Красоты и Мудрости, несли в богатом паланкине, занавески которого были откинуты. Он самодовольно щурил глаза и обмахивал веером жирные желтые щеки. Его большой живот колыхался, как пузырь, завернутый в шелк.

Сун побледнел от ненависти. Он стоял суровый и мрачный, и, только когда мандарина пронесли, он вытянул ему вслед руку, выбросив вперед средний палец. Этот жест в Китае — жест высшего презрения и оскорбления. Китаец в гневе никогда не сжимает кулаков, а Сун был верен привычкам своего народа.

— И эта жирная обезьяна хочет бороться со мной! Я вытоплю все сало из этой туши, я выброшу из нее кости! — сквозь зубы сказал Сун.

Потом они вошли в темную прохладную лавку. Им поднесли по чашке душистого чая, прикрытой сверху узорным блюдечком. Ящики с сорго и саго подымались к потолку, а черные конторки обступили людей снизу. Кроме хозяина, в лавке никого не было. Хозяин с глубоким поклоном сказал Суну:

— Все в порядке. Сыщик Ма Куай вчера выслеживал тебя, но мы сбили его со следа. Туанг уже здесь. Хочешь ли ты видеть его, небеснорожденный?

— Хочу,— сказал Сун.

Маленькая незаметная дверь в конце лавки распахнулась. Вошел широкоплечий и тяжелый, точно борец, китаец. Длинные рукава его куртки были закатаны вверх. Он оглядел Суна с головы до ног и спросил:

— Ты ли это, Сун, сказавший, что императорам довольно владеть нашими душами, и кошельками, и трудами рук наших?

— Я тот самый,— ответил Сун.

— Ты ли тот Сун, который обрек смерти мандаринов за то, что они украли у нас свободу слова, обложили налогами наш труд, и рвут языки за то, что мы смеем говорить, и рубят головы за то, что мы смеем думать?..

— Я тот самый,— сказал Сун.

— Ты ли это, Сун, что дважды взмахнул знаменем восстания, и дважды был в плену, и бежал, и обещал не отсылать рук своих на покой, пока не доведешь дела до конца и не освободишь нас от рабства?..

— Я тот самый,— сказал Сун и взглянул на Туанга.

Их глаза встретились. Туанг отступил назад, вынул из-под полы полотняный мешок и бросил к ногам Суна. Мешок зазвенел тяжелым и гулким звоном.

— Здесь,— сказал Туанг,— в этом мешке все, что я скопил за двадцать лет большого и хорошего труда. Бери это, Сун, бери на дело свободы, на этом золоте и серебре нет ни одной нечестной пылинки. Я ехал восемь дней, чтобы увидеть тебя. Все...

И он вышел в маленькую дверь, такой тяжелый и широкоплечий, как борец.

III

— За нами следит какой-то шпион — неужели это опять проклятый Ма Куай? — сказал спутник Суна, когда они выбрались из квартала лавок и направлялись к берегу.

Сун огляделся. Стараясь не попадаться на глаза, за ними шел то быстрыми, то мелкими шагами невысокий человек, сгорбленный или старавшийся казаться сгорбленным. Лицо он закрывал краем своего плаща.

День клонился к вечеру. Накрапывал дождь. Вода в реке темнела, и золотая рябь бежала от джонок к берегу. Рыбачьи лодки возвращались с ловли.

— Пропустим этого человека вперед,— предложил Сун, становясь за дерево.

Прохожих в этом месте было немного, и незнакомец так или иначе должен был обнаружить свои намерения. Вдруг он принял какое-то решение и быстро направился прямо к Суну.

Спутник Суна сказал взволнованно:

— Они подослали убить тебя...

— Нет,— ответил Сун,— так не ходят убийцы. У него широкий и спокойный шаг.

Горбун подошел вплотную и ясно произнес:

— Где ты живешь, Сун?

Сун чуть вздрогнул. Он не испугался. Сун никогда не пугался. Он вздрогнул от неожиданности, потому что вопрос был предложен очень тихим и значительным голосом.

— Я живу там, где живу,— сказал он.

— Я хочу посидеть с тобой минутку,— ответил незнакомец.

— Тогда пойдем...

Они миновали сараи набережной, шалаши на берегу и пристани, проскользнули по доскам между барок и лодок и поднялись на палубу светлой и новой барки.

Тут незнакомец сел и снял плащ. На теле слабого горбатого человека сидела прекрасная голова с высоким лбом и огромными глазами.

Спутник Суна нагнулся к уху вождя:

— Я знаю, кто это. Я тебе объясню потом. Послушаем, что он скажет.

Незнакомец заговорил уверенным и сильным голосом:

— Сун Ят-сен, я не хочу дожидаться, когда ты будешь президентом Китая. Я хочу работать сейчас, я тебе нужен, как ветер из Печилийского залива для джонки, идущей в Чифу. Вы не можете бороться без армии. Я сделаю из китайцев солдат. Я научу их стрелять, и окапываться, и ходить в атаку, и отступать по правилам. Тысячи лучших бойцов возьмут Пекин на свои плечи и отнесут его в лагерь народа...

— Я слушаю,— сказал Сун.

— Это нельзя откладывать. Я знаю, что не сегодня-завтра, но вы победите. Подумай, Сун, и дай свой ответ... Без армии революция — только ветер, раздувающий костер, с армией она — искусный угольщик, заготавливающий впрок уголья для тысячи костров...

Горбун натянул свой плащ и протянул руку Суну. Сун пожал ее горячо и почтительно. Этот маленький человек внушал ему странное уважение.

— Да,— сказал горбун,— за вами следят, Сун. Один из сыщиков, Ма Куай,— самый опасный. За мной все время шел человек, и я сейчас вижу его, лежащего вон на той джонке. Он прячется за мачту и следит за вами. Будьте осторожнее...

— Я буду осторожен,— сказал Сун, провожая гостя.

Горбун исчез среди толпящихся лодок и людей.

— Кто этот человек? — спросил Сун.— Кто этот маленький горбун, дерзающий, как первый храбрец, на великие дела?

— Это полковник Хомер Ли, дорогой учитель. Это лучший знаток военного дела. И он пришел к нам, чтобы работать с нами. О, мы победим!

Сун отвернулся. Глаза его блестели. Он скрестил руки и смотрел на реку, одевавшуюся вечерним туманом. Зарево фонарей в городе казалось ему заревом великих наступающих битв.

IV

Сун сидел задумавшись у входа в каюту, когда шорох около него заставил его поднять голову. Перед ним стоял китаец, каких десятки тысяч проходили перед Суном каждый день. Он стоял, наклонив голову вперед, как бы кланяясь, и вместе с тем разглядывал Суна. Руки его слегка дрожали, а глаза сощурились в две черные палочки ванили. Он дышал прерывисто и хрипло. Сун сначала подумал, что перед ним больной. Он взял китайца за руку, но тот испуганно отдернул руку и заговорил:

— Я рыбак, Сун, меня зовут Тзе Лу, я нищий рыбак, я как улитка, что тащит свой дом на спине, и другого дома у нее нет. Я торгую одним горем, так говорит Ма Куай, и это правда. У меня много детей, но они умирают от голода, как мыши. Мой маленький Ян Цзы ходит на веревочке, чтобы не упасть в воду. Ему нет места на земле. Моя жена бьет меня, но нищета бьет меня еще сильнее и забьет до смерти.

Он остановился и взглянул робкими и страшными глазами на Суна. Сун видел насквозь этого трепетавшего человека. Но он слышал также призыв великого дела — дела, от которого у него уже поседели виски и руки стали сухими и крепкими.

— Я понимаю тебя,— сказал Сун, наклонившись к самому лицу Тзе Лу,— я понимаю, тебе предложили сто долларов за то, чтобы ты меня выдал?

— Больше,— ответил рыбак, и желтая кожа на его щеках натянулась, как на барабане.

— Значит, тысячу,— медленно сказал Сун.

— Больше,— прошептал Тзе Лу,— Ма Куай — быстрая лошадь — сказал, что я получу пять тысяч долларов. Он боится тебя, и он ленив, и он послал меня... Сун,— зашептал Тзе Лу, бросаясь на колени перед Суном.— Сун, ты великий человек, ты одинокий человек. Ты стоишь больше тысячи таких нищих, как Тзе Лу! Послушай меня милостиво. Многие тебя ненавидят. У тебя больше врагов, чем у меня волос в косе. Если они тебе отрубят голову, то это никому не принесет пользы. Если же ты теперь отдашь ее

мне, я буду богат, я буду счастлив: Ян Цзы не будет ходить на веревочке, как козленок над рекой, жена сошьет себе новое платье, и все мы поедим рису вдоволь. Сун, послушай меня!..

И он ползал и обнимал Суна за ноги своими корявыми, покрытыми мозолями руками. Сун смотрел на него, и кровь стучала у него в жилах.

— Тзе Лу, встань,— наконец сказал он медленным, глубоким голосом.— Ты прав, Тзе Лу. Я посвятил себя борьбе за освобождение таких, как ты, угнетенных и нищих людей. Я не знаю, когда мы победим. До тех пор многие умрут, как ты, от голода. Это правда. Я отдал свою кровь своему народу. Значит, ты имеешь на нее право, Тзе Лу. Хорошо, ступай и скажи твоему начальнику, что я здесь, на этой джонке. Я не двинусь с места, ступай. Спеши, пока мои друзья не пришли сюда. Я не хочу лишней крови. Спеши, товарищ!..

Тзе Лу ушел спотыкаясь, неверными шагами, и спина его дрожала.

Сун Ят-сен сидел у входа в каюту, курил и думал. Он вспомнил, как китайский посланник в Америке натравил на него шпионов, и они охотились за ним, как за волком, из города в город, из страны в страну; как китайский посланник в Англии захватил его в плен и запер в комнате, откуда не было выхода, и все-таки Сун ушел, оставив посланника в дураках; он вспомнил, как первый раз поднял оружие за свободу в Кантоне, как к нему пришли ученики, как он учил их делу революции. Он вспоминал и курил...

Ночь наступила незаметно. Кое-где пели песни, с ресторанных барок доносилась музыка, и вода в реке шипела под ловкими ударами весел... Он задремал. Если бы этот Тзе Лу успел прийти раньше, чем придут его друзья... Если бы сказать последнее прощальное слово Хомер Ли...

Сун Ят-сен устал за день. Глаза его закрылись сами собой. Он уснул. Он не помнил, как долго он спал. Его разбудил странный всхлипывающий звук, точно у его ног скулила побитая собака. Он открыл глаза. Правда, на палубе лежал какой-то жесткий мешок, ворочался и стонал. Потом мешок поднял голову. Перед Суном моталось залитое слезами лицо Тзе Лу. Он бил себя кулаками в грудь, и в разорванную синюю куртку просвечивало старое, изношенное тело рыбака, изъеденное ветрами, водой и солнцем.

— Это ты, Тзе Лу? — спросил он, осторожно трогая корчащегося за плечо.

— Сун,— сквозь стоны бормотал Тзе Лу,— я не мог, я не мог донести на тебя, Сун. Прости меня, что я пошел против тебя, как дикий пес идет против хозяина. Я все обдумал, отец мой, убей меня, или я не успокоюсь. Я потерял лицо. Я виноват, Сун, виноват до последней своей кишки, делай со мной что хочешь. Но я не мог предать тебя. Пусть кости мои прорвут мою кожу от голода, но я не могу предать тебя...

И он стонал и извивался как угорь.

Сун встал — спокойный и большой, Сун встал и поднял дрожащего рыбака.

— Не будем говорить об этом. Иди домой, Тзе Лу. Иди домой, а то твоя жена ждет тебя, и маленький Ян Цзы плачет и спрашивает, почему ты не идешь...

V

На другой день вечером Сун шел с двумя товарищами на военное совещание к полковнику Хомер Ли. Темные узкие улицы, оживленные вечерней толпой, гудели, как перёходы улья.

На повороте в неожиданный переулок он сшиб с ног какого-то человека. Сейчас же Сун вынул восковые спички и зажег, чтобы увидеть пострадавшего.

Человек барахтался на земле и вопил:

— Где у тебя глаза?! У тебя вовсе нет глаз! Что ты лезешь прямо на меня? Разве ты не видишь моего фонаря?

Сун Ят-сен и его спутники при бледном сиянии восковых спичек действительно увидели, что у человека в руке висит большой зеленый бумажный фонарь. Они подняли упавшего на ноги...

— Кто ты? — спросили они.

— Я Паир Чан, и я всегда хожу по вечерам с фонарем, чтобы меня не толкали. И только невежи вроде вас...

— Постой,— перебил его Сун,— это верно, что ты ходишь с фонарем, но твой фонарь давно потух, и от него света, как от старой подошвы. Разве ты сам не видишь?

— Как же я могу видеть, когда я слеп с рождения! Я слеп, как курица, наевшаяся темноты, и ношу фонарь, чтобы все мне уступали дорогу, но если он потух, то это

негодный фонарь, и его надо бросить. Хорошая пара: слепой человек и слепая бумага...

И слепой, ругаясь, побрел дальше.

Пройдя несколько шагов, спутник Суна захохотал.

— Что ты хохочешь над несчастьем? — сказал Сун.

— Сун,— ответил ему спутник,— этот слепец с потухшим фонарем так похож на китайского императора! Ему кажется, что он все еще излучает свет и все сторонятся, а на самом деле его фонарь давно потух, а сам он давно ослеп, чтобы заметить это, и мы дадим ему хорошего толчка, Сун. Вот почему я хохотал...

Они шли вдоль канала, густо усыпанного барками и лодками. Луна шла по небу рядом с ними, как желтая собака с разинутой пастью. Облака, похожие на драконов, сопровождали ее. Вдруг они увидели, как от сарая на берегу отделилась нескладная фигура и бросилась к воде.

— Этот человек хочет утопиться,— закричал Сун,— спешим к нему!

Прежде чем китаец разбежался, чтобы прыгнуть в канал, Сун и его спутники окружили человека. Человек испуганно закричал и сел наземь. Сун узнал Тзе Лу.

— Тзе Лу,— спросил он строго,— что ты здесь делал?..

— О, Сун,— отвечал Тзе Лу, дрожа всем телом,— душа моя не находит покоя, я хотел утопиться, чтобы подлость моя утонула вместе со мной...

— Тзе Лу,— сказал Сун, указывая ему на барки и лодки,— вчерашний день ты звал смерть ко мне, а сегодня сам пришел играть с ней в кости. Стыдись, Тзе Лу! Что сказал бы маленький Ян Цзы, если бы ты подплыл к нему грязный и распухший, как прошлогоднее бревно? Я успокою твою совесть, Тзе Лу. Клянись, что будешь делать так, как я прикажу тебе, и тишина снова войдет в твой ум и в твое сердце. Собери последние силы и отдай их мне, я позабочусь о том, чтобы маленькому Ян Цзы было хорошо жить, когда он вырастет.

— Пусть будет по-твоему,— пробормотал Тзе Лу,— я вижу теперь, что ты истинный сын света, и друг народа, и восстановитель душ. Дай мне твои спички, я буду беречь тебя, я буду идти впереди и освещать дорогу, чтобы ты не споткнулся и не ушибся о камень, как ушибся этот проклятый лентяй Ма Куай — дохлая лошадь, которого я утопил в канаве сегодня вечером...

1926

ХАЛИФ

I

Вице-генералиссимус турецкой армии, убийца Назим-паши, зять халифа, наместник Магомета, «главнокомандующий всеми войсками ислама», друг эмира, контрреволюционер и авантюрист Энвер-паша погибал в каменных расщелинах, как последний дезертир.

Пленный красноармеец без шлема стоял перед ним. Щека его была рассечена прямым ударом нагайки. Мутные глаза его дымились от усталости. Его так быстро гнали по тропе вверх, что его грудь равнинного жителя ходила ходуном. Штаны и гимнастерка были разорваны. Кроме всего, он струсил и непрерывно переступал ногами, точно стоял на угольях.

Энвер вспомнил свой старый жест, который он называл маршальским.

— Хасанов,— сказал он, дотрагиваясь до пленного концом маузера,— такие люди хотят задержать меня? Жалкий народ. Отпустите его вниз — дайте ему моих прокламаций.

Человек в серой маленькой шапочке закрыл левый глаз. Он негодовал:

— Это ошибка. Зачем оставлять лишнего бойца? Паша...

— Этот солдат — плохой солдат: он не много причинит нам вреда. Дайте ему прокламаций и отпустите... Я сказал...

Энвер отошел в сторону и прекратил разговор. Он поднял бинокль и обвел весь горный ералаш внимательнейшим взором. Он остановился на фигурке пленного, прыгавшей под гору, становившейся все меньше и меньше. Потом он

увидел, как около этой фигурки мелькнуло что-то похожее на голубиную стаю. Это взлетели брошенные красноармейцем прокламации. Сейчас же он отвел глаза, и горы восточной Бухары стали подсовывать ему в двойные стекла бинокля многообразие своих троп, и пятна осыпей, и оврынги, и балконы, и переправы внизу в густых тенях ущелья, жующего воду и швыряющего камни.

И вот двойные стекла бинокля стали нащупывать легко скользившие серые комочки стрелков. Желтые, кое-где одетые можжевельником, точно в ужасе цеплявшимся за камни, эти горы мучительно походили на Триполитанские горы. Перед ним мелькнуло презрительное лицо Кемаля и ястребиное — Джемаля. Они смеялись. Они называли его великим неудачником.

Да, это было так, но не сейчас. Разве не сейчас? Разве не бежит он по каменным коридорам из одного в другой, и серые комочки катятся за ним, как заведенные? Он поднял снова бинокль, и сердце солдата стало ударять в ребра. Там над осыпями, оврынгами и балконами всплывали дымки. Сильное эхо удесятерило звук, и нельзя было понять, с какого расстояния бьют. Изредка, словно набрав злости, ударяла пушка. В бинокль он видел даже винтовки, просунутые между камней, и одного неудачного наблюдателя, высунувшегося до пояса и махавшего кому-то рукой.

Он прикидывал цифры: взвод держит тропинку, три пулемета, несомненно, у переправы, два горных орудия — спешенная кавалерия в ущелье. Красноармейцы сбегают вниз, нарочно показываясь. Значит, начался обход. Пушки берут высоко, перелетами, развлекая басмачей.

Они обходят. Цифры цеплялись одна о другую. 35—50—75 метров они пройдут в полчаса, подъем — час без тяжести: двигаться, нападать бессмысленно. Он вспомнил ночные рестораны Берлина, заряженные гулом толпы, песнями и криками. Наступал ли в них когда-нибудь час молчания? Позиция была пустынна. Басмачи прятались, как волшебники. Одни тюбетейки можно было найти на месте стрелков, даже подойдя незаметно на несколько метров. Локайцы изменили, будь они прокляты! Изменил Ибрагим-бек, будь он проклят! Изменил Тугай-Сарры, будь он... Но звезда Энвера должна же наконец вспыхнуть ослепляющим пожаром...

— Нас обошли,— сказал человек в барашковой шапочке.— Паша, нас обошли!

Два дарвазца держали коней.

Сверху сыпались камни, и две гранаты, ахая, лопнули на скалах. Энвер увидел, как ожили склоны. Пестрые халаты один миг трепетали на виду. Затем раздался свист, и все исчезли. Все обратились в невидимое бегство.

II

Человек в барашковой шапочке лежит на старой кошме. Ему все равно. Он прожил жизнь. Все меньше кишлаков, стоянок — тем лучше; все меньше патронов и пищи — тем лучше; все отвеснее горы и безвыходнее ущелья — тем лучше.

Энвер вечным пером пишет, тщательно расставляя буквы, письмо эмиру бухарскому:

«Прославленный и многоуважаемый брат Газы!

Сегодня Ободжа-Лашафи получил Ваше письмо, узнал о Вашем здоровье, обрадовался. Сообщали мы Вам, что Ибрагим-бек — изменник и желает всех обмануть. Мирахир-баши, еще раз подтверждаю, воистину честный человек и везде и всюду, как я, готов жертвовать своими интересами для Вашего величества. Посему прошу избавить меня от этих горных и степных недоразумений. Пришлите мне, пожалуйста, для того патроны и винтовки Джермэни. Я думаю, что русские скоро не будут мне помехой...»

Энвер курит анашу, и усы его дергаются, как пиявки. Он кончает письмо и говорит:

— Хасанов, ты не веришь, что я одержу победу? Ты не веришь, что я буду халифом? Я бегу, да, но и пророк бежал... Ты не веришь, что я создам халифат от Волги до Инда — татары, кавказцы, киргизы, узбеки, таджики, туркмены, турки, сейки, афганцы,— ты не веришь... Если поднять их, могущество Европы лопнет, как бычий пузырь под копытом... Ты не веришь...

— Нет,— говорит человек в барашковой серой шапочке,— это план из «Тысячи и одной ночи», а у нас осталось ночей столько, сколько пальцев на одной руке, если закрыть четыре... Может быть, я ошибаюсь... Тогда это счастье... Халифата не будет... Дорогой халиф, скажите мне что-нибудь другое... Как жаль, что у нас вышел коньяк...

— Я послал русским предложение, но оно не исключает первого плана...

— Мой друг паша,— говорит Хасанов,— я был с вами, Гази, под Эдирне и под Саракамышем. Я видел два лица войны. Я видел все.

— Я предложил русским, чтобы они отдали мне Бухару. Я обещал им собрать армию и идти с ними за общие цели на Востоке... Ты опять не веришь?

— Накрой беглеца концом плаща, и он будет отдыхать. Мы отдыхаем, паша, но не слишком ли короток наш отдых... У нас нет силы...

— Русские завоевали Туркестан, за пятьдесят лет борьбы потеряв убитыми тысячу человек. Смешно! Неужели мы не сделаем того же...

Они вышли из дому. Кучка людей стояла на горной площадке, обвеваемая холодным ветром. Курбаши шел к ним, дико раздвигая ноги и спотыкаясь. Весь зад был сбит у него в кровь от беспрерывной езды. На поясе качался маузер, украшенный серебром, сбоку висел наган, за плечами винтовка, две ручные гранаты выглядывали из мешка, шашку он придерживал рукой. Из-под шашки торчала ручка ножа. Английский патронташ освещен был луной как неоспоримое доказательство его воинственного характера. Этот ходячий арсенал смутно пролаял приветствие.

Человек в барашковой шапочке разглядывал спутников курбаши. Все они были горцы в оборванных халатах, удрученные и шатающиеся. Они слезли с лошадей, и только один всадник возвышался над ними. Он был очень юн. Голову его обвивала чалма из тончайшей кисеи, большие черные глаза остановились неподвижно. Веревки сбегали, извиваясь, с плеч к поясу и, охватывая ноги, скользили под брюхо лошади. Мертвец сидел с оскаленным ртом, полным пыли. Седло слегка скрипело под ним. Пуля прошла около виска. Расшитые одежды и тонкие руки в кольцах были одинаково мертвы.

— Что это? — спросил Энвер.

Курбаши коснулся своей черной бороды, полной пыли, как и рот мертвеца.

— Это сладкая любовь, таксыр. Русские убили его вчера. Я зарежу за него сто голов, но я не могу расстаться с ним. Пусть тень его молодости едет за мной. Он приносил мне счастье, э, таксыр,— это правда...

Он сел на камень и застонал.

Энвер и Хасанов шли мимо спящих и проверяли часовых. Спящие были совершенно неподвижны. Так могут

спать бревна и камни. Даже лошади не чесались и не стучали ногами. Ущелье ясно являло собой дыру, в которую побросали этих людей за ненадобностью, как мертвых.

Заунывный крик часового послышался вверху, ему ответил другой, похожий на плач птицы.

Хасанов заговорил, точно сам с собой:

— В Персии я встретил караван с мертвыми. Их везли в Кербелу. Я ночевал вместе с караваном. В садах, во мраке, в запахе жасмина и миндаля, лежали мертвецы рядами, и вокруг них кричали сторожа и пели песню пути. «Вы спите, сторожа?» — спрашивали одни. «Мы не спим,— отвечали другие,— мы сторожим мертвых Кербелаха. Сладко спите, мертвые, сладко будете вы спать в Кербелахе». Мы бодрствуем, мы сторожим! Разве это не похоже,— сказал он, указывая на лагерь,— мы сторожим, но мы скоро уснем. Кто будет кричать о нас, паша?

Энвер выхватил маузер. Визгливые голоса часовых пересеклись хлопаньем винтовочных прикладов о камни и черепа. Рукопашная осветилась багровым трепетанием гранаты.

— Вайдот! — кричали дарвазцы.— Вайдот!

Курбаши держал за повод лошадь мертвеца и размахивал шашкой. Энвер увидел, как рядом с Хасановым выросло отчаянное круглое потное лицо, пересеченное шрамом от нагайки. Человек внезапно отпрянул. Из-под его рук откуда-то неожиданно выбежал штык. Энвер узнал красноармейца, ушедшего из плена. Энвер проклял его и стал разряжать маузер. Тут его подхватили телохранители, и все провалилось во мрак.

III

— Ты думаешь, настало время защитных рубах и красных звезд? — спросил Энвер, слезая с коня у старого мазара — гробницы, приткнувшейся у скалы.

Хасанов с забинтованной головой указал вниз. Там, внизу, далеко, как будто в другом мире, стоял сигнальный костер, и далеко к северу блуждал он, и еще на тропе, и еще внизу, у переправ.

— Они нарочно зажгли костры, чтобы сбить нас,— сказал Энвер.

— Нас загоняют,— ответил Хасанов,— нам осталась дорога в Афганистан.

— Никогда,— закричал Энвер. Черные пиявки над его высокомерными губами вздрогнули.— Мы должны найти хоть одну искру настоящего мужества — и все обернется по-другому.

— Мертвые Кербелаха не всегда доезжают до Кербелаха,— сказал Хасанов,— отдохнем у мазара.

Отряд остановился. У стены гробницы сидел старик. На впалых щеках его, лиловых при заходящем солнце, гнездились клочья ржавых волос. При виде вооруженных людей им овладела необычайная радость. Он царапал землю ногами, похожими на спицы. Головокружение охватывало горцев, когда они встречались с его глубокими, скользящими глазами. Точно ужаленный, он подскочил на месте и простер руки, желая обнять оружие всего отряда. Шапка его ощетинилась, глаза закрылись. Гнусавый голос ударился в узкую дверь ущелья. Он танцевал как безумный, кружась и подпрыгивая.

— Он молится,— говорили дарвазцы.— Он — «дивана».

— Он танцует мою жизнь,— шептал Энвер.

— Анахронизм,— сказал Хасанов.— Пляшущий мертвец. Ислам умер.

Пена текла по сизой бороденке старика, обнажились неровные длинные зубы, один глаз полуоткрылся и обегал сидевших. Ужаснее всего жили его руки.

Они то выпрямлялись, как палки, над головой, то складывались, будто ломались надвое, то извивались, потрескивая, то летели в стороны; сейчас — касались земли, сейчас — отделялись от тела, точно плясали рядом со стариком.

Он шумно выдохнул воздух, кончил пляску и, согнувшись, почти рухнул к ногам Энвера, закричав ужасным голосом:

— Халифат, халифат — Ияхуа — халифат — Ай-Ем — Ияхуа — халифат!

Когда они стали разговаривать, все почтительно отодвинулись от них. Энвер рассказывал старику свою жизнь. Через кровь слуги султана, через постель дочери султана, через трупы солдат султана, через пески Триполи, кровавые виноградники Турции, горы Кавказа, пустыни Бухары шел рассказ. Аллах избрал Энвера грозой неверных. Энвер погружался в бездонные глаза «диваны». Он ощущал себя заново, как тогда, когда вскочил на коня, чтобы завоевать Адрианополь, или вошел на палубу «Гамидиэ», чтобы мчаться в Африку. Этот старик встанет за него. Вся исто-

рия ислама пестрит такими стариками. А кто были первые халифы? Безумные, взявшие меч. Этот старик поедет рядом с ним под зеленым знаменем. Еще не все погибло.

— Халифат,— сказал, вздохнув, старик,— ты отдашь мне халифат. А ты кто?

— Как?.. тебе? — спросил Энвер.— А кто ты?

Тогда старик выпрямился, и лиловая маленькая грудь его надулась, как зоб у жителей Пянджа.

— Я халиф! Ай-Ем. Я халиф,— сказал он,— подлинный и настоящий. Я покажу тебе мой халифат...

— Где же он? — сказал тихо Энвер.— Твой халифат да будет и моим.

Старик, подмигивая и морщась, потащил его внутрь мазара. Энвер вступил в комнату, слабо освещенную последними лучами солнца. Между голых стен валялись трухлявая солома и несколько кирпичей. Совсем в углу в полу он увидел черное углубление, похожее на незакрытый гроб.

— Пристальней смотри. Смотри — вот это мой халифат,— кричал старик, прыгая от радости,— и ты будешь иметь такой...

Он радовался своему голосу, как ребенок новому колокольчику.

«Он настоящий пророк,— подумал Энвер,— он хитер, как Магомет. Он притворяется, как актер. Тем лучше...»

Он нагнулся и сделал вид, что целует руку старика с сыновней почтительностью.

Он не слышал, как басмачи говорили Хасанову, что старик сумасшедший, уже лет двадцать назад он провозгласил себя халифом и требует почестей. Больше всего на свете он любит оружие и всегда пляшет перед вооруженными людьми.

Энвер вышел из мазара, сияя, как победитель. Все будущее казалось ему великолепным. Не может быть, что он жил затем, чтобы погибнуть в безвестной каменной дыре! Грудь его вздымалась яростью первых халифов. Страны, лежащие внизу, казалось, умоляли о пощаде. Он введет своего коня в волны океана, чтобы сказать: дальше некуда...

Он пошел к басмачам, прямой, со светящимися глазами, а они закричали: «Бас á бас!» — и ударили по рукоятках сабель. Победа витала над ним.

На другой день к вечеру его убили красноармейцы.

1927

ЧАЙХАНА У ЛЯБИ-ХОУЗА

Вечерний поезд должен был явиться через полчаса. Люди на станции Старая Бухара изнемогали от жары. Дорога в город как будто была устлана необычайно белыми сухими простынями. Такой же белизной пугали станционные постройки, и совсем уже ослепительно вспыхивали изоляторы, острые камешки и рельсы, сложенные в стороне. В станционном зале слышно было медленное дыхание сидящих на полу со своими мешками и корзинами незатейливых пассажиров, медленные шаги дежурного, звяканье винтовки милиционера и сухой стук телеграфного аппарата.

На дворе извозчичьи лошади лизали теплые уздечки и скучно отряхивались. Каменная лестница была заполнена множеством людей в разноцветных халатах. Поджав ноги, они смотрели в душный простор ночи и ждали поезда. Среди них на самом углу поместился один из тех, кого в этой стране называют чайрикерами — безземельными. Сидящий чайрикер вспоминал об удивительных вещах именно в этот час молчания и ожидания.

Он знал только кетмень — тяжелую мотыгу — и тяжелую работу. Молодость его уходила, как вода, засасываемая песком. Сухое обезьяноподобное тело никогда не жило по-господски. Когда не стало эмира в Бухаре, муллы и старшины с раскрашенными бородами потребовали, чтобы чайрикер стал резать джадидов — большевиков, врагов ислама.

Чайрикер, недалекий умом и сильный молодостью, сделался разбойником, басмачом.

Вспомнив об этом сейчас, чайрикер вздрогнул. Кто-то швырнул через его голову пустую зеленую бутылку, и она

разбилась о камни станционного садика, просияв толстыми тупыми осколками.

Среди басмачей чайрикер подружился с узбеком из Бухары, еще не старым, но с лицом старика. Он рассказал чайрикеру, что у него в Бухаре есть дом и дочь такой поразительной красоты, что она все время стоит у него перед глазами. Он описывал эту девочку подробно, часами, не забывая ничего, останавливаясь на всех удивительных богатствах ее тела; и чайрикер слушал, потускнев от отчаяния и страсти. Он решил разбогатеть, бросить разбой, поехать к бухарцу и купить его дочь в жены. Он не говорил ничего об этом своему другу, но просил рассказывать еще и еще о его дочери. Бухарец, причмокивая языком, дружески хлопал его по плечу. В набегах они ездили рядом.

Чайрикер снова тяжело вздохнул и оглядел неподвижное скопище халатов на лестнице. Оно не было таким неподвижным. Кто-нибудь ежеминутно вставал и шел в сад, в тень черных, словно жестяных, деревьев, кто-нибудь усаживался удобнее, иной закуривал папиросу, и дым ее не таял в воздухе, а висел у губ ватным облачком...

Да, басмачи резали людей и жгли дома за то, что жители считали себя советскими. Басмачи разоряли караваны и грабили незадачливых путников. Купцы на коленях просили сохранить им жизнь, люди, у которых отняли калым, когда они ехали жениться, выли по-волчьи и хватали за стремена. Пояс чайрикера наполнялся деньгами.

«Увы,— говорит великая книга,— они творили бесчинства и не понимали этого».

Бухарец открыл ему, что он ремесленник и умеет делать блюда и кувшины такой редкости, что богатые люди покупали их у него для украшения жилищ в старое время; он открыл также, что только ради дочери стал басмачом, потому что благоухание ее красоты не может существовать во мраке нищенства. Когда он разбогатеет, он вернется в Бухару и примирится с джадидами. Он повторил в ту ночь шесть раз рассказ о прелестях своей дочери, и на глазах чайрикера дымились слезы от неожиданных мыслей.

Чайрикер был прост и темен, и кипение молодости ослепляло его. Он развязал свой пояс, гулко звеневший, и передал его бухарцу. Он сказал, что это выкуп за его дочь.

— Мало,— отвечал бухарец.— Хай, пусть это будет часть выкупа.

Они побратались с бухарцем, и тот рассказал, как найти его в славном старом городе Бухаре. Пусть бухарец бежит

домой, он останется, чтобы еще раз наполнить свой пояс богатством.

Недалекий свисток пронесся в духоте. Люди на станции стали подыматься на ноги. Зазвенел колокол, ловкая круглая медь ударила в уши. Чайрикер прислонился к стене и закрыл глаза. Пусть спешат другие на поезд, он вовсе не собирается уезжать. Он должен, не торопясь, собрать все прошлое, чтобы отправиться сегодня пешком в последнюю дорогу. Ночь будет душной, как Чамбайская степь.

У кого чайрикеру было учиться мудрости? Он знал, что лучшее в жизни — трубка анаши и плов. Облизать руку с жирными наростами риса и взять в рот облако зеленоватого дыма — вот высшие чудеса, доступные его душе. Теперь другое чудо полонило его. Тонкое пламя страсти сжигало сердце. Лицо неотразимой нежности стояло перед глазами. Дочь бухарца закрывала ему уши своими прозрачными руками, ее белые ноги он видел скользящими над меловой пылью в тяжелой белизне ночи. Зачем женщинам дана такая сила ослеплять даже на расстоянии?

Чайрикер продолжал кружить в воспоминаниях, но они подходили к концу. Вот он оставил жизнь басмача и взялся за кетмень, но труд не радовал его. Последний жир слез с его костей, и лицо посерело и обуглилось. Ему нужна была дочь бухарца. Он описывал ее сам себе вслух и каждый раз прибавлял новые подробности. Он заучил наизусть приметы, по каким он должен был найти дом бухарца в городе среди равнины, в котором он сам бывал много раз. И вот он сидит на вокзале, на ступенях лестницы, и не знает, на что решиться.

Рев оглушающего чудовища приветствовал станцию. Пестрая толпа ворвалась в двери. Вечерний поезд, отдуваясь, стоял у платформы. От паровоза несло нестерпимым жаром, он был похож на вспотевшее животное, вода тонкими блестящими струйками сбегала по его черным бокам. Снова ловко и кругло зазвонил колокол.

Итак, чайрикер сидел на вокзале недалеко от города, и вокруг него гремели извозчики. Он набирался сил для подвига. Сознание, что он скоро увидит счастье своей жизни, срывало его с места и толкало к городским воротам. Когда же он вспоминал, что он был басмачом, ему казалось, что сидящие в воротах милиционеры возьмут его за руки и отведут в тюрьму. Он боялся днем проникнуть в город. Теперь он рассеянно обозревал движение людей перед вокзальным садиком. Из вокзала вышел очередной

русский, белая одежда его колыхалась в темноте. Извозчик повернул к нему с козел птичью голову и ждал.

— Ляби-хоуз, сорок копеек,— сказал русский и, не оглядываясь и не торгуясь, забрался в экипаж.

Извозчик ждал, извозчик глядел по сторонам. Раз русский не гонит сразу, не кричит — значит, он новичок, в экипаж к нему можно посадить еще другого.

— Что же ты не едешь? — спросил русский.

Белая полоса его руки протянулась к плечу извозчика. Чайрикер с непонятной ему самому решимостью прыгнул в экипаж и сел, качнув русского.

Экипаж покатился, резко подпрыгивая. Русский, рискуя откусить язык от частых толчков, спросил соседа — кто он. Чайрикер ответил ему насмешливой пословицей, переполненной скрежещущими звуками. Русский не знал местного языка. Он был новичок из России, первый год работал в этой стране и каждую минуту нуждался в переводчике. В Старой Бухаре он еще ни разу не был. Ему сказали, что лучше всего остановиться в чайхане у Ляби-хоуза, потому что русские номера полны клопов и блох.

Для него не было новостью приезжать ночью в чужой город, но все же приближение больших городских стен с необычайными башнями и воротами волновало его поночному; кроме того, душная ночь удручала его. От ее света все на земле казалось черным или белым, промежутков не было, белые стены проваливались в черноту или подходили так близко к экипажу, что он мог рукой свободно достать их. Пешеходы шарахались в сторону, прижимаясь к домам, чтобы дать дорогу.

Русскому посоветовали не удаляться от Ляби-хоуза — королевского пруда — никуда в сторону, не задевать женщин, закутанных в черные покрывала, не заводить ссор в кривых переулках. Кроме того, сказали ему, смеясь, что женщины, сидящие на улице с тюбетейками на коленях, не торговки, а проститутки, и приценяться к их тюбетейкам не стоит. Многое другое рассказывали ему еще, но он забыл.

Он помнил только, что в чайхане его встретит джигит, с ним они должны завтра выехать в окрестные кишлаки для обследования; он думал о том, как видоизменить анкеты, каким лучшим способом разговаривать с жителями. Он был из тех людей, что приобщали эту дикую страну к настоящей жизни, изучали ее ремесла, быт, ее леса, поля и сады, измеряли ее реки, дороги, пустыни, горы, ставили

радио, учили читать газеты и объясняли тысячу вещей, которых здешние люди не знали и без которых жили всю жизнь. Русский дрог от сырости в камышах Арала, трясся по горам Ферганы, задыхался без воды в пустыне, где лошадь его пала от солнечного удара, а в Самарканде его чуть не убили, приняв за другого.

С той минуты, как он бесполезно заговорил со своим соседом, он не интересовался им больше. Экипаж продолжал мчаться. Улицы никак не расширялись, черная листва перегибалась через белые глиняные ограды. Русский почувствовал усталость от вагона, от духоты, от однообразия тряски. Пыль хрустела у него на зубах, ее налет лежал на его шее, лбу и руках. Духота висела над городом, будто он был закутан в тонкое черное покрывало, сквозь него просвечивали звезды.

Извозчик неожиданно осадил лошадей в каком-то ярмарочном квадрате зданий и деревьев.

— Что это? — спросил русский.

Чайрикер соскочил, молча сунул монету извозчику и пошел не оглядываясь.

— Ляби-хоуз,— сказал извозчик и ткнул куда-то вправо кнутом.

Русский вышел из экипажа не спеша. Друзья начертили ему план этого места на крышке папиросной коробки. Он вынул ее и стал рассматривать. Серые ломаные карандашные линии на крышке превращались в немного нелепую картину, когда он проверял их на окружающем пейзаже.

Ляби-хоуз — королевский пруд — мерцал перед ним под огромными широкоствольными деревьями. Какие-то мечети или дворцы с лестницами, арками и колоннами окружали пруд, но, приглядевшись, он увидал на одном из них высокую доску с надписью «Казино». За мечетями дома понижались и растворялись в лунном тумане. Русский улыбнулся; он пошел, согласно плану, вперед. Аптека выстроила свои разноцветные бессмертные склянки на окнах, за аптекой начиналась улица, накрытая крышей, улица, переполненная людом и бесчисленными лавочниками. Всюду желтели электрические лампы. У самого начала улицы он нашел возвышения, одетые коврами, и продавца винограда. Блестящий самовар, как божество, восседал в глубине помещения. По плану это и была чайхана у Ляби-хоуза.

Чайрикер в это время уже далеко отошел от Ляби-хоуза. Он оставил улицы, переполненные джадидами. Женщи-

ны в розовых чулках, показывавшие ноги до колен, и мужчины в белых и цветных рубашках, расстегнутых до пояса, раздражали его. Он не стал глядеть по сторонам. Перед ним кричали газетчики, водоносы и гулко катились экипажи. Человек продавал в бумажных трубочках жареные орехи. Люди обступали его, съедали тут же орехи и тут же бросали бумажные трубочки... Продавец наклонялся, подымал бережно из пыли жалкие кусочки свернутой бумаги и снова наполнял их орехами из мешочка, висевшего у пояса.

«Я более безрассуден, чем он,— подумал чайрикер на ходу.— Страсть опустошает человека больше, чем болезнь или голод».

Он начал блуждать в тесных и глухих переулках, совсем пустых и душных. В этих переулках можно было петь и кричать, никто не услыхал бы. Изредка над ним хлопал ставень, иногда он натыкался на груду мусора, крысы перебегали дорогу, на крышах слабо перекликались голоса. Он вышел на канал Шахруд и сел на выступ. Сердце его помещалось теперь у горла. Еще несколько шагов — и он возьмет свое счастье. Он вспотел, как лошадь, над которой взвился нож мясника.

Ноги его стали такими горячими, что он сбросил туфли, и пятки его ступили на теплый песок. Ночь превращалась в палящее марево. Казалось совершенно непонятным, как желтое, холодное поле луны может посылать такие теплые душные волны. Звезды перегорали от неистовой духоты и скатывались вниз. Дома стояли плотно покрытые горячей пылью. Казалось, в них все умерли от жары. Чайрикер поднялся и пошел дальше.

Он столько раз во сне видел это место, что ошибиться было невозможно. Разломанный глиняный дувал открывал внутренность двора. Прямо перед чайрикером встала комната без передней стены, заставленная сундуками и ломаными стульями. В углу шипел примус, окруженный маленьким венчиком синего пламени, щипцы, странные палки и ручки висели на стене, зубы разных размеров лежали в коробках, прислоненных друг к другу. Помойное ведро, швабра и разорванная кошма дружили с кухонным столом, на столе валялись изрезанные остатки арбуза.

Человек со всклокоченной серой бородой, с изнуренным лицом и высохшими руками не шевельнулся, увидев чайрикера. Чайрикер закрыл глаза, думая, что это дурной сон, наваждение, ошибка, что он видит горного беса, издевающегося над ним. Но бес не исчезал. Трухлявая, покрытая

липким потом рука человека помешала пенное снадобье, варившееся на примусе, и вернулась на колени к хозяину. Тут он стал отвратительно кашлять, раскрыв рот, роняя слюни, тряся бородой.

«Что случилось? Это же дом его друга! Здесь живет его счастье!»

Он не мог говорить от презрения к старику. У него стали дрожать колени. Наконец старик увидел его и грубо спросил:

— Эй, ака, зубы болят? Что, болят зубы? Что?

Он встал во весь рост, но это движение сейчас же лишило его последних сил. Он упал обратно в дырявое плетеное кресло и схватился за грудь. Отойдя немного, он потряс воздух проклятиями, недостойными его старых губ: он проклинал Бухару, и жару, и людей, и свою жизнь, и того, кто затащил его в этот город. Потом он обругал примус, зубы, себя и спросил, задыхаясь:

— Что тебе, эй, глухой? Чего пришел? Так себе пришел? Что?

Тогда чайрикер, собрав все мужество, рассказал этому старику, умиравшему от жары и недуга, все, что случилось с ним. Но он рассказывал на своем прекрасном узбекском языке, со всеми подробностями, плача и смеясь и завывая так, что старик застыл в кресле с гипсовой челюстью в руке.

Чайрикер открывал ему душу до конца. Он молил его уйти со своей огненной машиной и зубами в другое место, он молил сказать, где его друг и где дочь его друга. Если он заколдовал их, то пусть вернет снова в людей,— чайрикер пойдет опять в басмачи и принесет ему гору драгоценностей, и ему не нужно будет на старости торговать зубами мертвых людей.

Старик испуганно смотрел в его лицо и бормотал:

— Это не ко мне... Эй, что ты, товарищ! Ты болен-таки? Эй, приятель, ты ошибся! Я не лечу сумасшедших!

Старик ни слова не понимал из его речи, но чайрикер знал, что он должен убедить старика во всем. И только когда он издал последний вопль, вознесшийся до самой вершины соседнего тополя, чайрикер понял, что он пропал, что его друга нет и нет той, ради которой билось его сердце. Он никогда не увидит ее. Пропало все. Он упал и плакал на ступенях, у ног старого дантиста, сжимавшего гипсовые зубы.

«Мусульмане! Джадиды! Слушайте! Что же такое день

неизбежный? Открой книгу и прочти: «И обозрел он армию птиц и сказал: почему же не вижу я здесь удода? Или он отсутствует? Удод отсутствовал».

Чайрикер увидел, что старик умрет, но ничего не скажет. Тогда он встал, мокрый от пота, и обошел полуразвалившийся дом. Он поговорил со сторожем, вышедшим к нему. Сторож сказал, что человек с дочерью, дряхлый обманщик, собака со ржавой бородой, задолжал ему, оскорбил и уехал отсюда, куда — неизвестно, что он дом запустил, и дожди весной размыли его, а осенью он упадет совсем.

Чайрикер сидел под деревом долго. Молчанием безразличия отвечало дерево. Синий огонь плясал в машине дантиста, старик кряхтел, плевался и боязливо смотрел в сторону чайрикера. Из пыльной дыры вышла ящерица. Она потрогала туфлю чайрикера и побежала, приподымаясь на лапках. Чайрикер оставил дерево и побрел по тем же переулкам, где одна луна сопровождала его. Она жгла его плечи и голову, от нее не было спасения. Неожиданный плеск говора и шагов окружил его. Он вышел на улицу, в конце которой мерцал Ляби-хоуз, неподвижная масляная вода его доводила человека до головокружения. Как призрак, вошел чайрикер в чайхану у Ляби-хоуза.

Десять возвышений, крытых коврами, великанский самовар, горы чашек и приятель, торговец виноградом, у входа радовали сердце хозяина. Он был еще молод, у его ног русская женщина из деревенских, бог весть как закинутая сюда, перемывала чашки. Русский собрал несколько слов и, стараясь придать им разнообразный смысл, заговорил:

— Эс селям-алейкум,— ака,— э — здравствуй, добрый вечер, спать здесь, ака,— э — можно? Одеяло — курпа, кокчай — спать...

Хозяин понял. Гость просил о ночлеге.

— Мандат барма — милиция,— так же ломая язык, сказал хозяин,— распоряжений спать... бумага спать...

— А где же милиция? — спросил русский.

Тут ему на помощь пришла уборщица. Она вытерла из вежливости полосатым передником руки и встала.

— Пойдете сейчас прямо, потом налево, потом спросите зеленый базар, там и милиция.

Русский оставил свой чемоданчик и вышел из чайханы. Жара на улице под крышей угнетала. Разнообразные люди

гуляли по этой улице, шумя и толкаясь. Мальчишки совали ему в руки желтые бумажки — рекламы кино. Он взял рассеянно и прочел: «3000 трюков. Остров тайн. Рай зверей, 6 серий, 36 частей. Для удобства зрителей по две серии в вечер. Зероблит 349».

— Зероблит,— говорил он сам себе.— Зероблит — что это такое? Ах, это зеравшанский областной...— Дальше ему додумать было лень. Он углубился в город эмиров, древнейший город Азии, не помнивший дня своего рождения.

Он свернул в переулок, как было указано, и наступил на подкову. Он не поднял ее и пошел дальше медленными шагами по белым и черным коридорам. Людей не было. У стен шуршали бесчисленные ночные зверушки. Клубы пыли взвивались до колен. Он долго шел, и теснота и бесконечность белых и черных стен становились угрожающими. Вдруг стали попадаться освещенные трещины. В проломах стен вырастали люди, сидевшие за шитьем сапог или за оттачиванием серпа, считавшие деньги или просто беседовавшие. Их мирные лица казались разбойничьими от блеска жаровен, глаза — мутными от жары. Он спросил дорогу. Наконец переулок расширился.

Русский вышел на уснувший базар. По-видимому, это и был зеленый базар. Лавки наглухо закрыты ставнями. У одной стены спали вперемежку с тюками люди. Они лежали и не храпели. Он перешагнул через одного, заснувшего на животе и выбросившего ноги на дорогу. Рядом с ним чесался осел, нюхая воздух огромными разрезанными ноздрями. За базаром стояла мечеть. Из ее черной груды подымались два полуразрушенных минарета.

У дверей мечети дремал человек. Русский задел его, проходя; дремавший шумно задвигался и заворчал. Туземный милиционер протирал глаза. Русский вспомнил, что милиционер обязан понимать по-русски. Он спросил, где милиция. Человек молча указал ему на мечеть. Со странным чувством русский шагнул в неосвещенный двор. Ему в лицо пахнуло прохладой, но сырой и неприветливой. Верно, где-нибудь рядом гнила вода. Главное здание мечети неизбежной аркой воздвигалось перед ним. Сбоку на лестнице молчали два человека в белом, похожие на покойников, вылезших из гробов. Русский, ощущая вялость во всем теле, поднялся по ступенькам и попал в узкую комнату. За треногим столом, прислоненным к стене, сидели два милиционера. У стола стояла заплаканная женщина с узки-

ми красными глазами, простоволосая, оглядывавшая с испугом костлявого человека в разорванном чесучовом пиджаке, неряшливого и небритого.

— Нет, пиши! Нет, ты пиши! — говорил человек, стуча по столу рукой.— Так прямо и пиши — сказала: собачье ремесло — я собака. Да, я собака!..

— Я не говорила так,— захныкала женщина.— Я про собаку не говорила.

Люди за столом устало зевали. Свеча, воткнутая в бутылку, догорала. Один из милиционеров вынул другую свечу из стола, заострил кончик ее ножом и молча укрепил взамен старой. Мундиры их были расстегнуты, и на лицах застыли капельки мелкого пота.

— Что вы хотите, товарищ? — спросил тот, что менял свечку.

Русский, не торопясь, положил на стол свои документы.

— Ночевать мне нужно. Чайханщик требует разрешения из милиции.

— Рост,— почему-то по-афгански сказал милиционер,— нет ли у вас бумаги?

Русский не понял его сразу. Милиционер обернулся к стене, оторвал от обоев порядочный клок и снова заерзал на табурете.

— Нет ли у вас карандаша?

Русский достал химический карандаш. Милиционер начал оплевывать бумагу; оплевав бумагу, он долго и старательно, любуясь знаками своего производства, покрыл бумагу справа налево, сверху вниз арабскими письменами. Избороздив ее всю, он подал ее с улыбкой русскому:

— Целый мандат...

Женщина молчаливо плакала. Вдруг небритый сказал:

— Ну, вычеркивай все. Черт с ней! Пусть я буду собака. Я передумал. Чего давить тараканов, я и так отомщу.

Он вышел, шатаясь не то от жары, не то от скуки, не то от водки...

Русский вернулся в чайхану и отдал бумагу. Джигита еще не было; тогда он прошел на Ляби-хоуз. Хозяин же, взяв бумагу, долго читал ее по складам. Его заинтересовал самый процесс складывания букв, и он только тогда очнулся, когда уборщица попросила у него сахару.

Какая длинная, безвыходная ночь! Неужели есть страны, где идет радостный весенний дождь, падает снег белыми холодными хлопьями или просто широкий ветер качает деревья? Ляби-хоуз словно наполнен до краев тяжелой

смолой, лишь кое-где белые языки неслышно блистают на поверхности. На скамейках, под неподвижной листвой огромных деревьев, душный шепот и шуршание белых одежд. Тихие и визгливые звуки вонзаются в густой воздух, как иголки.

На другом конце террасы, в открытом павильоне, десятки людей сидят за столами: лото. Они потеют от ожидания, страха, жары. На щеках русских женщин пудра и краски тают и текут полосатыми ручейками. На них одни платья, они не носят рубашек. Намазанные губы блестящи, как жесть. Русские в испарине бродят по краям террасы, дымя папиросами, и громко разговаривают, размахивая руками. В углах улиц собаки дерутся из-за отбросов, иные из них лежат с высунутыми языками на ступеньках у самой воды.

Из аптеки глядит разноцветная унылость склянок. Огромные стенные часы привлекают внимание. В них есть что-то холодное.

Люди дышат, широко раскрыв рот, они ходят мелкими шагами и едят фрукты, но от теплого сока липко во рту и сладкая пена покрывает язык.

Какой-то дервиш ищет насекомых в своей одежде, сидя совершенно голый перед входом в запертое казино. Муэдзин, неслышно ступая, идет к минарету, перекатывая четки в руках. Стены мечети грозят рассыпаться от жары. Перед этими стенами эмир рубил головы пленным. Игроки в лото положили локти на стол. Под локтями на столе пятна от пота. Пот стекает с людей, будто они переворачивают камни. Муэдзин поднялся на минарет, он кричит над городом, никто не откликается. Может быть, на крышах и молятся, но здесь, внизу, все неподвижны.

Русский забыл о предосторожности. Он углубился в переулки. Они безжизненны и глухи. Кто скупил весь ветер и всю прохладу? Воздух превращается в молоко. Неужели эта духота потеряла конец?

Русский прошел путь чайрикера. Он увидал в проломе дантиста, и ему захотелось обменяться с ним хоть двумя словами. Старик наливал в примус керосин. На худых плечах мотался облезлый, рваный халат. «Еврей»,— подумал русский, глядя на его желтые узкие пальцы.

— Жарко,— сказал он, подходя,— не правда ли, жарко?

Дантист кончил наливать керосин. Он встряхнул воронку, и его руки схватились за кресло.

— Жарко! — закричал он.— Вы сказали — жарко! Хе! Разве это жизнь?! Дышать днем нельзя, вечером нельзя, ночью нельзя. Когда, я могу вас спросить, можно дышать? Я уже высох, вот я! — Он распахнул обрывки халата и обнажил свою коричневую впалую грудь.— Э, товарищ, как мы живем здесь! Я работаю по ночам — так прохладней. Прохладней, хе! Видали вы такую прохладу? — Он отер руками пот.— А что будете пить? Воду из тех ям, что тут кругом, с червями, паукамн, с гадостью? Разве можно пить такую воду? Я вас спрашиваю, можно, а?

Русский молчал. Он сидел на разорванной кошме и смотрел на примус.

— Кто вас сюда посадил, спросите вы? Да, кто посадил? — говорил старик, обращаясь в темноту.— Нищета. Я пью боржом, а то бы давно умер. А знаете, сколько стоит здесь боржом? Так он стоит семьдесят копеек бутылка. Где я на свой тощий карман найду денег?

Он протянул руку к горлу и начал кашлять.

— Может, вам починить надо что? Пломбу? Ночью! Ну так что, мы живем ночью. Восточная фантазия,— сказал он, сплевывая в сторону.

Русский сидел неподвижно. Вокруг белели разнообразные зубы, странно сверкали металлические щипцы. Он передвинулся ближе к старику.

— Невесело вам живется,— произнес он равнодушно.

Старик нагнулся к нему, свертывая папиросу:

— Тут весело живут. Будет весело, жить негде. Квартирный кризис. Я нашел эту развалину до осени. Осенью нас дождями размоет. Живу на юру, стены нет, передал мне это заведение,— он закурил папиросу и сейчас же стал спокойнее,— басмач один, говорят, басмач с дочкой. А! Они все басмачи... Сюда сумасшедшие забегают. Сегодня один был, от жары с ума сходят. Не верите? Вы откуда? Из Ташкента, нет? Тут даже умирают от жары. Глина, грязь, весело, невежество, что?

Он задохся. Кашель оснлил его, он бросил папиросу, протянул руку под кресло, достал бутылку боржому, треснувший стакан, открыл пробку, налил полстакана и с жадностью выпил.

Щетина на его шее дыбилась пучками.

— Хотите? — сказал он подозрительно, указывая подбородком на бутылку.— Теплая, выдыхается,— вдруг сказал он.— А что делать, что делать? Я один сразу выпить бутылку не могу, не по карману...

Русский отказался и встал. Он вынул папиросу, хотел закурить и раздумал, положил обратно в коробку и медленно пошел переулками. Воздух был неподвижен, и в то же время казалось, что все предметы вокруг начинают струиться. Ночь длилась, белая и неживая. Узкий горячий туман лентой охватывал голову.

Джигит дожидался его в чайхане. Он разговаривал с чайханщиком и заигрывал с уборщицей, наливая зеленый чай в толстую чашку. Два пустых чайника стояли возле. Русский поздоровался с ним за руку, сел и стал потягиваться. Ему не хотелось говорить. Чайханщик принес еще одну чашку, для него.

У стены на полках стояли сорок круглых чашек без блюдец, двадцать чайников подняли, как маленькие слоны, свои белые хоботы, чтобы затрубить. Десять возвышений, крытых коврами, были заполнены народом.

Ночь перешла за вторую половину. Светлые лунные полосы продолжали нести удушье. Ляби-хоуз сверкал почти электрическими искрами. Люди, как тени, толпились на улице. Стало меньше русских. Одиннадцать ворот Бухары закрылись в полночь, и русские уехали к себе в Новый город.

Звуки музыки еще слышны внизу, у пруда, и вывеска «Лото» горит над коричневыми лицами игроков. Индус, сидевший в углу, достал из маленькой коробочки грим и подправляет знак на лбу, как женщина, заглядывая в зеркальце. Туркмен снимает громадную баранью шапку и начинает есть теплый, сладкий до приторности виноград.

Джигит кончил пить, обтер рукавом усы и короткую бороду и приготовился говорить.

— Ну как, едем? — спрашивает русский.— Достал лошадей?

— Почему не достать! Достал в хоули, знаешь, двор? Когда едем?

— Часов в девять не жарко будет?

— Девять — зачем жарко. Не хочешь раньше? Хай будем ехать в девять.

Джигит достает из кармана местную газету.

— «Коммунист»,— говорит он, подмигивая,— хочешь, поучу по-нашему читать, умным будешь.

— Потом,— отвечает русский,— ты ел, пил?

— Пил, слава богу, ел — не хочу есть. Душно!

— Почему же ты не женат, а, джигит?

— Женат! О, женат! — Джигит смотрит в пространство чайханы.— Знаешь, у нас жениться — денег надо. Много денег. Тогда жена хорошая, красивая, жена — прямо жена. Я собирал, две тысячи рублей собирал. Моя спина собирала, рука собирала,— он зло усмехается,— где они... Какой был девочка, как ночь черный, как ночь белый. Далеко, там, где Шахрисябс, знаешь? Я ехал к ней, калым вез, тысячи рублей. Большие деньги, да... Басмач, знаешь, будь он проклят, отнимал. Я говорил, я кричал — он отнимал. И все. И я стал джигит. Ха! Халды-балды...

Джигит замолкает. Он приглаживает бороду трясущейся от гнева рукой.

— Я, знаешь, искал басмача. Все не тот. Все не тот. И все не тот. Я их так стрелял, знаешь, но все это не тот.

— Разве ты его помнишь в лицо? — спрашивает русский и вынимает папиросы.— Я сегодня совсем не курил. Не могу. Душно, на...

— А я курю,— говорит джигит, бережно беря папиросу,— спасибо. Я лицо помню, как воробья. Муравья от муравья не отличишь, а воробья можно. Я совсем русский, вот курю, вот пью, вот читаю «Коммунист». Вот теперь женюсь на русской, на Маруське. Ей денег не надо. Очень хорошее дело.

Он обводит чайхану блуждающими глазами. Русский оглядывает чайхану тоже. В углу сидит с печальным лицом узбек, что ехал с ним на извозчике, поникший, усталый. Русский спрашивает:

— Джигит, где это было?

— Что было, а?

— Где тебя ограбили?

— А-а,— тянет джигит.— Ак-Рабат. Перевал Ак-Рабат — знаешь, а?

— Ага! Будем спать! — говорит русский.

Джигит докурил папиросу, плюнул на нее и бросил в проход.

Уже совсем поздно, народу все меньше и меньше, хозяин ушел спать, пересчитав чашки и чайники. Русская женщина вытряхнула самовар, подмела пол и тоже ушла. Чайхана покрыта спящими телами. Только у самого входа ковры пустуют. Лавочник уложил виноград в корзину, его костлявая фигура исчезла за углом. В чайхану заходит скучающий милиционер и разговаривает с туркменом. Они находят общих знакомых и завязывают беседу. Индус спит съежившись, как обезьяны его родины.

Русский с удовольствием снимает сапоги, ложится на спину, закидывает руки за голову и смотрит прямо перед собой. Лавчонки на той стороне улицы запирают. Часовщик, мясник и фруктовщик уходят друг за другом, как в процессии. Скользят последние прохожие. Несколько пьяных требуют чаю. Им никто не отвечает. Чилимщик, накурившись анаши, с безнадежным лицом проходит, спотыкаясь, угнетаемый видениями.

— Я ищу быка! — кричит он по сторонам.— Я ищу быка!

— Бык дальше,— говорит ему милиционер.

Русский постепенно засыпает. Ему уже видны таблицы, опросы, анкеты, доклады,— сверху падает что-то мягкое. Он открывает глаза.

Перед ним сидит большой синевато-черный кот. Он вылез из чулана и начал свою ночную жизнь. Он обходит всех спящих, приседая, как танцор, и ныряя, как рыба; он трогает спящих лапой и обнюхивает. Потом он садится перед горой чашек и мурлыкает. Он считает чашки. После каждого десятка он вертит хвостом. Чашки на месте все.

С улицы входят две собаки, облезлые, затасканные, задумчивые, они ищут объедков. Их лысые головы тянутся поверх ковров. Кот одним прыжком бросается к ним. Он гонит их по проходу, награждая оплеухами. Он прыгает на спину одной из них и рвет молчаливо ее худую шерсть своими беспощадными когтями. Собака визжит и, втянув уши, выбегает на улицу.

Кот садится и начинает умываться. Жара на него не действует. Он оглядывает спящих. Спят все? Нет, не все. Русский еще не совсем заснул. Джигит его явно притворяется спящим, а чайрикер в углу и вовсе не спит. Это непорядок, да, это непорядок.

Чайрикер лежит с открытыми глазами, и память выдувает чудовищные образы. «Ты напьешься воды кипящей»,— грозит ему неведомый голос. Он сжимается, как в тисках; духота полна безнадежности; он видит сквозь улицы, как горит странный синий огонь в машине у человека, окруженного зубами; он видит, как его любовь проходит по улице под покрывалом, и он, безумный, срывает его, но под ним чужое лицо, искаженное страхом. Он вскакивает со стоном. Никто не шевелится. Он опускается снова на ковер. Сомнение охватывает его, как цепи, зубы его начинают скрипеть. Друг обманул его: он продал свою дочь за дорогую цену, унес его деньги, его будущее, его подку-

пили русскне. Русскне — джадиды. Вот он среди них, у каждых ворот стоят милицнонеры, вот лежит один нз джадидов и спнт. Как могли взять они такую власть? Говорят, что их комнссар один пришел к самому Султан-Ишану, н сам Султан-Ишан заплакал и бросил свою внитовку к его ногам, н все его басмачи заплакали и бросилн оружне. Как моглн они взять такую власть? Вон лежит человек бумаги. Онн ходят нли с оружием, или с бумагой. От нних не убежишь. Он, чайрнкер, выбнрает... В голове его ходят теплые волны. Он устал; может быть, он даже плакал сегодня... Он засыпает.

Город уснул. Луна прячется, потом настает тоскливый серый рассвет. Где-то кричит осел; захлебываясь, ему подвывают собакн. Кот уходит по лестнице на крышу. Крыша — собрание дранки, досок, щепок, рухляди. Сквозь дыры видно небо. Крыша спит. Свисток проносится вдали.

Чайрикер на дне сонной пропастн. Летучая мышь задевает его голову. Едва заметная свежесть появляется в воздухе.

Чайрикер раскрывает глаза, над ним стонт человек с оскаленными зубами. Джигит русского касается его халата.

— Басмач,— говорнт он тихо, очень тнхо,— перевал Ак-Рабат, басмач. Перевал Ак-Рабат.

Чайрикер видит залитый шумом грабежа караван, толкотню, взвнвающихся на дыбы лошадей, толпу ограбленных.

— Ты украл у меня жену,— говорит еще тнше джигнт,— идн за мной.

Чайрикер встает, как лунатик. Души идут в Магометов рай по острню бритвы. Чайрикер чувствует, как он вступил на это острне. Он идет, почтн не разжнмая глаз.

«Разве так много временн протекло над головой человека, пока о нем вспомнили опять?» — говорит книга.

За громадным серебряным, холодным в сумерках утра, самоваром — узкий закоулок, уставленный рухлядью. Глиняные стены безвыходны. Джигит жарок, как выспавшнйся человек, но он не спал. Он угадал врага. Его страшная память, отличающая воробья от воробья, не изменила ему. Он вынимает нз-за пояса нож и пробует его остроту. Белая полоса ножа — единственная прохладная линия во дворе. Русскнй просыпается от того, что кот прыгает в ды-

ру с крыши прямо на соседний ковер. Кот садится на задние ноги, качается и оглядывается. Все спокойно. Нет, не все спокойно. Русский видит, как его джигит подходит к тому незнакомцу, что ехал с ним на извозчике, они шепчутся и уходят, но как уходят! Лица их мало похожи на человеческие. Они — темнее рассвета, и губы их искривлены. Он уже опытен в таких делах. Русский соскакивает тихо с ковра и в одном белье идет за ними.

На узком дворе джигит точит нож. Время есть, времени хватит. Не каждое утро убиваешь врага.

— Тохта! — кричит русский.— Стой! Тохта!

Джигит подымает невидящие глаза. Русский загораживает чайрикера.

— Эге,— говорит он,— я не дам его резать.

— Басмач! — шипит джигит.— Басмач! Я узнал его. Я вынул нож, уйди!

— Джигит! — говорит русский. Он в одном белье, но он не смешон.— Я не хочу, чтобы тебя сажали в тюрьму. В девять часов, не забудь, мы должны ехать. В девять часов нас ждут лошади. Работа, черт возьми! Провались все твои басмачи. Я буду кричать, придут люди. Есть советский закон. Знаешь советский закон?

— Нет советский закон,— кричит джигит,— есть мой закон.

Он краснеет, будто захлебнулся кипятком.

— Нет твоего закона,— спокойно говорит русский.— Убирай нож.

Он свистит, как только может. Чайрикер стоит, прислонившись к стене. Ему все равно. Сонный милиционер входит в закоулок. За ним двое-трое случайно проснувшихся и ночной сторож.

Джигит говорит, указывая на чайрикера:

— Басмач — собачья душа, басмач, вор, пыль,— и добавляет русское ругательство.

Чайрикера уводят. Джигит идет сзади и плюет ему в спину.

Ночь кончилась. Сквозь доски потолка проходят розовые потоки. Чайханщик разогрел первый самовар. Из ушей чудовища идет пар. Русская женщина подметает пол.

Индус молится про себя, прикасаясь неслышно ко лбу. На глади Ляби-хоуза круги и рябь. Водоносы пришли за водой, и вереницы бурдюков висят на деревьях, дожидаясь очереди. Прогремел первый экипаж.

Пришли мясник, часовщик, фруктовщик. Они гремят замками, откидывают ставни у своих лавок, открывают двери. Каждый из них погружается в темноту своего владения. Каждый появляется снова на улице, держа по мышеловке. В каждой мышеловке бегает мышь — серая, шустрая, испуганная.

Они несут их коту. Кот сидит у чайханы и хмурится. Сейчас он пойдет спать, его дежурство окончилось. Воздух наполняется прохладой, но тепло стелется где-то сбоку и прорывается из-за углов.

Мышеловки зачаровывают кота. Его раздражает мышья беготня. Первая мышеловка раскрыта. Мышь выкатывается, как катушка серых ниток, и кот глотает ее почти на лету и с радостью облизывается. Она слишком мала для утреннего завтрака.

Вторая мышеловка блестит перед ним рядами металлических прутьев. Мышь выходит осторожно, она хитрит. Хитрит и кот. Он берет ее зубами за шею и сейчас же бросает. Она идет тихо от него. Он догоняет ее и лапой опрокидывает на спину. Он возится с ней до тех пор, пока она не решается на отчаянный прыжок. Тогда он ловит ее на лету и ест медленно, задумываясь, пружиня хвост.

Третья мышеловка ему не нужна. Мышь может уйти. Он не хочет на нее смотреть. Мышь бьют метлой. Она падает на бок, ее подкатывают к коту, он смотрит беззлобно загадочными огромными глазами и уходит. Она ему противна. Он ушел не оглядываясь. Мышь поддают метлой, и она летит в пыль на дорогу.

Русский смотрит на часы. Какая досада: восемь часов. Наверно, этот джигит задержится в милиции. И зачем он пустил его конвоиром?.. Нужно через полчаса выходить. Там, за городом, ждут лошади, кишлаки, работа. По улице уже зачастили прохожие. Три халатника ведут человека в чесучовом разорванном пиджаке. Он хрипит и, равняясь с чайханой, просит:

— Дайте пить!

У него исцарапана щека и подбит глаз.

— Куда это ведут? — спрашивает русский.

Один из проводников отвечает:

— Женщину убил — чиркнул ночью.

Русский узнает человека, которого видел в милиции, когда брал разрешение на ночлег. Пиджачнику выносят чашку воды. Он пьет не отрываясь. Его уводят с мокрым

подбородком. Один из провожатых садится на край ковра и кричит:

— Ака — чай!

— За что убил? — спрашивает русский.

Ему вспоминается плакавшая женщина с красными узкими глазами. «Ах, так это та самая!»

— Жара,— отвечает халатник,— такой ночью кровь, знаешь, шипит. Нельзя человека дразнить такой ночью.

— Кошка,— говорит русский сам себе,— кошка. Одного ест, другим играет, третьего не хочет. Третий, выходит, я; рассказать дома, в России,— не поверят, романтика.

Мимо проходят служащие. Они в белых и клетчатых брюках на голое тело, в одних рубашках, без шляп, ноги в сандалиях. Прохлада уже исчезла, начинается горячий день. Русский вспоминает женщину, оставленную в Самарканде, и начальника, что ждет его. В нем вспыхивает необходимость рассуждения.

— Если бы не мы,— говорит он,— если бы не революция, здесь ничего бы с места не сдвинулось.

Он с удовольствием закуривает папиросу у проходящей советской барышни. Он с удовольствием думает о статистических таблицах, которые привезет в Самарканд. Не забыть проверить стремена, они всегда их делают длинные, и обязательно после поездки переменить джигита.

Хозяин несет ему чайник свежего чаю и мягкие лепешки. Неожиданно кот вспрыгивает ему на колени и трется головой о грудь.

Внезапная брезгливость пробуждается в нем. Он сбрасывает кота, говоря:

— Уйди прочь!

1927

БИРЮЗОВЫЙ ПОЛКОВНИК

Длинный пес по привычке рванулся к хозяину, не дочесав бока. Цепь, укрепленная на проволоке, перелетавшей через весь двор до самой калитки, ответила визгом и скрежетом на его прыжок.

Бывший полковник Ведерников шел через двор умываться. Полотенце с вышитыми петухами обвивало его шею. Шагал он по-военному, как на смотру,— черные туфли шлепали в такт, руки равномерно взлетали, ровный огонек дисциплины мигал в глазах.

— Здорово, Кубилай! — приветствовал он пса, опуская руку на его курчавую спину. Кубилай, как всегда, задохнувшись от рабского восторга, закрыл глаза и, сгибаясь, ловил языком рукав полковничьей рубахи. Но водопровод тоже имел право на внимание.

Полковник всегда умывался с удовольствием. Он старательно смывал ночное расслабляющее тепло, он смывал свою заметную старость. Холод горной воды давно был союзником его шафранного, высохшего тела. Он вздрагивал, как от укола, когда представлял себя лежащим в соломенном кресле ненужной, тощей грудой костей, ломаемых всеми болезнями. Голый до пояса, стоял Ведерников, слегка раскачиваясь, обтираясь мокрым полотенцем.

У террасы ждала его коза, тыча в разрезы досок белую морду,— она зашевелила ушами, когда полковник взял ее за подбородок и сказал: «Смирно!»

Федосья Родионовна, полковничья экономка, кухарка и работница, принесла эмалированную кастрюльку. Полковник сел на корточки, подоил козу и отпустил ее. Самовар шумел на столе, полковник начал бриться. Выбрив

одну щеку, он сделал перерыв и посмотрел, нет ли порезов, прыщиков или маленьких красных пятнышек — он боялся пендинской язвы, обычной болезни Туркмении; он всю жизнь провел в этих горах и пустынях и всю жизнь боялся пендинки. Щеки, как всегда, желтели ровно; может быть, морщин за ночь прибавилось, но кто может учесть их незаметный рост и затейливость их мелких изгибов?

После чая полковник подмел двор и сад, медленно и задумчиво. Он не вел дневника, но за утренней уборкой вошло у него в привычку думать о мелких работах дня, о старых знакомых и даже о бессмертии души. Он остановился у калитки огорода, поставил метлу в угол, вернулся и вошел в дом.

На террасе возник вынесенный с неестественной предосторожностью почти квадратный ящик, зашитый в холст. Полковник оглядел ящик со всех сторон, проверил, плотно ли он обшит, покачал его — не трясется ли содержимое, принес веревок и начал перехватывать ящик крепкой веревочной сетью. Уже и веревки были исчерпаны и на смену им явился молоток,— тонкие серые гвозди легко вонзились в мягкое дерево, и молоток отчетливо отстучал свои удары,— но полковник все не мог отвести глаз от ящика, он ощупывал его со всех сторон. Он, отходя и приближаясь, смотрел на него так, точно в ящике сидел фокусник, который должен был разорвать холст, освободиться от веревок, вырвать гвозди и выйти наружу. Долго полковник созерцал ящик необычайно нежными взорами. Ничего не случилось, из ящика никто не появился.

Ведерников еще раз оглядел ящик и закричал нестрого:

— Товарищ Гурий, а ну-ка, товарищ Гурий!

Из кухни выбежал босой туркменчонок в синей рубахе и широких штанах.

— Амалякми! — закричал он.— Я тут, Денис Васильич!

— Поищи-ка Махмуда, да поживей, товарищ Гурий, одна нога здесь, другая там.

Махмуда не надо было искать. Махмуд ждал со своей арбой на улице. Он никогда не опаздывал, это не его привычка. Он охотник,— охота любит правильный глаз и проворные движения, он крестьянин и балагур,— поле обожает порядок, а в рассказах даже демоны подчиняются чувству меры. Махмуд уважительно поклонился полков-

нику, как человек другого племени, и неуклюже подал руку. Полковник ввел его в комнату, они, не торопясь, выпили по две чашки чая, потом оба осмотрели ящик еще раз.

— Пиши адрес там, кому надо,— сказал Махмуд.

— Адрес здесь,— указал полковник на край холста.— Ты вези осмотрительно, не тряси, ради бога, не тряси. Брод обойди лучше по ручью, там дальше ехать, зато ничего не попортишь, а в городе ты уж знаешь, куда его направить.

— Мы все знаем,— сказал, самодовольно топорща усы, Махмуд.

Они перенесли ящик на арбу с деловитостью санитаров, ступая не в ногу, обложили его соломой, будто он был из сплошного стекла, посмотрели, хорошо ли он лежит, и только тогда Махмуд щелкнул языком и взял в руки кнут. Полковник перекрестил ящик, и арба двинулась. Облака пыли сразу же взметнулись за ней. Казалось, Махмуд возносится на небо вместе с невероятным грузом.

Полковник смотрел вслед, все морщины на его лице помягчели, рот ребячески полуоткрылся, седые подстриженные усы сочувственно блестели. Потом он захлопнул калитку, и ящик уехал из его жизни навсегда.

Морковь, лук, красный перец и баклажаны жили и размножались вполне достойно и благополучно. Ведерников нагнулся над грядой толстых томатов, встал на колени и нахмурился. Он сорвал томат и разглядывал его глазами знатока. Верх томата был захвачен темной, жесткой, ржавой полосой.

— Бактериоз,— сказал полковник, обращаясь к яблоне.— Видала ты, томаты-то заболели,— бактериоз.

Он стал осматривать плоды один за другим. Его сердце успокоилось. Темной опухолью страдали только несколько штук. Он отобрал их, сложил в стороне, нарвал веток и развел костер. Зараженные томаты сгорали, шипя на свое несчастье, красная сердцевина их бунтовала в огне. Кубилай щелкал зубами мух и лаял на костер.

Тогда пришел Ревко, похожий на гнома с немецкой кружки,— лукавый Ревко с кривыми ногами. Ревко — большевик, мудрец и садовод; он смотрел, как полковник поливает огород и сад.

— Я не зря пришел,— сказал он, ударяя себя по колену: — Опять провели душу на муке. Ну что ты скажешь?

Где отруби из просяной, джугарной и где пшеничной — не отличаю.

— Я тебя научу, Макарыч.— Полковник поставил лейку на скамью и сам сел.— Возьми в рот горсть, попробуй языком. Будет колоть десны — значит, джугара есть, не будет колоть — вроде манной каши,— пшеничная. Просяная же мука пахнет пшенной кашей.

— Я тут живу, знаешь сам, без году неделя, непонятностей много. Ну, а у тебя что?

— Томаты заболели, вот пожег,— отвечал полковник.

Они сидели на скамье и курили; торопиться было некуда, в мирном порядке между деревьев за чужими заборами свисали черепичные и железные крыши домиков. Поселок Бирюзовый переживал величественный ленивый послеобеденный час. Назывался он Бирюзовым за отчетливое голубое небо, стоявшее над ущельем. Голубые горы шли в разные стороны от него, и только рыжая мгла дальнего хребта указывала на страну другого цвета. Там лежала Персия. Голубые бычки ползали по скатам гор, голубая пыль вдалеке окутывала овечьи спины, голубые голуби сидели под крышами или бегали по дворам, уступая дорогу петуху. Голубыми прозрачными шарфами хвастались девушки-колонистки. Голубые глаза северян, пришедших сюда и поселившихся в ущелье, переходили по наследству с немного скучной аккуратностью. День проходил, незатейливый и голубой, огород, сад и двор — на такие части распадался голубой день,— и, как их не тасуй, они не становились разноцветнее.

Когда же вечер зажигал желтизной лампы столовую, Гурий — малый, воспитанник Ведерникова,— приносил с собой кожаную тетрадку, и полковник учил его, как люди складывают цифры, умножают цифры, делят и вычитают цифры и что из этого получается. Он объяснял Гурию, как движется луна, подобная старому дивизионному генералу, ушедшему в отставку, как рассыпным строем падают звезды, как формируются полки облаков, и Гурий любил чуждую неожиданность ведерниковских образов, потому что тогда самые обыкновенные предметы теряли свою устойчивую внешность и делались страшными. Гурий от этих уроков впадал в восторженый страх и начинал писать справа налево по-туркменски и мазал и чертил в тетрадке, пока полковник не отсылал его спать.

Потом полковник, как всегда, стелил постель, снимал гимнастерку и вынимал из стола тяжелый альбом, испи-

санный наполовину. Со стен нагло улыбались полуголые красавицы, приложения вымерших журналов, рядом с ними пестрели виды живописных мест. Полковник брал перо, обтирал его суконкой и приготовлялся работать. Но иногда его ночное творчество прерывалось в самом начале. Дверь скрипела, и высокая Федосья Родионовна, качая желтой распущенной косицей, говорила резким раздельным шепотом:

— Если идете ко мне, так идите сейчас, я вас ждать не буду. В какую рань встаешь-то ведь, с петухами.

— Слушаю. Иду,— покорно отвечал он.

Лишенное всякого своеобразия шоссе имело прямое назначение: приводить из города в поселок Бирюзовый, закинутый на самый глухой конец Советского Союза. Ущелье, по которому ведет шоссе, еще не исчерпало свою природную ненависть к порядку. Каждую весну оно объявляло новую войну — скалы падали внезапно, как взорванные бастионы, и заваливали дорогу холмами мусора: ручей, раздув свои голубые мускулы, ломал шоссе, и сотни тонн утрамбованного, примерного, казенного песку возвращались к беспорядку своих собратий. Джунгли сопровождали шоссе до самого поселка; они набегали зелеными ямами, холмами, выступами, они заметали все следы, готовы были на самое дерзкое, рвали колючками одежду, поражали глаз ослепительной путаницей ветвей, царапали руки. Неожиданная страстность этой зеленой державы ошеломляла. Огромные пчелы, присев на берегах единственного ручья, как пилигримы пили воду. Их брюха раздувались, они не могли лежать от тяжести. Тысячи жуков бегали между ними, сражались, хоронили друг друга и пировали над трупами. Племена птиц шумели, каждое по-своему, кабаны ломились, не спрашивая дорог, козы по-цирковому прыгали с утеса.

Что касается растений, то золотой сияющий зверобой, рабочие ветви арчи, веселый странствующий актер — звездный фиолетовый касатик; красный тюльпан, добряк, страдающий ожирением сердца; белые султаны ковыля, марширующие вразброд; розовый, как щеки на севере, чертополох; угрюмец астрагал, одетый в хаки — чиновник джунглей; белый и желтый шиповник; тополь и клен, аяксы ущелья; крушина, розовый горошек, дикий виноград, желтые шарики лука и все бесчисленные безымен-

ные кусты и травы — были свидетелями великой жизни ущелья.

Среди них вставали скалы, редуты, гостиницы, базары из камней. Они входили в чащу, братаясь с ней. Мягкие очертания их были исполнены предательства.

Их крайний выступ низок и доступен любому любопытному. Если человек вступал в джунгли, глушь садилась рядом с ним у костра ночью, она же будила его утром первым криком птицы, она врывалась в его уши днем во время неторопливого празднования ежедневного трущобного действа. Джунгли ненавидели шоссе. Джунгли считали его палачом зеленой свободы.

— За тем ли вы пришли сюда, полковник, чтобы отвести душу или просто рассеяться?

Он шел не один. С ним рядом шагал бывший ротмистр Бакланов. Хлопая себя веткой можжевельника по сапогу, он просил у полковника полтинник на выпивку.

— Все пьешь, брат? — укоризненно говорил полковник.— Куда в тебя льется?

— Сам не знаю. Как в Панамский канал. Не могу не пить. Ну, дай полтинник.

— Что же ты пьешь? — допытывался полковник.

— Что придется. Керосин не пью, до ханши доходил. Русскую горькую больше употребляю. У тебя дома, наверное, есть?

— Из лекарственных соображений пью рюмку перед обедом. Запасов не держу. А тебе пить нужно перестать. У тебя вид, посмотри, что у летучей мыши.

Ротмистр недоверчиво наклонился над ручьем. В полосатом стекле возникло лицо нового Нарцисса из бывших пограничников. Но струйки воды мутили очертания, и выражение лица менялось, переходя из синевато-серого в черный и наоборот.

— Я в папашу,— сказал ротмистр, отворачиваясь от ручья,— старины держусь. А ты что — не пьешь, не ешь, на воздухе гимнастику ломаешь? Сто лет жить хочешь? Зачем? Философический вопрос: зачем? В партию запишись.

— Был,— сказал с достоинством полковник.— Выключили.

— Знаю. Еще попробуй раз. Ну, дай полтинник. Томаты продашь,— получишь барыши. Ты ведь кунец, а я безработный.

— Будет,— отвечал полковник,— посидим лучше.

— А сколько дашь, чтобы посидеть?

— Двугривенный дам.

Они сели у ручья. Ротмистр, помахивая веткой, продолжал:

— Нет, ты все-таки скажи: зачем стараешься? Мы здесь одни. С каждым днем ты ближе к смерти. Детей у тебя нет. Туркменчонка завел, бачей, что ли. Так нет, у тебя Федосья Родионовна есть. Пороков ты не имеешь.

— Я имею задачу жизни,— сказал значительно полковник.

— И я имею,— сломав ветку, молодцевато ответил ротмистр,— я мечтаю десятого барса убить. Девять штучек — вот таких желто-серых с пятнышками, боже мой, жизни мною лишены. Девять шкур дома валяются, то есть простите, ваше благородие, больше их, конечно, нет, ушли-с, со временем, а сколько я из-за них крови попортил, тропок, берлог, ям излазил,— будь им пусто,— а десятого все-таки кокнуть хочется. Башибузук — зверь, царственный призрак власти этот зверь носит в себе вместо царя, которого нет.

— Постой,— сказал полковник,— это не то. Я хочу, понимаешь, это все вот,— он обвел ущелье рукой, как пророк иудеев страну обетованную,— это все...

— Не понимаю,— зевнув, сказал ротмистр.

— Это все,— продолжал полковник,— иначе говоря, леса, ручей, горы, дичь, глушь, барсов твоих и прочее — истребить, уничтожить, а здесь взамен того развить промышленно-культурный угол.

— Как угол? — сказал обиженно ротмистр.— Ты не серди меня.

— Кустарничество природы заменить электричеством.

— Лавочку открыть здесь? — ответил ротмистр.— Не позволю.

— Тебя не спросят,— громко и строго ответил полковник.— Я разработал уже проект.

— Ну это, знаешь, мошенничество. Не ты это ущелье делал,— обидчиво сказал ротмистр.— Еще посмотрим.

Полковник, не отвечая, поднялся с камня.

Ревко пил с блюдечка, стараясь не попадать пальцами в чай. Бакланов сидел против него, качаясь на стуле, размахивая красными руками, а Федосья Родионовна, усмехаясь ротмистру, отодвигала от него пустую рюмку. Пу-

стота рюмки уязвляла его, и он начинал снова поход на Ведерникова.

— Ну, расскажи, расскажи, как это тебя выставили из партии. У тебя это в красках выходит. Реформатор! Природу уничтожить хочет. Подождешь! Ну, расскажи.

— О чем говорить? — вступился Ревко.— Партия знает людей. По нашим дебрям, тут полковник старой службы — это прямо сама контра.

— Ну, вот сказал,— захохотал ротмистр.— А его проект знаешь? Америка? А все-таки его выставили.

— Бакланов, ты не шуми.

Полковник оставил стакан, желтые щеки его сузились. Он подвинулся так, точно хотел взлететь, увял и быстро заговорил:

— Восстановим истину. Когда меня позвали на суд Пилата, то спрашивали: «Чем занимаетесь?» Тебя бы так спросили, а? Побоялись бы. Да. Так я читаю политграмоту красноармейцам. Не поверили, но это был факт доскональный. Я политграмоту в ту пору знал наизусть. Например, каково было поведенье буржуазии?

— Положение ее было подлое,— сказал ротмистр.

— Я говорю — поведение.

— Ваше благородие, еще рюмочку соблаговолите,— просил ротмистр, и стул под ним скрипел так, точно присоединялся к просьбе.

— Дать, что ли? — подмигивая, сказала Федосья Родионовна.— Уж напоследок.

Полковник махнул рукой, поймал комара и швырнул его в лампу.

— Чудак же ты, Бакланов, как я посмотрю,— сказал Ревко,— служил хорошо в погранохране, а и тебя выставили. За что, спрашивается? За пьянство, за несоблюдение сознательного образа. Служака ты ситцевый, когда пьешь.

— Поведение буржуазии было подлое,— проговорил ротмистр, опрокидывая рюмку в рот,— а я — последний буржуазный огрызок.

— Иди к черту! — спокойно сказал Ревко.

— Слушай, Бакланов, спрашивали меня происхождение, потом чин,— полковник. А до революции? — Полковник. А до войны? — Полковник. Да вы что, говорят, товарищ, родились, что ли, полковником? Нет, говорю, друзья-товарищи, но прошу принять во внимание: я старик и мне шестьдесят четыре года. Профессия? — Управ-

лял областью, помощник самого Фазанчаева. Культурнейший был человек, деспотического слегка нрава.

— Они, поди, посмеялись?

— Бакланов, осади! — сказал Ревко.

— Они удивились очень, что я такой чин имею и остался недорезанным. Говорят: «Четыре сбоку, ваших нет, а вы политграмоту преподаете. Где же смысл современной жизни? Это вы показываете вид, глаза отводите, и мы поверить вам не можем. Дайте что-нибудь от чистого сердца». Тогда я встал и говорю: прошу занести эти слова в протокол и проверить меня предметно. Три часа проверяли, единственная неосведомленность была в политической газетной жизни, но московских газет здесь не найдешь вовремя. В остальном коллективный дух мой восторжествовал, поправ прошлое. Они смутились и исключили меня только за происхождение, но без ссоры, очень извинялись: не можем не исключить, потому что здесь кругом пустыни, людей нет стойких, а вы слишком большой обломок — это я-то — большой обломок старого строя, я.— Он подавился чаем.

— Не волнуйся, Ведерников,— вмешался Ревко, перевернув чашку и кладя на нее кусок сахару.— Ты пиши себе про то, что знаешь, проект будущего. Действуй на мирном фронте, обиды тут нет, а здесь в самом деле пустыня. Я сам потерпел по службе однажды за дело. Нужно было сотворить окоп кольцом. Стали мы рыть. Мать честная! Кости пошли, камень дикий, глядим — гробница обнаружена в кургане. Позвали из резерва сейчас людей, целый день возились, подрыли, чтоб целиком, значит, гроб поднять, а в самую тонкую минуту все плиты возьми да и рухни. Покойник костями как брызнет в стороны, едва их пособирали. Хорошо. Отрядили отряд и в штаб дорогого покойничка, в дивизию послали. Ходим и думаем, как благодарность будем делить. И приходит на третий день из штаба дивизии приказ, и в том приказе дорогим товарищам и Ревку в том числе выговор за отклонение от служебных обязанностей без особой цели и при том приказе дорогой покойничек уже в виде безобразной груды костей для возвращения в первобытное состояния. Вот какова история.

— Я всеми силами прошу меня использовать,— возгласил Ведерников,— я удивительно умею людей в руках держать. Я хивинского хана в руках держал, даже закричал раз на него. Бухарский эмир умывальник мне пода-

рил, что из Парижа привезли ему. Я знаю эту пустыню, как никто.

— Я, отец, лучше знаю,— сказал ротмистр, делая ужасное лицо,— я все тропы здесь ногами обтоптал. Девять барсов все-таки уконопатил. Сейчас бы свеженького под пулю, спустил бы его в городе, дали бы монету, неделю гуляй — не хочу. На финьшампань перейти можно.

— Так-то вы свою жизнь и прогуляли,— заметила Федосья Родионовна, убирая чашки в буфет.

— Вы не можете понимать меня, Федосья Родионовна. Вы женщина, философический вопрос для женщины лежит не в этом.

— Посмотрю я на вас,— сказал, вставая, Ревко,— два ребенка, блохи вас кусают. Но одного я за ученость старости могу уважить, а ты — мужик золотые руки, а рот дерьмо. Ну что с тобой делать в свежем обществе?

— Поставить к стенке,— заревел ротмистр, ударив кулаком по столу.— Пусть я за барса для тебя пойду, я его, а ты меня, идет!

— Дойдешь до ручки — поставим,— тихо сказал Ревко.

— Дикость во мне бродит — не приведи бог,— успокоившись, говорил Бакланов,— а мало я пользы принес? Контрабанду ловил караванами целыми, что, скажешь, нет? — Ловил. Гнезда их открывал? — Открывал. Ходил на них, на крохолей или фазанов? — Ходил. Кто все это делал? Ты, что ли?

— Да что я,— отвечал Ревко,— я здесь новый человек. А что ты — алкоголик,— видно с трех шагов.

— Ты — городской человек, храбрость у тебя не настоящая. Погубите вы божий дар — пустыню. Вон он первый,— кивнул он на полковника,— а мне пустыню жалко. Что она вам сделала?

— Не задирай меня,— сказал Ревко,— не задевай мою фамилию, а насчет храбрости, может, мы одну соску сосали.

— Идет,— закричал ротмистр,— вдвоем на десятого барса, а? Даешь десятого барса? Другом будешь на всю жизнь.

— Горячий ты пес, Бакланов,— сказал Ревко.— А почему мне на барса не идти? Кошка как кошка, только громкая.

Ночь. Окурки лежат уже рядом с переполненной пепельницей. Большой альбом полковника раскрыт. Записки требуют исправления — примечаний. Тени великих художников стоят за спиной Ведерникова.

Один только первый лист свободен от сплошного текста. Он несет на себе тяжесть эпиграфа: самое дорогое существо в мире — рабочий коммунист, самое дорогое вещество здесь — вода; посмотрим, что могут сотворить эти две силы за сравнительно короткий срок. Над эпиграфом название: *Схема в виде рассказа, или Будущее Бирюзовского поселка через двадцать пять лет.*

Полковник откидывается в кресло. Творчество не пускает его ко сну. Барышня с олеографии соблазняет его розовой грудью, но барышня сегодня не имеет успеха. Ведерников трепещет. Он перечитывает тексты, еще далеко до конца. Как трудно быть пророком в своем ущелье! Здесь живут всего двести человек, гремят джунгли, ущелье на сорок верст грозит обвалами и наводнениями, кабаны точат деревья, волки нападают на пастухов, нижние выступы скал доступны любому любопытному. По этим выступам он уже провел трамвай, он уже выселил всех рабочих на вершины гор, он уже уничтожил зеленую империю джунглей, но является вопрос — откуда достать людей? Людей? Он ощущает в себе ярость Саваофа.

«Население поселка,— пишет он,— путем поднятия средств рождаемости достигнет десяти тысяч человек. Будут пущены в ход все научные способы. Значит, с этим покончено...»

Он закончил неделю назад водопроводы, огромные дома-общежития; электрификация близится к концу,— можно идти дальше; важно предусмотреть мелочи. Рабочие одеты в одинаковые шелковые блузы, постройка блуз и штанов производится механическими портными в коммунистических швальнях. Ни одного бранного слова, всюду чистота, электрические веера-опахала, устроенные под потолком, плавно качаются.

«...А водочки-то и нет».

Откуда взялось это в тексте? Освежить главу. Ах, это вспомнился Бакланов. «Это надо пресечь в корне. Чего ты, брат ротмистр, захотел?» Полковник макает перо в самую гущу чернил и пишет начисто.

«В 1932 году был последний случай неорганизованного пьянства. Один зав праздновал годовщину службы, засиделся, ведь это редкость. Ну, с радости и напился...

Вино и спирт можно достать только в главной коммунистической аптеке...»

— Отомстил,— говорит полковник. Он отсидел ногу, вытащил ее из-под стола и начал растирать. По ноге ходили мурашки, нога была старая, сухая, слабевшая с годами. «Это надо принять во внимание».

«В будущем люди будут ходить без ног. Пневматические колеса, привязанные к ступне, обладают скоростью 25 верст в час. Пока достаточно. Кроме того, омолаживание доступно любому из товарищей, независимо от пола и возраста. А как они будут умирать — это можно переработать в примечаниях,— думает полковник,— смерть не такой важный вопрос, если люди живут нормально до ста лет...»

Теперь само ущелье. Озеро. Да, конечно, необходимо широкое озеро,— озера вообще нет в ущелье, воды вообще в ущелье маловато, кроме ручейка, ничего нет. Потому-то озеро и должно быть. Хорошая свежая лужа, ее нужно населить.

Он пишет на полях для памяти:

«Рыба в озере: лопато-зуб,
сазан,
караси (пожирнее),
форель.

Желательны моторные лодки. На выступе над озером научное кино, по коммунистическим праздникам конкурс ораторов».

Лунная тишина лежит в доме. Какая-то мошка бродит по голове полковника и смущенно звенит. Он тщетно ловит ее.

«Ущелье сейчас — очаг малярии. Болезни — они очень живучи. Необходимо оговорить: малярия как болезнь редко, но еще бывает, так как причиной тому служит слишком долгое пребывание товарищей коммунистов в садах вне рабочего времени».

Следующий параграф — шелководство. Блузы и штаны строятся из шелковых материалов. Здание уже готово у него, но упущена техника. Он пишет: бараки для выкармливания родовитых червей снабдить лифтами, чтобы доставка в третий этаж коконов происходила незамедлительно.

О, тяжелая и сладкая ночь организатора! «Если еще эта девица будет дразниться на картинке, я пущу в нее

чернильницей»,— думает полковник, поднимая глаза от страниц будущего.

Малейшее упущение потом скажется как бедствие. Должен человек есть рационально или нет? Должен. А почему об этом нет нигде указаний, как будут люди есть через двадцать пять лет? Здесь не Европа, он прожил здесь шестьдесят лет с лишним, и местные жители все шестьдесят лет ели руками и руками едят сейчас.

«Оставить этот вопрос открытым»,— пишет он.

Распределение меню — дело легкое. Рабочие-коммунисты получают от шести до восьми чай, кофе, молоко, яблочный сидр, разные холодные закуски. От двенадцати до двух обед из двух блюд и фрукты. От шести до восьми то же, что и утром. Прохладительные напитки отпускаются во всякое время с шести утра до девяти вечера как в столовых, так и на квартирах.

Но ведь они избалуются, они захотят спать до десяти часов. Шалишь! Он думает минуту и записывает: все кровати снабдить пружинами, в пять часов утра свертывающимися автоматически, несмотря на положение спящего.

— Это резон,— говорит он, закуривая. Он медленно перечитывает страницы. Ущелье за стенами его дома дрожит от ярости. Ничего, оно будет посрамлено. Тут глаза полковника встречают вызывающую красоту олеографической девушки снова. Он пускает три кольца дыма: все люди, нельзя их лишать прелести существования. Закон размножения требует тоже уважения. В какой параграф это можно вставить? Ах, вот! Есть! Общественный сад — что загс. Загс — это акт регистрации, уважаемые люди, сейчас,— он сам читал в газетах,— и те требуют приятной обрядности и уютной красоты. Полковник вооружается снова пером.

«...В общественном саду сделать три аллеи: аллею встреч из кипарисов, аллею вздохов из самшитов и аллею свиданий из мимоз».

Вопрос урегулирован.

Ведерников становится строгим и неподкупным. Как трудно одному, какой штат сотрудников имел старый бог, когда он сооружал вселенную. Как раз кстати: вопросы управления, на этом можно закончить ночь. Уже рассветает. Кубилай на дворе звенит цепью.

«...Высший совет работает шесть часов в день. Секретов ни от кого нет. В главной конторе имеется жалобная книга, где все могут писать что угодно. Жалобы решаются

большинством голосов. Несправедливости места нет. Случайные злоупотребления (тут приложить список: кражи, убийства из ревности, неприличная брань и прочее) незначительны. Ими ведает верховный суд Республики». Точка.

Лихорадка творчества кончилась. Ущелье уничтожается все больше с каждой ночью. Но разве эта глушь поймет полковника? Ветки стучат в окна, точно говорят: погоди, погоди... Он бережно закрывает альбом и гасит лампу.

Откуда началось невероятное увлечение полковника Ведерникова? Почему понадобилось ему изменить лицо земли до неузнаваемости, истребить покой пустыни и гор, с которыми он прожил всю жизнь, проводить ночи в легкомысленном растрачивании собственных фантазий, похлопывая по плечу неподвижность, окружавшую его? Переворот в душе полковника совершился не в октябре, но много позже. Была сделана внезапная ревизия души. Оказалось, что до революции пустыни были пустынями, тишина — тишиной и ничего не предвиделось, не от чего было даже вести счет времени. К политграмоте он плыл через океан скучной обыденности, и вдруг все ветхие законы мира оказались сдвинутыми в этой бумажной Америке, что появилась в его столе. Он нашел мост, на котором устроил встречу сначала с солдатами, им он говорил всю жизнь: поправь фуражку, подбери живот, вычисти сапоги, говорил не грубо, но строго, и больше ничего. И это кончилось. Теперь он раскрывал красноармейцам книгу, которая перетряхнула его самого. Политграмота вернула ему покой и равновесие. Два года тому назад пустыню осматривал товарищ из центра. Было у него простое, круглое лицо и большие глаза. Он осматривал все спокойно, не нуждаясь в почете, но полковник видел, как все тянулись к нему, и он отвечал на все сейчас же и очень уверенно.

Товарищ из центра спросил человека в кавалерийских штанах, следовавшего за ним, почему он не взял в штаб такого спеца, как Ведерников.

Бригадный ответил почтительно, что полковник стар, по слухам, имеет геморрой и одышку, и служба была бы для него обременительной.

— Как вы смотрите на это, товарищ Ведерников? — спросил его большой большевик.

— Товарищ командир,— отвечал полковник,— это

верно, одышка у меня есть, слух о геморрое пока не соответствует действительности, но ездить верхом мне трудно. Разрешите мне сделать доклад о будущем этих мест в категорической форме...

Тут товарищ из центра пошел с ним рядом, и за ними шла толпа любопытных и сопровождающих лиц. Они проходили как раз мимо исполинского платана, семь стволов коего уходили в зеленую тайну листвы, и если поднять глаза к его вершине, то листва целым зеленым взрывом летела в небо. Там, где разветвлялся ствол, на высоте человеческого роста темнела природная беседка. Ведерников указал на нее.

— Покойный губернатор Фазанчаев садился здесь лет двадцать назад с дамочками пить чай наедине, и дерево было закрыто парусиной с шумящим кумачовым верхом. Там стояли стулья и был даже устлан пол.

— Любопытно,— сказал товарищ из центра, задерживаясь у дерева.

— Теперь дерево вернулось к естественной жизни. По старости лет оно нуждается в музейном охранении. Надо следить, чтобы вырубались ветви, снималась гнилая кора...

— И что же? — спросил товарищ из центра.

— Кто освободил дерево от дамочек и излишеств губернатора? Освободила пролетарская революция, многоуважаемый товарищ командир.

Большой большевик поднял брови.

— Разрешите, чтобы не занимать вашего времени, представить вам доклад о будущем этого места в письменной форме.

— Хорошо,— сказал товарищ из центра, прощаясь с ним, и, увлекаемый служебной толпой в другую сторону, отошел от платана.

Через два дня, когда товарищ из центра уже занес ногу в автомобиль, полковник, раздвинув ряды служебных и любопытных людей, подошел к автомобилю.

— Я прочел ваш доклад,— сказал ему товарищ из центра.— Доклад любопытный. Может, что и сделаем. Спасибо.

— Служу Республике,— ответил Ведерников, прикладывая руку к фуражке.

Приезжий товарищ не был брехуном. В поселке спустя немного времени появились два инженера. Они ежедневно совещались с полковником и лазили по горам, доб-

росовестно показывая пограничникам мандаты совершенного образца.

Каждый параграф полковничьего сочинения они снабжали комментариями, состоящими большей частью из ругательств, сооруженных на ходу при помощи терминов технического словаря и слов народной мудрости. Перед отъездом Федосья Родионовна наварила им галушек.

— Что же,— сказал полковник,— что вы скажете мне на прощанье?

— Я скажу вам на прощанье,— начал один из них, помоложе,— все, что вы написали, сделать можно, но какими средствами? Форда из Америки выписать, что ли? Вы говорите — трамвай, а тут жителей сто человек.

— Двести,— поправил полковник.

— Разве что в смысле учета будущего природного инвентаря...

— Конус ему в гиперболоид! — мрачно сказал второй.— Нас вчера чуть кабан не зарубил. Ничего не поделаешь, товарищ. Птичка треплется на ветке, такова природа.

Они уехали, выпив два самовара и съев все галушки. Кубилай охрип от лая и устал гоняться за ними.

— Это первые ласточки,— сказал полковник,— кабана испугались. Городские люди. Я буду писать подробнейше. Я сделаю все сам.

С тех пор редкая ночь не была творческой для Ведерникова. Даже Федосья Родионовна стала обижаться, что он пренебрегает ею ради чернильницы, и зло подсмеивалась за обедом и ужином над его бумажной любовью.

Он заключил договор с Ревко, открыл ему тайну своего альбома, и единственная машинистка Совета перепечатывала сокращенный труд полковника, не задумываясь над непонятными словами, и писала вместо: «паллиатив» — «локомотив» и вместо «баллон» — «бульон»... Потом рукопись отправилась в Москву к тому товарищу из центра, что осматривал пустыню со всех точек зрения, и там она исчезла безответно.

Двухлетний юбилей со дня отправки ее полковник праздновал, беседуя с Ревко. Ревко убеждал его, чтобы он не волновался, что рукописи в Москву шлют со всей России, и там установлена очередь на чтение.

— И я так думаю,— говорил полковник,— каждому охота свой медвежий угол поскорее привести к красоте ближайшего будущего.

Бакланов и приезжий метеоролог Сарычев сидели в ущелье у ручья. Ручей равнодушно гнал свою полосу. Сарычев мешал палкой в котелке, поставленном на два плоских камня. В котелке варилась черепаха. Вода кипела ключом.

— Ничего не выйдет,— сказал, плюнув, Бакланов.— Попробуйте-ка вылить.

Сарычев слил воду и положил черепаху на песок. Она высунула голову, огляделась и поползла в ручей. Ротмистр перевернул ее палкой на спину.

— Видали? Так третий раз.

— Отказываюсь понимать,— пробормотал Сарычев, вытянув нижнюю губу.— Что это за механика?

— А вот и механика,— ответил ротмистр.— Не варится — да и все, такая порода. Бросайте ее! Тут еще и не то бывает.

Сарычев поднял черепаху двумя пальцами. Она спрятала голову, отверстие закупорилось почти герметически. Он раскачал ее и зашвырнул в кусты. Ротмистр взял котелок. Они пошли, рассекая безжалостно джунгли.

— Товарищ Сарычев, я раз забрался в Персию, черт ее знает как: охотился ночью, незаметно границу перешел, все по щелям, с туркменом одним,— молод еще был,— за козами гонялся. Ну, заночевали в такой, значит, чертовой дыре. Утром просыпаюсь, смотрю: чернющий кабан стоит в кустах и глядит на меня. Я винтовку, бац,— промазал. Стоит он как невредимый. Я другой раз — бац! — хоть ты што. Промах, а он не шевелится. Неужели, думаю, с первой пули хватил, и только сомневаюсь. Подхожу осторожно, что б вы думали: камень. Умереть сейчас, из черного камня кабан, здоровенный...

— Я где-то про это читал,— говорит метеоролог, прыгая через камни.

— Да не могли вы читать, что вы мне рассказываете?

Ротмистр обиделся. Они молча пришли в поселок. Тихий плеск летней жизни имел свою звуковую таблицу. На вершине ее помещались редкие удары топора, неотчетливые голоса хозяек, кричащие петухи и ослиный рев, потом шли шаги, скрипение деревьев, разнообразная музыка дворов, и уже где-то совсем внизу таблицы пели комары и отряхивались листья. Над палисадниками свисали ветви ореха, клена, лоха. Кубилай подкатился к ногам гостей, над его пыльной шкурой играли мухи.

Полковник пил молоко с черным хлебом.

— Тебе пакет с почты,— сказал Бакланов.

Пакет был из города, куда Махмуд отвозил в свое время полковничий ящик.

У Ведерникова, отвыкшего от писем, выработалась привычка придавать каждому пакету особый сверхобычный смысл. Поэтому он не сразу читал письмо, а относил его себе в спальню и читал под вечер, когда все утихнет и он подготовится долгим дневным раздумьем к восприятию известия.

— Товарищ Ведерников,— сказал метеоролог,— вы человек культурный, о вас хорошая слава идет, современные запросы жизни вы верно ощущаете. Не хотите ли согласиться на одно предложение?

— Слушаю, с удовольствием слушаю,— протянул полковник.

— Он у нас вроде профессора,— сказал Бакланов.

— Слыхали вы, конечно, об облачности, о ветрах, об осадках. Мы вам поставим здесь дождемер, если вы согласитесь вести наблюдения. Ну, жалованье, конечно, ну скажем, восемь, девять рублей. Так как?

— Всей душой, всей душой,— заволновался полковник.— Гурий, попроси Федосью Родионовну самовар поставить. Единственное наше удовольствие и развлечение — самовар. Поговорить ли, посидеть ли — самовар... Это скучно, но что же поделаешь? Если бы здесь жили писатели из самых пишущих — и они бы только писали про самовар. Какой это быт... Вот, скажем, лет через двадцать пять...

Позже, когда стемнело и Гурий разложил свои тетрадки, полковник велел ему убрать их.

— У нас сегодня урока не будет, повтори старое.

Гурий, обрадовавшись, убежал на двор играть с Кубилаем. Полковник принес свой заветный альбом, но, прежде чем раскрыть его, заговорил о поселке:

— Живут люди, конечно, везде, но у нас скудность воображения особенная: молоко, коровы, хлеба немного, дыни жрут, дети бегают. А рядом ущелье видали? Богатейшая вещь! Воды нет — врете, друзья мои, а ручей, весной — такая силища, не знаешь, куда спасаться. Летом пересыхает, сделайте, чтобы не пересыхал; людей нет, постарайтесь — народятся. Так, в общем, я позволил себе в подмогу центральным органам собрать все свои знания и, простите за неточное слово, свою фантазию в общих чертах. Разрешите, я оглашу...

Тут полковник откашлялся и начал читать высоким голосом свою схему в виде рассказа. Он читал ее как декрет, впадая в пафос, указывая глазами на особый смысл того или иного параграфа.

Сарычев слушал внимательно, удивляясь убежденности фанатика, жившего в этом старом и сухом человеке.

Ротмистр вмешался, воспользовавшись паузой.

— Что ты все понаписал: завод, производство, а где же охота? Я без охоты сдохну. К чему мне твой яблочный сидр, от него только в животе булькает. Это ты про пьянство меня поддел, что ли, что водку стал в аптеках продавать? Я знаю. Ты, пока не поздно, об охоте что-нибудь сочини.

— Сочинил,— сказал полковник,— вот фазанов будет в парке видимо-невидимо. Их бить запрещается круглый год. Они почти ручные, подходят и берут у желающих пищу из рук. Общая охота на них производится раз в год, в праздник годовщины Октября. И есть еще специально для тебя... Вот: благодаря запретительному закону вокруг северных прудов образуется густая специальная чаща, куда будут приходить барсы и даже тигры парами из Персии. Окружное общество охотников устраивает облавы во всесоюзном масштабе, на кои имеет пригласить всех лучших охотников республики.

— То-то же,— заметил ротмистр.— А все-таки, знаешь, скука будет желтая. Ну, я всех барсов перебью, а потом и сам застрелюсь от нечего делать.

Сарычев сказал:

— Знаете, у вас гладкий слог, очень свободный. Вы, верно, много читаете.

— Да,— отвечал Ведерников,— только писатели общегражданские меня не привлекают. Я читал политграмоту, но это слог сухой и научный. Мне писать им трудно. Я же искал мужественного и простого слова почти военного порядка.

Тут он встал и вышел.

Возвратясь, он положил на стол книгу в черном переплете.

«Неужели Библия?» — подумал Сарычев, ища крест на крышке, но креста не было.

— Я вам прочту отсюда несколько примеров образного слога. Первый пример: «Я заметил несколько лошадей, жалующихся на ноги. Приписываю это отчасти безобразному полу...» Как сказано, ни с чем не спутаешь! — Пол-

ковник вдохновился.— Или дальше: «При езде по улицам,— читал он,— казаки бьют жителей нагайками, сбивают с голов продавцов корзины с лепешками и фруктами, пьянствуют, приводят женщин и после зари производят в помещениях своих бессмысленный шум». Какая проза! Так только Гоголь писал. Вы посмотрите, как это внушительно и легко. А вот дальше: «Лошади должны быть наскаканы, а так называемую джигитовку, то есть чрезмерное нагибание тела, подымание с земли руками разных предметов и всякое бесцельное кувыркание как вредное акробатство воспретить!!»

— Да что вы читаете? — спросил Сарычев, но полковник гремел дальше:

— «Когда раздастся священный бой к атаке, в эту великую святую минуту артиллерия должна забыть себя. Артиллерия должна беззаветно лечь вся, точно так же, как беззаветно ляжет вся пехота, атакуя противника». Какая стихия! Это Шекспир, как я еще с детства помню, так писал.

— Да что же вы это читаете, черт возьми?! — воскликнул Сарычев.

— Приказы Скобелева,— ответил полковник.— Возвышенный организаторский был ум, слог его приказов послужил предметом моего подражания и ставится у военных за образец.

— Что же сделали вы с вашей рукописью?

Полковник рассказал ее историю. Ответа из Москвы не было. Ведерников поник. Буря, сотрясавшая его воображение, погасла. Самовар уже похолодел, нужно было ложиться спать. Ротмистр лег на террасе. Гостю полковник постелил в комнате, рядом со спальней. Сарычев долго не мог забыть декламирующего полковника, ротмистра, перевертывающего черепаху, потом все стало смешиваться, дерзкая нагота девушки, висевшей в комнате полковника, смешалась с удивительной сказкой о будущем поселка, написанной языком приказов. Его ухо зацепил странный лязг и визг на дворе. Ставни единственного окна были закрыты со двора, ничего нельзя было рассмотреть.

«Неужели полковник пилит дрова ночью с ротмистром? Вот уж парочка!» — подумал он. Заснуть было трудно. Наконец он все-таки ушел в сон, вдоволь наерзавшись в постели, но и сквозь сон он до утра слышал скрип пилы, то удалявшийся, то приближавшийся.— Что за

чушь,— говорил он сам себе, просыпаясь на секунду,— с ума они сошли, ночью пилят дрова!

Утром, идя умываться, он снова поймал этот звук охрипшей пилы. Он недоуменно выглянул из-за угла. Кубилай бегал на цепочке, цепочка была прикреплена к толстой проволоке, и, когда собака натягивала ее, проволока ныла, как пила.

Сарычев выругался с досады и подставил голову под струю воды.

Бирюзовое небо над поселком не омрачалось ни единой тучей. Высоко над грядами томатов, моркови, лука, над широкими листами табака стоял на серых ногах серый цилиндр. Это и был дождемер. Внутри его изогнулась перегородка, защищавшая воду от испарения. Он одиноко торчал, обреченный на полное бездействие, ибо дождей не было и не предполагалось в ближайшие месяцы.

Засуха давно уже выпила последнюю мутную воду из тощих канав; ручей в ущелье местами превратился в нитку; в фруктовом саду листва стояла слегка металлическая. Всюду носилась пыль. Ведерников заботился о дождемере, как о ребенке. Ежедневно утром в семь часов он шел к нему с табуретом, осторожно снимал цилиндр, ставил на его место запасное ведро и уносил дождемер в комнату. Дождемер был сух, как полено, состарившееся на теплой кухне.

Ведерников опрокидывал его над стеклянной коробкой, стены которой были изборождены делениями, выражающими высоту водяного слоя. Но так как никакого водяного слоя не было, то опрокидывать дождемер вообще не стоило. Тогда, качая укоризненно головой, Ведерников заносил в ведомость особые печальные знаки, удостоверяющие отсутствие дождя. Он обтирал дождемер и снова относил его на старое место. Он не виноват, что дождей нет, не мог же он лить туда воду сам. Жалованье 8 рублей 10 копеек он получал аккуратно. По истечении недели он собирал бюллетени, говорившие в один голос о безводии, и, сведя их в один трагический список, отсылал его в город. Он заставил Гурия и Федосью Родионовну проникнуться уважением к науке, но они снова потеряли его.

— Вот уж эта наука,— ворчала экономка,— ни за что деньги получать? Если так везде, то видать, куда народ-

ные денежки уходят. Пустое ведро под солнце ставить, это я и сама сумею.

— У тебя, Федосья Родионовна, не голова, а кастрюля,— отвечал раздраженно полковник и шел в сад собирать упавшие яблоки. Сад, покрытый пестрой сеткой теней, походил на зеленую беседку. Слегка похрустывая коленями, наклонялся Ведерников за ярко-румяными плодами, подымая их, нюхал тонкий аромат, шедший от свежей кожуры, сдувал с них пыль и землю и складывал в корзину. Приподнявшись еще раз, он взглянул вверх и вздрогнул. Перед ним стоял подошедший с беззвучностью призрака Ревко. Полковник знал хорошо все изменения лица этого большевика и садовода и сейчас удивился чужому и злому его выражению. Ревко сказал очень холодным голосом:

— Товарищ Ведерников, положь-ка яблоки, я до тебя имею дело. Нужда поговорить особым образом.

С этими словами он подошел к нему вплотную, положил руку ему на плечо и сказал, пристально глядя в глаза полковника:

— Эх, ты, а мы-то тебе верили!

Полковник выпрямился. Он почти надменно смерил Ревко. В правой руке он сжимал яблоко, левую он положил в карман старого серого френча и спросил:

— Что я сделал?

— Да вот, говорят,— холодным шепотом начал Ревко,— говорят, что у тебя богатство большое скрыто где-то...

— У меня богатство? — полковник пожал плечами.

— Драгоценная ваза, прямо сказать, ей цены нет, а ты ее утаил от всех про запас. Это дело, а?

— Ваза,— полковник выговорил это слово легко, оно было воздушное, немного теплое, продолговатое, как яблоко из его сада.— У меня нет вазы. У меня была, а теперь нет.

— Где ж она? — спросил Ревко, темный от волнения.— Ты знаешь, так не шутят. Мать честная, это народное достояние, а здесь, хотя и глушь, мы обманывать себя не дадим.

— Пойдем,— решительно сказал полковник, бросая яблоко в корзину и забывая ее в саду. Он, взволнованный, провел Ревко в свою спальню.

— Садись! — предложил он почти дружески.— Вот тебе ваза.

Полковник распахнул шкаф, раздвинул книги и вынул огромную фотографию. Ревко увидел бронзовую вазу

китайской работы, блистающего дракона, охватившего ее, лодки с четырехугольными парусами, китайцев, фигурные ворота, изогнутых животных, цветы, похожие на животных.

— Про это идет речь? — спросил полковник, садясь напротив Ревко.

— Дым-то не без огня,— пробормотал тот, удивляясь немного спокойствию полковника.— А где же она? — Он обвел комнату, думая увидеть вазу тут же, где-нибудь на столике.

— Эту вазу,— медленно и страшно волнуясь, говорил полковник,— мой сослуживец старой армии полковник Николай Романов, более известный под названием Николая Второго, получил лично в числе других подарков из рук японского императора как извинение за то, что один японец случайно ударил Николая Второго при его неправильном поведении в одной кумирне по голове тупым тесаком. Николай Второй, не имея природного дара ценить хорошие вещи, подарил эту вазу свитскому генералу Кособрюхову. Генерал Кособрюхов, умирая, завещал ее своему сыну Григорию, прозванному «Горчицей» за грубость и злость своего языка. Горчица проиграл ее мне в карты в тысяча девятьсот четвертом году при отправлении в Маньчжурию, где японский снаряд разорвал его на три части.

Ревко слушал, поворачивая фотографию во все стороны. Лицо его выражало недоверие. Узкие глаза его сверкали, он стал походить на лису.

— Означенная ваза стояла в моем кабинете тринадцать лет, и я изучил ее, как самого себя. Это была очень прекрасная и вдумчивая вещь. Человек, который ее сделал, много думал над собой и над жизнью. У него, несомненно, было здоровое сердце, а мозг работал, как у начальника генерального штаба. Французский археолог Кане давал мне за нее пятнадцать тысяч франков в тысяча девятьсот восьмом году и соблазнял меня всей роскошью Парижа, но я не отдал ее. В тысяча девятьсот семнадцатом году мой дом в городе подвергся исторически справедливому нападению вооруженного народа. Дом разнесли по кирпичу в порыве энтузиазма. Я лежал больным здесь, в поселке, и не знал, какая участь постигла вазу. Встав с кровати, я очень жалел, что такая редкость разрушена и исчезла, вместо того чтобы учить искусству новое, молодое пролетарское поколение. Я поехал в город и нашел мою вазу в мусоре с отбитыми частями. У двух

китайцев упали головы, и дракон потерял лапу. Я вазу увез сюда...

— Так,— сказал Ревко.— Налицо, милый человек, полное признание и полное сокрытие ценности. Вот она где — контра.

— Я не скрыл ничего, отвезя вазу сюда, я починил ее, я еще несколько лет наблюдал ее и все-таки вернул трудовому народу. Я стар, и мне некому оставлять ее.

— Знаем мы этот трудовой народ,— пробормотал Ревко.— Так где же ваза?

Полковник порылся в ящике и достал прямоугольный твердый конверт, тот самый, что привез ему Бакланов из города.

— Вот она,— сказал он.

Ревко развернул бумагу, и лицо его стало постепенно светлеть.

«Областной музей посылает благодарственный лист товарищу Ведерникову, Денису Васильевичу, за пожертвованную им древнюю китайскую вазу династии...»

Дальше читать Ревко не стал — не стоило. Послужной список китайской вазы окончился.

— Убери! — сказал Ревко мрачно.— Живи на здоровье! А ведь он сволочь.

— Кто он? — спросил полковник. У него похолодело чуть сердце, он даже оперся руками на стол и глядел согнувшись. Ревко положил фотографию на окно.

— Сам догадаешься,— сказал он, вставая.— Мне надо идти предупредить. Хорошо, что так вышло, а то ты попыхтел бы. На этот счет у нас строго. Свой глаз — алмаз, хотя и не всегда.

— Так это он? — проговорил полковник, задумчиво оседая в кресло.— Так это он донес?

Небо оставалось не запятнанным никаким подозрением. Поселок оправдывал свое название. Дождемер стоял в низменной компании овощей и заборов и академически скучал. Федосья Родионовна презирала его. Гурий подолгу смотрел на него, ожидая чуда. Чуда не было. В тишине огорода скрипели и хорохорились жуки. Серый, как дождемер, Ведерников, подметая двор, думал: «Ведь пойдет когда-нибудь дождь. Пойдет дождь, прибавится хлопот, попрошу прибавки. Скоро можно будет продавать яблоки. Почему из Москвы нет ответа?»

Многие мысли рождались у него, когда он медленно подметал свои владения. Кубилай ходил под проволокой, хватая метлу с остервенением неизжитой молодости.

Недавний разговор с Ревко мучил полковника до сих пор. Это было самое мучительное, что вошло в жизнь на старости лет. Если бы портрет полковника напечатали в журнале где-нибудь, всякий бы сказал, что это изображен путешественник по далеким странам,— такое было у него желтое и сухое лицо, объеденное годами, жарой, пустыней; теперь же он за эти несколько дней похудел и пожелтел еще больше.

Подымаясь вечером на террасу, он услышал, как хлопнула дверь в кухне, где жила Федосья Родионовна. Он хотел пройти в свою комнату, но за дверью в кухне заговорил вдруг Бакланов.

— Федосья Родионовна, выходите за меня, я не молод, вы тоже. Да разве я молод? Что вы говорите? Ну так выходите на время. Я не смеюсь, да вовсе же не смеюсь. Эх, ты сердитая?

Полковник кашлянул. Федосья Родионовна сейчас же закричала громче обыкновенного своего крика:

— Уйдите, ради бога, я вас скалкой вот! Козел какой! Времени не нашел, на ночь глядя. Вас там зовут. Ну-тка отсюда!

Ротмистр появился на пороге. Полковник, не подав ему руки, прошел в спальню. Бакланов шел за ним, как механический истукан, заражая воздух пьяным дыханием. Потом он вынул платок и долго сморкался, перебирая ногами. Полковник сидел лицом к окну и молчал. Ротмистр сел, встал, походил по комнате, потрогал олеографии с девушками, усмехнулся, расстегнул ворот рубашки и засмеялся. Ведерников молчал, лицо его укрылось в темноту.

— Денис,— закричал ротмистр,— Денис, на коленях прошу — уничтожь свою схему, дай я ее сожгу, проклятую. Сниться она мне стала по ночам. Не порти природы, Денис!

Полковник не отвечал.

— Ты гордый! — снова закричал Бакланов.— Ты с большевиками дружишь, ты через свою голову заручку имеешь, а я нет, не терплю их вовсе. И водка у них плохая, Денис, я у тебя в долгу, прошу прощения в таком случае.

Он взял папиросу со стола Ведерникова и сжег три спички, пока раскурил ее. Полковник молчал слишком тягостно. Ротмистр протянул руку, чтобы взять его за плечо, откачнулся и почти весело и молодо сказал:

— Я не про Федосью Родионовну думаю. Больно она нужна мне. Я баб найду. Я про вазу, про вазу, Денис.

Ведерников содрогнулся, он сделал непонятное движение.

— Денис,— продолжал ротмистр,— я про вазу только и говорю. Хотел обратно в погранохрану, гонят меня, а, гонят. Ротмистра Бакланова гонят из этого пустынного учреждения. Ну, что ты скажешь? Я хотел их подкупить, ах, ты, десятый барс — сорвалось!

Он неожиданно зачихал и полез за платком.

Ведерников встал и торжественно поднял руку.

— С кем я говорю? Это не слова бывшего офицера. Это пьяница, потерявший все святое.

— Верно! — восторженно загрохотал ротмистр.— В самый центр, Денис. Тряхнем стариной. Сейчас это что? Бродяга пришел в приличный дом и напакостил. Друг, тряхнем стариной! Соорудим кукушку. Кукушечку. Я как-никак ветеран этого края. Тебе тридцать очков вперед даю за старость.

Ведерников отступал от него в глубь комнаты, но ротмистр уже ловил его за рукав, за плечо, за грудь, умоляя и заискивая каждым движением.

— Старичок мой, губернатор, ваше превосходительство, кукушечку позвольте. За оскорбленье кровью отвечать, а? Как последний офицер российской его величества пограничной стражи требую удовлетворения,— сказал он мрачно, почти наваливаясь на полковника.

— Таких нет,— сказал Ведерников, оттолкнув ротмистра и выходя на середину комнаты.

— Не признаешь,— забормотал ротмистр,— по схемочке соображаешь? Сорок очков вперед, господин полковник, товарищ Денис.

— Говорю, как с чужим, слышите, сударь,— твердо выговаривая слова, пронзительно произносил Ведерников.— Секундантов нет,— обойдем правила. Я принимаю вызов.

Ротмистр, шатаясь, расшаркался.

— Федосья Родионовна через полчаса подает самовар. Гурия нет дома. Мы идем сейчас в сарай, а где оружие, а чем драться?

Ротмистр оглядывался, держась за спинку стула. Полковник поймал его взгляд и топнул ногой.

— Сударь, можете не искать. Второй донос не спасет вас и не устроит. Оружия огнестрельного я не прячу. Впрочем, у меня есть кинжалы, остаток коллекции.

Он, волнуясь, бросил на стол два туркменских клинка. Они были тупые и декоративные, как будто только что выпали из оперетки. Ротмистр захохотал, разрывая левой рукой ворот рубашки окончательно.

— На таких кинжалах можно скакать в Персию к шаху и к шахской матери,— сказал он, запуская руку в карман. На его ладони закачался истрепанный ветхий браунинг.— Хорошо, Денис,— сказал он, качнув головой на браунинг.— Здесь две пули,— добавил он немного разочарованно.

— Мы стреляем по очереди,— провозгласил полковник и, круто повернувшись, пошел на террасу.

У входа в сарай моталось на веревке белье. Они прошли между прохладных, ободряющих штанов и рубашек и остановились.

— Первый — ты,— сказал ротмистр, отдавая браунинг.— Ты оскорблен до глубины, а я, может, самой черной смерти ищу. Идем. Сто очков вперед.

Они вошли в сарай. Полковник зажег спичку и вытянул руку. В сарае лежало сено, грабли, лопаты, старые седла, дрова, железная кровать и много мелкой рухляди.

Ротмистр пошел сразу в самый конец сарая. Темнота взяла его за плечи. Спичка догорела.

«Сколько шагов здесь,— думал он, производя шум, подобный неумелому джаз-банду, задевая каждый шаг за какой-нибудь по-своему звучащий предмет.— Засыплюсь так, нужно присесть, выждать».

Сарай казался пустым и мирным. Даже мыши перестали возиться. Ротмистру даже показалось, что он в сарае один. И тогда, ужасно втянув голову в плечи, согнувшись и держась левой рукой за обломок какой-то бочки, он крикнул дважды: «Ку-ку», «ку-ку»,— и упал, ударившись головой о стену.

Выстрела не было. Он, не меняя позы, вытянул руку, нащупал пустое место впереди, снова закричал пронзительно: «Ку-ку»,— и лег на живот. В ушах колыхалась самая жирная, черная тишина. Выстрела не последовало.

«Ждет,— подумал он со злостью, трезвея,— ждет, сатана!»

Тут он встал, и кастрюля с полки упала ему на плечо. Он крикнул от боли и присел, потом прополз вбок, вскочил и, прижав руку ко рту, сквозь пальцы прохрипел: «Куку». Только эхо отозвалось слабым шумом. Тогда он стал кружиться, опрокидывая все на дороге, разметывая рука-

ми и ногами вещи, взрывая сено, крича «ку-ку» в самой смертельной темноте все чаще и громче, «Ку-ку» летело, ударяясь, как он, об стены, о вещи.

— Бей, бей! — кричал он, стоя с поднятыми вверх руками. Пояс его лопнул, и брюки были готовы покинуть его.— Я тут,— кричал он в исступлении,— бей прямо! Пли!

Он стал искать полковника. Ведерников распахнул дверь и вышел на двор. Ротмистр, весь в синяках, оставил сарай, придерживая пояс, потный и расслабленный.

— А,— говорил он, прислонясь к сараю,— чего ты, а?

Полковник обернулся к нему, бросил браунинг на землю и положил руки ему на плечи.

— Ты дикий дурак, а я — я тоже старый дурак,— сказал он, чуть не плача.— Подумай, мы-то ведь одни здесь из прежних зажились, двое, как пни. Что же, друг друга жечь будем, а? Есть будем, да?

Ротмистр поднял браунинг и сказал просто:

— Прости, старик, я — сволочь. Давай поцелуемся! Тоже кукушку выдумал.

Его шатало пьяное раскаяние. Они крепко обнялись. Федосья Родионовна закричала в темноту с террасы:

— Да где же это вы запропастились?! Самовар давно ушел, полуночники.

— Мы здесь,— закричал ротмистр,— я не буду пить чай. Я тебе за это,— он сказал в самое ухо Ведерникова,— я тебе за это барса принесу.

Трясти каждое утро пустой дождемер становилось позорным. Еженедельные бюллетени уходили, украшенные маленькими, чуть заметными знаками. Во время войны о таком положении писали глухими словами: «На фронте без перемен». Полковник готов был отдать четверть месячного жалованья за несколько минут самого жидкого, самого легкого дождя. Дождемер требовал, чтобы его опрокидывали ровно в семь часов утра, и не позже. Традиции Ведерникова тоже требовали этого. Жизнь становилась затруднительна и скучна.

Поселок Бирюзовый не замечал полковника вообще, имея быт нетребовательный и неподвижный. Коровы ходили по улицам утром и вечером; тихо разговаривали хозяйки; изредка проходили, выплевывая дынные семечки, пограничники. В чайной сидели аборигены из тех, кому некуда спешить и нечего делать. Проезжал туркмен на высокой холеной лошади; шли похожие на украинцев кре-

стьяне с мотыгами на плечах, в диковинных шароварах с красными кантами, в пыльных высоких сапогах.

Ревко ворвался, еще издали размахивая газетой. Он вбежал, спотыкаясь, на террасу, крича Федосье Родионовне: «Где товарищ Ведерников?» Полковник за домом выколачивал матрац.

— Клопы появились, что ты скажешь? От сухого климата очень яростны. А что в газете? Эй, Ревко, да ты не болен?

Ревко протянул ему газету, грустно гримасничая. Ведерников сразу нашел то место, где разместились особо черные, необыкновенные буквы. Газета сообщала о смерти товарища из центра, приезжавшего в свое время в Бирюзовский поселок.

— Умер,— сказал, теряясь, Ведерников,— не может быть! Умер?! Так вот почему от него ответа не было. Видно, долго болел.

— Мощный герой был,— ответил, кривясь, Ревко.— Сколько фронтов окрылял — и на тебе! Тяжкий урон, ничего не попишешь.

— А как он здесь ходил?! — сказал Ведерников.— Сразу видно — отец командир. Я в свою жизнь нигде не воевал, хотя я живу долго, но с детства военному режиму подвластен. Я сразу вижу человека. Ревко, друг, какая же судьба мою рукопись постигнет? Изорвут ее.

— Такие бумаги не рвут,— сказал твердо Ревко,— она пойдет по линии. Как линия дойдет до Бирюзового поселка,— так и ответ, извольте видеть. А теперь там, конечно, в Москве, не до того. Мы что? Мы глушь, азиатское столпотворение.

— Дай-ка газету,— сказал Ревко. Он пошел на террасу, говоря на ходу: — Сяду в тени, почитаю еще, что-то ноги не носят.

Полковник шел за ним, оставив матрац.

— Не дождусь я, должно быть,— говорил полковник, обозревая с места голую цепь гор, опускавшихся в зеленые волны джунглей,— не дождусь, что здесь моя схема преобразование сделает. Жить мне не сто лет.

— Меланхолия,— сказал Ревко, но в эту минуту резкий свист, шлепанье ног, шум, лай Кубилая взбили тишину, как подушку. Полковник сбежал с террасы, впереди него мчалась в сад Федосья Родионовна, Ревко остался сидеть с газетой. Пять мальчишек, загорелых, тощих, черных, в разноцветных рубашках завладели садом неожидан-

ным штурмом. Двое вцепились в Гурия, который катался с ними по земле, испуская всевозможные вопли. Трое, издали подбадривая сражавшихся товарищей, вовсю набивали карманы яблоками.

Федосья Родионовна схватила метлу и начала выметать грабителей. Мальчишки кинулись врассыпную и, как обезьяны, взлетели на глиняный дувал. Двое из них не избежали хорошего знакомства с метлой. Их разъяренные лица задержались дольше других на выступе дувала, с которого они кричали: «Подожди, ну, подожди»,— и ругались по-туркменски.

Гурий, охваченный пылом схватки, кидал им вслед камни.

— Откуда это? — спросил полковник.— Что за напасть? — Его мысли были так увлечены другим, что происшествие не взволновало его.

Гурий ответил сейчас же:

— Это школа из города переехала. Ну, они и пришли познакомиться.

Федосья Родионовна, ворча, собирала разбросанные яблоки. Полковник вернулся на террасу.

— Так как же, видно, ответа-то не будет?

— Будет,— сказал уверенно Ревко,— лет через десять...

На другой день, когда полковник и Ревко обсуждали газетные новости, в калитку вошел растрепанный и давно пропадавший Махмуд, крича во все горло:

— Юлдаш Ревко, юлдаш Ревко, иди сюда!

— Да,— сказал Ревко, вставая,— чего галдишь? Чего воздух трясешь?

— Меня Бакланов слал, говорил — пускай идет скоро, скоро. Барса есть, барса пришел. Желтый пшик... Большой пшик. Вчера пришел. Очень замечательный барса.

Черный наплыв стволов, листьев, ветвей дожидался луны, чтобы превратиться в светло-зеленый. Весь мир казался загроможденным. Тропинки умерли, лужайки исчезли. Где-то внизу булькала струя ручья. Темнота моталась на каждом уступе, летучие мыши, чуть посвистывая крыльями, предупреждали о неизбежности луны. Кусты растопырили свои ветви, будто проверяли наизусть количество их. Тогда в дебрях этой тяжелой темноты проскользнуло быстро серое пятно, потом оно оказалось дальше, потом оно начало спускаться с горы.

Это шел барс. Вздрагивая от избытка нервности, непре-

рывно морща нос и шевеля круглые ноздри, он то ложился на живот, то выпрямлялся, как громадная резиновая кошка, высовывая сухой шершавый язык. В одном месте он остановился и нюхал воздух, переполненный множеством запахов. Но над всеми господствовал запах дождя.

Барс начал волноваться. Он не любил дождя, он съежился, будто крупные полосы воды уже хлестали его по спине. Он стоял, скребя лапой, и чувствовал, как холодный мелкий песок скользит по подушкам лап и забирается под когти.

Потом он пошел, раскачиваясь, бесшумно расталкивая кусты. Он был одним из немногих повелителей этой зеленой империи, слишком обширной для него. Он мог охотиться, меняя громадные свои угодья на еще большие. На одной прогалине он присел, у него зачесалась спина. Выгнув голову, он водил зубами по коже, потом повалился на бок, вытянул ноги, стал кататься, как комнатный зверь, выпуская и вбирая когти.

Играя, он сбил лапой ветку, обгрыз ее, тонкий запах свежего дерева прошел в его мозг. Он взглянул на передние лапы и не узнал их. Они посветлели, они вышли из темноты. Он понюхал их, лапы были знакомые, его собственные, но посветлело все вокруг. Черная ветка, изорванная барсом, превратилась в коричневую, потом в почти белую. Он огляделся широкими изумленными глазами. Мир изменился торжественно и быстро. Выступили кусты, деревья, голубые обвалы гор готовы были двинуться в полночный путь великанскими шагами одногорбых.

Барс огляделся, вытянулся и пополз. Он дополз до края прогалины и взглянул вниз. В ушах его, как в морских раковинах, прошел далекий шум. Это кричали шакалы в пещерах внизу. Потом он услыхал пыхтение кабана, спотыкавшегося на крутом подъеме, потом он неожиданно поднял голову и увидел луну.

Она была похожа на круглый глаз чужого барса. Черный зрачок недвижно уставился в одно место. Барс присел на задние ноги и зарычал. Он не мог долго смотреть вверх: высота была ему непонятна. Он еще не отошел от легкого испуга, когда начал спускаться; он не смотрел больше, он нюхал следы, распластывался, ворча, по земле. Ему захотелось пить, но воздух, ветви, земля — все говорило, что скоро будет дождь. Он заворчал сильнее; его тело подскакивало, как на пружинах, ощущая собственную силу и тяжесть, двигалось толчками; во рту лежал шерша-

вый, тяжелый язык; черные пятна на шкуре, морща собирались в странные созвездия,— вдруг он увидел впереди сквозь кусты узкую, кипящую, серебряную нитку. Ручей блистал, дразня и раздражая.

Барс тихо вышел и огляделся исподлобья. Никого не было. Вода сверкала у его ног; он подошел, вытянул шею, боясь замочиться, присел и опустил шершавый язык в воду. Ухо его неожиданно передало шорох справа и впереди. Он отскочил от воды, и тут ветерок бросил на него страшный запах, враждебный, возвещающий о смертельной опасности. Он отскочил, круто присел, и соседняя гора в эту минуту обвалилась, потом обвалилась вторая гора напротив, и луну он увидел, как глаз другого барса в воде ручья, куда легла его морда. Косая боль прошла сквозь него, заставив скорчиться, каждая нога вздрагивала отдельно, уже не подчиняясь ему, горлом шла кровь и пена, он не мог закрыть глаз, они превращались в стеклянные. Он хотел пошевелить хвостом — хвост не двигался. Тогда он положил голову набок, рванулся, сдирая песок и кусты, и замер.

Ротмистр стоял с ошалелыми глазами в трех шагах и держал большой нож. Нож был не нужен. Ревко подошел и толкнул зверя в бок прикладом: «Экая контра, не приведи бог!»

Вдруг ротмистр вскрикнул, встал на колени около барса и обнял его за голову. Мертвые глаза заблестели при луне.

— Десятый,— закричал ротмистр,— радость ты моя, десятый! Удостоился.— Он гладил и целовал, захлебываясь, его залитую кровью тяжелую морду и лапы с янтарными когтями. Махмуд привел своего ишака. Ишак дрожал всем телом и не хотел идти. Махмуд вынул спички и наклонился к зверю.

— Не смей палить усов,— закричал, багровея, ротмистр.

Они подняли барса и положили на ишака.

— Пошли? — сказал Ревко.— А я и не стрелял. Испугался. Провалиться на этом месте — испугался. У нас таких нет.

Чаща потемнела снова. Ротмистр вытянул руку ладонью вверх. На ладонь упала тяжелая капля, за ней — другая.

— Дождь! — воскликнул он.— Держись теперь!

Только они вступили в главное ущелье, ударил дождь.

Полковник писал на маленьком листке бумаги о чем-

то необычайно трудном. Он поминутно перечеркивал написанное, прихлебывал холодный чай и хмурился. Он хотел обязательно вместить все на этом узеньком клочке. Глубокая ночь наклонялась над его столом. На дворе неожиданно закачались деревья, точно их окликнули, и прохлада побежала через полуоткрытое окно в комнату.

Затем раздался треск разрываемого шелка, еще и еще. Полковник встал. Он отказывался верить, он подошел к окну, распахнул его, и брызги, сорвавшиеся со ставень, упали ему на лоб. Дождь, самый настоящий, крупный дождь, дымясь, рушился на землю. Полковник с удовольствием слушал воду, прыгающую на крышу, зарывающуюся в листву, скачущую по двору. Кубилай метался на цепи. Его лай становился все короче и страшней, точно он околевал от бессильной злобы, смутно сопровождаемый визгом проволоки. Шум бродил в саду и в огороде. Полковник высунулся из окна и прислушался. Кубилай затих. Ведерников вернулся к столу с мокрой головой и снова выводил строки, которые через минуту зачеркивал. Так он сидел всю ночь.

А на рассвете пришли охотники. Они криком и стуком могли перебудить кладбище.

Впереди шел Ревко с закинутой за спину винтовкой.

Дождь недавно перестал, луны уже не было, и серая муть плавала в лужах. За Ревко выступал ишак, вертя ушами. На нем лежал, свисая до земли, барс. На его голове блестели дождевые капли. Они скатывались с его скользких усов, похожих на полковничьи. Оскаленная пасть в кирпичных пятнах крови стукалась о ноги ишака.

Махмуд шел рядом, придерживая тело зверя. За ними выступал ротмистр, но в правой руке он нес такой странный предмет, что полковник замер. Кровь его метнулась, как в дни молодости. Он поскользнулся и всхлипнул. Ротмистр нес его дождемер, его серый пустой дождемер, постыдно качавшийся из стороны в сторону.

— Ждал, ждал дождика, а как дождь пошел, так и швыряться ведрами начал? — сказал весело ротмистр.— Что ж, я подобрал. Вещь под помойное ведро пригодится.

— Как это? Почему? Где ты взял его? — прошептал полковник.

— Да около забора и валялся.

— Это они! — закричал полковник. Его невыразимое отчаяние прорвалось воплем ругательств.— Это грабеж, это голый грабеж! — кричал он.— Товарищ Ревко, Махмуд,

обратите внимание! Мою службу погубить хотят. Висельники, кантонисты проклятые, саранча, сквозь строй гнать мало! Как же это так? Как же это так? Что же я делать буду?!

Кубилай прыгал вокруг барса, рыча и страшась оскаленной пасти.

— Не убивайся, Денис! — закричал ротмистр.— Ты посмотри лучше, какого зверя ухлопал! Взгляни-ка.

— Хулиганье из школы хотело украсть дождемер. Озорство! Примем во внимание,— сказал Ревко.— Ничего, мы протокол напишем, не страдай, товарищ Ведерников. Тут твоей вины нет.

— Зачем мне усы палить не дал? — говорил сердито Махмуд.— Без усов зверь душу терял, а так мучиться будет. Что скажешь?

— Уходи, уходи! — шипел на него ротмистр.— Красота! — кривлялся он, обходя вокруг барса.— Десятый мой, а как писаный. Красота, нечеловеческая красота! Сюда бы художника, увековечить.

Полковник, держа дождемер, вздыхал как человек, потерявший сына. Барс развалился на террасе, как у себя в логовище. Пришел Гурий, завернувшись в одеяло. Разбуженная содомом Федосья Родионовна ворчала на кухне. Гурий побежал ставить самовар. Махмуд увел ишака под навес к сараю.

Полковник увидал на своем плече руку и поднял голову.

— Денис, дорогой,— умоляюще шептал ротмистр,— уступи мне барса. Ну, уступи мне барса.

— Ты же обещал мне его,— сказал полковник, собирая остатки мужества.— Как же так: ни дождемера, ни барса?

— Ну, обещал спьяна. Ну, Денис, уступи. Я знаю, ты уступишь, у тебя сердце хорошее. Следующего обязательно тебе. А этого в город стащу,— сколько монет дадут, неделю пьян буду. Ну, уступи. Уступаешь?

Полковник махнул рукой, и тут Ревко, сосредоточенный, растрепанный и мокрый, сунул ему бумагу.

— Товарищ Ведерников, я написал тебе удостоверение, слушай, так ли?

В областное метеорологическое бюро

По случаю временной кражи дождемера неизвестными лицами, которые выясняются, составлен сей протокол

в том, что дождь, нежданно выпавший в ночь на первое сентября, зарегистрирован не был по вышеуказанной причине, без вины наблюдателя, что подписью и удостоверяется.

— Ну, а как же твое рабкорство,— неожиданно сказал он.— Написал заметку?

— Всю ночь сидел,— отвечал тихо полковник.

— Пока самовара нет, покажи-ка. Да откуда ты сведения достал?

— Гурий принес. Он целый день в школе толокся. Да я постарался покороче, чтобы и поярче вместе с тем.

Полковник достал из кармана тот кусочек бумаги, над которым он страдал долгую ночь. Его гнев упал, он успокоился и тихо прочел написанное.

В газету «Солнце Востока».

На днях к нам в Бирюзовый поселок переведен интернат, преобразуемый в сельскохозяйственную трудовую школу. В эту школу принимаются дети всех национальностей. Пока занятий нет, и некоторые из детей разных национальностей делают набеги на фруктовые сады. Но это с поднятием благоустройства прекратится.

Проектируется на главном участке, размером в две с половиной десятины, засаженном чахлым карагачем и арчой, вырастить образцовый фруктовый сад. Через пять-шесть лет сад будет приносить не менее пяти тысяч рублей ежегодного дохода. Кроме того, учащиеся будут иметь на завтрак и на обед прекрасные фрукты собственного производства. Также будет организовано разведение шелковичных червей и форелей в предполагаемом пруду и постройка научного кино.

Рабкор *Ведерников.*

— Ничего? — спросил он.

— Ничего,— ответил, гладя затылок, Ревко.— Только ты сад с доходом и фрукты на завтрак, рыбу с червями, да и кино вычеркни, пожалуй. Утопия, брат, это. Не поверят.

— Эх, Ревко, не любишь ты красивой жизни! — сказал полковник.

1927

КАБАНЬЯ ИСТОРИЯ

I

Товарища Коркина знали многие степи и пустыни, потому что он только и делал, что с начальником инженерной партии отыскивал для населения воду в безводных местах, рыл для воды каналы, поил землю, и она покрывалась зеленью садов и полей.

Когда он заболел лихорадкой, он уехал в далекое селение возле самых гор, где воздух очень свеж и целителен. Там он отдыхал и набирался сил.

Раз вечером он сидел на пороге своего домика. Жена его стряпала ужин. Из долины подымались теплые испарения. Шакалы начали подвывать кое-где для разнообразия. Из сада пришел хозяин Коркина, узбек Гассан. Гассан приложил руку к груди, поклонился и сказал:

— Бери скорей ружье. Посмотри, весь мой сад перерыл, как будто я его звал...

— Кто тебе испортил сад, приятель? — спросил Коркин. Он знал узбекский язык и говорил очень хорошо на нем.

— Кабан ходил там взад-вперед и все портил, это дело — скажи, пожалуйста? Все лежит на земле, как будто так и нужно. Очень жалко мне сада. Поди застрели его, товарищ...

— Сегодня же сяду в засаду,— сказал Коркин,— мне даже интересно — давно уже на кабанов не охотился. А ты где будешь сам?

— Я иду в поле — там ночевать буду — дело есть,— отвечал Гассан.

Когда совсем стемнело, Коркин пошел в дальний угол сада. Он скоро нашел то место, где забавлялся кабан. Деревья были обточены и обгрызаны. Виноград смят. Объеденные гранатовые кусты стояли как свидетели кабаньего буйства. «Прямо хулиган какой-то»,— подумал Коркин, выбрал себе местечко, откуда видно будет при луне хорошо дорожку в горы, и сел с ружьем. Скоро взошла луна — стало свежо. Он не дремал и ждал. Вдруг на луну набежало облачко. Ночь потемнела, и тут Коркин услышал треск ветвей, большое животное, сопя и пыхтя, шло напролом. Он прицелился в середину темного пятна и выстрелил. Животное зашаталось и мягко шлепнулось на бок.

— Попал,— закричал Коркин; но для верности он выстрелил еще раз... Животное вовсе затихло.

Коркин стал пробираться на место происшествия, как вдруг его окликнули. Он оглянулся. Через сад шел сосед Коркина с лампой и кричал:

— Ну, как! Поздравляю — здоровенного кабана уложили?

— Да он упал что-то подозрительно — больно мягко упал и сразу.

— Это бывает. Хорошему стрелку только как следует приложиться — и готово...

Они вместе осторожно приблизились к животному. Большая туша чернела неподвижно...

— Ого,— сказал сосед,— это экземплярчик. Да вы тигра убили вместо кабана!

Он поднял лампу, и они увидали большую ногу и кусок бедра.

— Что-то не то,— произнес Коркин неуверенно,— светите-ка выше.

Сосед поднял лампу. Из темноты вышла жирная высокая спина и голова, увенчанная рогами...

Перед ними лежал молодой домашний бычок, который дорого поплатился за свою страсть к скитаниям.

— Вот так кабан! — захохотал сосед, рассматривая бычка.— Эге, да я его узнаю. Знаете, чей это бычок?

— А ну его к черту,— с досадой сказал Коркин и даже плюнул.— Пойду спать.

— Это же бычок муллы, попа ихнего...

Коркин простился с приятелем и вернулся домой. Жена встретила его тревожным вопросом:

— Ну как, убил кабана? Очень опасно было?

— Очень,— ответил он.— Такой кабан попался страшный — совсем деваться некуда. С рогами вот такими...

Он рассказал жене все и недовольный лег спать.

II

Проснулся он утром от тихого говора многих людей, стоявших у него под окном.

Он стал прислушиваться. Прислушавшись, он мгновенно вскочил с постели, потому что люди говорили о нем и об убитом бычке. Мулла узнал, что приезжий русский убил его бычка. Он побоялся прийти сам разговаривать — и послал всех своих родственников и соседей. Они толпились под окном Коркина и вежливо напоминали ему о ночном происшествии.

— Ой, какой это бычок был хороший, очень хороший бычок. Рога у него стояли, как у молодого месяца, глаза у него, как бусы, хвост его, как сама прохлада, когда он махал им. Ног у него было четыре, но бегал он, как будто их десять... Ой, какой был бычок и как мне его жалко...— говорил один.

— Ай, как бы он вырос,— подхватил другой,— он бы ходил по лугам, как богатый купец, ел, что хотел. Он бы затмил всех быков в селении своей красотой, и коровы были бы без ума от него. Он был бы утешителем хозяина. Как синяя гора, была его морда, но что нам делать. Он лежит, как ребенок, и не зовет родителей.

— Сердце наше дрожало от радости,— говорил третий,— а теперь мы плачем, и он не узнает нас больше,— он, который был весел, как луна, и жирен, как плов в год урожая,— ой, что нам делать, чтобы исправить беду. Что случилось с ним такое, что он лежит...

— Довольно,— сказал Коркин, выходя к ним,— это я убил быка. Я сейчас иду в Совет и составлю протокол.

— О, мы согласны тебя сопровождать...

Во главе большой пестрой толпы Коркин пришел в Совет.

Председатель выслушал его и, задумчиво вертя в руках конец своей чалмы, спросил:

— Что делать хочешь теперь?

— Бери бумагу,— сказал Коркин,— и пиши протокол, что я по ошибке прошлой ночью убил быка вместо кабана.

Председатель огладил бороду, посмотрел внимательно на Коркина и сказал тихо:

— Зачем тебе протокол? Не надо писать. Зачем это писать? Кому это нужно?

— Как кому нужно,— отвечал Коркин,— он же с меня будет убыток искать — так пиши, чтобы было по закону. Раз случай такой вышел — нужно его записать на бумаге и приложить печать...

— Не надо писать,— уговаривал его председатель. Он был малограмотен и потому очень не любил бумажек. Он думал, что во всякой бумаге скрыт какой-нибудь подвох, который сразу не заметен, а потом возьмет и появится.

— Как же не писать,— я быка убил. Убил — понимаешь. Что же мне делать?

— Иди помирись,— нашел выход председатель.— Миром кончи дело. Поговори с ним...

III

Все охотно согласились принять участие в разговорах. Коркин с толпой зашел в чайхану, и все расселись на коврах. Подали зеленый чай, и начался разговор. Узбеки любят разговаривать, как никто в мире. Они могут часами сидеть, пить чай и очень медленно говорить о больших вещах, а больших вещей в мире много. Они любопытны, как дети, и, как дети, увлекаются.

— Оге,— сказал один,— товарищ убил бычка, синего, красивого бычка,— мулла плачет. Что стоит бычок, спрашиваю вас.

Все поочередно говорили свою цену, а так как их было много, то говорили они о цене долго. Потом они спорили, тихо разводили руками, трогали концы своих чалм, гладили бороды, пили чай, и конца этому спору не предвиделось. Наконец один из них сказал Коркину:

— Товарищ, мы взвесили все и красоту этого бычка, и это стоило пять червонцев. Кто платить будет?

Тогда Коркин допил чашку чая, остатки выплеснул на стену, встал и ответил:

— Я платить не буду. Я не буду платить, и вот почему. Слушайте меня внимательно. Кабан приходил и топтал сад. Так? Я взял ружье и пошел убить кабана, а вместо кабана пришел бык и стал топтать сад, он был хуже кабана, потому что он больше ростом... Зачем быку бродить ночью по чужому саду? Это не порядок. Я тут не виноват. Зачем бык пришел туда, где ружье ждало другого...

Все вокруг подняли головы и заговорили. Они пили чай, никуда не торопясь, и обсуждали положение вещей. Они были рады случаю поговорить, а бычок, стоящий пять червонцев,— это не чепуха.

— Ты прав,— сказали они,— ты не должен платить. Зачем бык пришел вместо кабана? Он виноват. Но бык этот имел ноги, голову, бока и хвост. Все это стоит пять червонцев. Так пусть половину заплатит твой хозяин Гассан, а половину, как убыток, возьмет себе мулла — хозяин быка...

— Почему? — спросил Коркин.— При чем тут Гассан. Его и дома не было.

Но его прервали шумными голосами:

— Э, товарищ, ты не хорошо говоришь. Ты гость. Ты приехал дышать хорошим воздухом, беречь здоровье, а Гассан пустил тебя одного на кабана. Уй, кабан — страшный зверь какой. Он бежит — клыки сверкают, глаза сверкают — ведь ужас прямо, а если б он тебя ударил туда-сюда,— что делать тогда? Гассан должен был тебя хранить и оберегать. Кабан попортить тебя мог,— что было б Гассану? Гассан виноват — бычка убили — Гассан виноват...

— Ну, ну,— сказал Коркин,— я тоже немного виноват. Мое ружье выстрелило не туда. Я беру на себя червонец, и вот получайте...

Он вынул червонец и положил на ковер.

— Огу, хорошо, ты очень честный человек,— сказали вокруг,— а теперь побежим за Гассаном, пусть он придет и положит сюда свои два червонца, чтобы было радостно бычку и хозяину...

Несколько человек встали с места и хотели идти за Гассаном.

— Не ходите,— сказал Коркин.— Он там работает. Зачем человека отрывать от работы? Я заплачу за него.

Он вынул и положил на ковер еще два червонца.

Гул одобрения прошел по собранию. Все заулыбались, заговорили сразу:

— Вот высшая справедливость. Хвала человеку, что имеет сердце, как тарелка, расписанное птицами и цветами. Он убил быка, как кабана, и платит за это...

И они восхваляли его честность и щедрость, но Коркин ушел сердитый домой. Он убил быка, как кабана, который не пришел, когда его ждали.

Вечером пришли люди от муллы и принесли ему поло-

вину шкуры, снятой с быка. Мулла разделил ее пополам, тщательно проверив, чтобы было поровну. Коркин отдал свою часть вернувшемуся с работ Гассану и сел чистить ружье.

Через день Гассан снова пришел и стал на пороге.

— Ой, товарищ,— плакался он,— чего делать — не знаю. Кабан опять приходит и уходит — и опять все грызет и топчет. Возьми, пожалуйста, свое ружье еще раз...

— А у муллы другого бычка нет? — спросил Коркин.

— Ой, нет, это не бык. Бык больше не придет. Это кабан — дикий, большой кабан, старый...

— А куда вы дели мясо быка?

— Мясо быка мы бросили шакалам. По нашему закону есть его нельзя, раз его не вскрыли ножом и крови не было. После пули нельзя есть — как падаль будет мясо...

— Эх, вы,— сказал Коркин.— Выследи мне этого кабана, где он идет к саду. Я убью его наверняка.

— Будет исполнено,— ответил Гассан,— завтра я все выслежу...

IV

Кабан, бегавший веселиться в сад Гассана, был из тех, кого называют кабан-одиночка. Он жил очень свободно и роскошно. Проснувшись, он шел купаться в ручей, валялся и нежился в неглубокой воде, затем с удовольствием бежал рыть землю, точить клыки в рощу, потом шел к тому месту, которое называется «котлом». Там, в большой яме, вырытой ими самими, лежали, сидели и валялись десятки кабанов, кабаних, кабанят. Он ходил между ними и слушал последние новости. Потом, почесавшись о деревья и придя в отличное состояние духа, он шел в сад Гассана и наедался до отказа молодой зеленью.

Потом он возвращался в свою собственную, отдельную яму. Яма у него была выстлана сухими листьями, широкими и мягкими.

Однажды он проснулся раньше обыкновенного и захотел купаться. Он побежал своей обычной тропинкой к ручью. Но на полдороге он почуял человека. Он верил в свою опытность и храбрость и потому не свернул, а побежал прямо.

Человек ждал его с ружьем, стоя у высокого дерева. Кабан сердито хрюкнул и остановился. Но человек

был еще сердитей кабана, потому что это был Коркин. Он увидел такого большого щетинистого зверя, что испугался, несмотря на свою злость.

Но кабан струсил и, повернув, побежал от него. Тогда Коркин выстрелил и попал в кабана. Зверь повернулся и помчался обратно, разъяренный, забывая о трусости. Тут струсил Коркин окончательно. Он влез на дерево, и кабан, промчавшись мимо него, как ветер, через минуту вернулся к дереву. Он фыркал, и пена висела у него изо рта. Он точил клыки, как бритвы — крест-накрест. Коркин сидел на дереве и не знал, что делать. Он был всегда очень случайным охотником.

Вдруг кабан упал под деревом и издох. Он разбередил свою смертельную рану в ярости, спасения ему не было. Тогда Коркин сполз с дерева. Для уверенности вонзил ему в бок свой нож, но зверь был мертв, как бревно. Так как это был одинокий кабан, никто не оплакивал его смерть.

Коркин вернулся в селение и послал за ним арбу. Его привезли в селение, и все увидели, что это был обыкновенный кабан, каких много, и что Гассан теперь может спать спокойно, как и его сад.

Через три дня вечером Коркин проходил мимо чайханы.

Все селение сидело за чаем. Все сдвинулись в тесный кружок и слушали рассказчика. Коркин прошел бы мимо, если бы случайно не услышал, что его имя повторили несколько раз. Он встал около тонкой стены и стал слушать. Рассказчик говорил про убитого кабана:

— Это был король кабанов и очень жирный. У него было столько жен, как у султана, дети его бегали целыми толпами, внуки паслись на его глазах и хвалили его. Не было ни сильнее, ни мудрее его. Много охотников искали честь убить его и возвращались калеками. Барс уступал ему дорогу, и тигр ругал его издали. И вот он узнал, что приехал большой охотник. Он сказал: «Дай пойду к его хозяину и вытопчу у него сад. Сильнее меня никого нет». И он пришел один и топтал сад, как целое войско. Гассан заплакал и сказал: «Этот зверь разденет и разует меня — убей его». Охотник взял свое чудесное ружье и пошел на кабана. Но кабан был мудр, как инженер. Кабан поговорил с бычком муллы и сказал ему: «Если ты храбр, как говоришь, пойди и потопчи сад у Гассана». Бык отвечал, что он пробовал раз это сделать, а его избили палками. «А ты пойди ночью, и тебе ничего не будет. А если ты

боишься, то я тебе распорю сейчас живот,— потому что я не люблю трусов».— «Я не трус»,— сказал бычок и поклялся потрохами своего отца, что пойдет, и пошел в сад. Так был обманут большой охотник. Но он взял другое ружье, и захохотал, и взял кабана за ноги, и кувырнул его, как бурдюк, и проткнул его, как негодную шкуру, где хотел. Кабан сдох от отчаяния, потому что ни пули, ни кинжал его не брали, а его взял охотник своей дерзостью. Вот какие истории бывают на свете и в какие времена мы живем.

— Ого, все вы видели шкуру этого зверя, и мой рассказ кончен...

1931

ГОРЬКАЯ ЗАСТАВА

Афганцы, смущенно улыбаясь, поднимали ладони к небу. Пунцовое солнце, шедшее на закат, мутно освещало черные, покрытые трещинами, как пересохшая земля, ладони караванщиков.

Люди смотрели в стороны, в землю, с которой поднималась пухлая белая пыль. Они не смотрели прямо.

Руки Зернина обшаривали белые рубахи, проникая в лабиринты узких и темных складок; вытряхивая пояса, его пальцы, тонкие и ловкие, выкидывали на песок при общем молчании гильзы расстрелянных патронов,— пальцы тогда задерживались. Зернин говорил медленно, спокойно:

— Насобирали в крепости, саранча.

Пальцы задерживались, когда вылезал из тайника в поясе настоящий боевой патрон, потный и тусклый. Зернин оглядывал афганца с ног до головы, потрясая патроном перед его настороженным лицом:

— А это где достал, баранта? Возись с вами!

Афганцы спокойно в очередь разматывали чалмы, вынимали из рубах и поясов таинственные записки, мелкую монетную дрянь, гребенки, огрызки карандашей, куски сахару, амулеты, завернутые в пестрые тряпочки, гвозди, мотки ниток, и только у одного на весь караван нашелся кусок красного, нестерпимо пахнущего мыла.

Зернин рвал записки и письма на мелкие клочки, не удостаивая вниманием жалкую вещевую дребедень. Многих людей каравана он видел не первый раз. Он задумался, обнаружив в узелке примус, поставил примус на землю

и ушел, переваливаясь, в развалину, служившую ему пристанищем.

Афганцы, не двигаясь, как зачарованные слушали его голос, кричавший в телефон непонятные и громкие слова. Он разговаривал с крепостью. Все слушали почтительно и напряженно. Зернин был хранителем границы на этом пустынном перекрестке,— за узкой, шатающейся водой лежала страна афганцев, желтая и облупленная, и оттуда являлись иногда такие тревоги, что Зернин правильно делал, так тщательно осматривая все эти до черта надоевшие ему белые рубахи, белые штаны неожиданных размеров и возможностей.

Зернин вышел из развалины, оставшейся в старых летописях под названием Саары-Тепе — желтая крепость, но все старожилы этих мест прозвали ее Горькой Заставой.

Вокруг него шествовали четыре пса, большого роста, с длинной шерстью, вытаращенными глазами и раскрытой кровавой пастью. Они обходили остановившийся караван, а собаки афганцев стояли, скучившись, на месте. Они не смели шевелиться, не имели голоса здесь, и они это понимали. Они стояли, прижавшись друг к другу, толкаясь и озираясь. Если бы они могли, они подняли бы лапы вверх и так пребывали бы перед свирепыми глазами сторожевых собак поста, которые, чувствуя себя хозяевами, деловито посматривали на них и обнюхивали верблюдов, низко свешивающиеся тюки, становились около людей, разматывавших чалмы, и люди ускоряли движения при виде их.

Они следили за порядком, пробегая вдоль длинного ряда верблюжьих кривых ног, и посматривали с большим самодовольством на четырех лошадей, стоящих поодаль. Верблюды охали и клохтали, как куры. Афганские псы, обметая землю обрубками хвостов, тихо ворчали про себя.

Зернин поднял примус и передал его афганцу.

— Кала имел дело... Кала имел разрешений,— сказал афганец, прижимая руку к сердцу. Из его рукава выпали белые бумажки. Зернин развернул пакетики, понюхал серый порошок, лизнул его, сморщился, отдал хину и перешел к следующему.

Рыбальцев запялся верблюдами. Он подходил к животному, как бывалый караван-баши, останавливался, бил его под колена ладонью, нажимал хозяйственно на плечо, и фыркающий серый зверь не без грации опускался на песок.

Желтая развалина стояла на бугре. Внизу белыми пузырями воды тарахтела речка. Дымная пустыня и бурые, как верблюжьи спины, холмы уходили до края горизонта.

Шершавая белизна рубах и штанов то отталкивала, то веселила Зернина. Развеселясь, он находил под одеждой такие вещи, которые никоим образом не подлежали конфискации. Он шутливо щелкал по ним, как бы ожидая от них звона, как от колокольчика, афганец улыбался уже не так смущенно: он понимал, что это дружеская шутка.

Рыбальцев не потел с тюками. Хозяева предъявляли ему бумаги от таможни, тюки не нуждались в таком тщательном осмотре. Осмотренный верблюд, раздувая ноздри над бурундуком, сопел и вставал, скрипя веревочной подпругой, и подхвостная веревка двигалась, как поплавок. Сморщенное кожаное ведро, висевшее сбоку вьюка, напоминало Рыбальцеву походы в пески, проделанные им неоднократно.

Зернин оканчивал осмотр. Он подошел к последней группе людей. Около них, поводя острыми ушами, сгрудились лошади. Зернин взял одну за ногу. Лошади были туркменской породы, в теле, некованые,— так и должно было быть. Если ковать в песках лошадь, рог быстро высушивается и роговая стрелка выкрашивается,— раскаленная подкова — лучший убийца легких и сильных ног.

Зернин стоял перед бородатым, среднего роста, пожилым азиатом. Он не был афганцем. Может быть, он был джемшид, хезаре, белудж, махманд, туркмен,— черт его знает кем он был, но он первый в караване смотрел прямо в глаза Зернину, и от этого прямого взгляда почему-то становилось невесело. Рядом с бородачом, усмехаясь, съежив черные щеки, заранее расстегивался молодец, фатовато отставивший ногу и уже положивший на песок кинжал, большие железные ножницы для стрижки овец и два цветных платка. На платки он положил выделанную искусно тыковку — наскаяды — для хранения табака.

Зернин протянул руку к бородачу и остановился. Что-то знакомое и забытое, как сон, раскрылось ему в этом скуластом лице, под кожей которого точно катались мелкие камешки и рябь некоторого волнения шла непрерывно. Оба стояли насторожившись и не понимали сами отчего. Бородач шумно выдохнул воздух и слегка поднял руки. Казалось, этот решающий вздох должен был вернуть душевное спокойствие Зернину, но он медлил приступать, и только движение свободных уже от осмотра афганцев, во-

зившихся над тюками вокруг, движение шумное, скрипучее и разнообразное, чуть привело его в равновесие.

Он бросил руки в одежду бородача, как будто он искал ночью в кустах и что-то должно было случиться. Что хорошего в кустах ночью? Веселость его сразу отлетела. Он нашел какую-то книжицу с раскрашенными буквами на мелких страницах. Увидав в его руках эту чудесную, неожиданную и тонкую вещицу, бородач издал легкий вскрик и качнул голову. Зернин вспомнил...

Тогда он был на год моложе и на голове у него не было еще молниевидного кривого шрама. Он ходил по крыше маленькой белой казармы. Предутренний туман покрывал дикие, простые долины, где, он знал, лежит только песок, соль — длинные хрустящие языки соли, горькая вода стремится, как в желтой лихорадке, размыть припадочными плесками тяжелую глину берегов, и вокруг — неподвижные холмы, где расставлены редкие кусты и растет ковыль, гуляют змеи и ящерицы да повсюду ползают черепахи, обиженные, как никто на свете.

Внизу под его ногами, вокруг домика, была колючая проволока, еще раз колючая проволока и еще раз проволока. Легкий окопный ровик лежал внутри. На открытой коновязи спали немногочисленные кони. Убогие доски уборной сиротливо приткнулись в стороне. Несколько кустов, научное название которых он не запомнил. Если бы его спросили, что можно найти на площадке перед домиком, он с закрытыми глазами ответил бы, что на площадке перед домиком лежат несколько пустых ящиков из-под продуктов, пустые банки, расстрелянные опытной рукой жены начпоста, несколько ржавых подков, стоптанный сапог и две палки от ходуль, сделанные каким-то шутником и брошенные без употребления.

Он посмотрел на туман. Туман поднимался такой же, как в северо-западной области Союза, на Ильмене или на Онеге, но в нем бегали белые точки, и кое-где они поблескивали так, как будто под туманом лежало действительно озеро.

Но ведь под туманом лежала расколотая жарой глина, толстый песок, а соль никогда так не блестит, никогда.

— Что же это такое? — спросил он, снимая винтовку с плеча и готовясь к тревоге. Он встал за выступ, и тут туман качнулся, разошелся местами, и в эти щели стало

видно все, что за ним. Зернин сам удивился тому спокойствию, с каким он наблюдал открывшееся ему.

Прижимаясь туго перетянутыми животами к холодной глине, ползли десятки басмачей. Они ползли бесшумно, и восходящее солнце блестело на серебряных струйках винтовочных стволов. Зернин выстрелил. Басмачи залегли. Два пулемета грянули им навстречу. Басмачи кричали и резали воздух выстрелами.

Лошади, кувыркаясь и швыряя в воздух ноги, катались по земле, пробитые многими пулями. Потом они затихли и околели. Позвонили на соседний пост. Басмачи не отыскали провода и не перерезали его,— так они были уверены в победе.

Соседний пост ответил по телефону: «Держитесь, шлем подкрепление».

Басмачи стреляли как одержимые. Им мало убитых лошадей. Они добирались до людей с красными звездами на фуражках.

Зернин увидел в бинокль камень, каких много валялось в долине, из-за камня смотрело единственное в мире лицо. То утро и все с ним связанное остались для Зернина единственными в мире. Спутанная борода, чуть раскосые горящие глаза; человек качнул вперед голову, как бы укрываясь от пули, и то же самое, как по наитию, сделал Зернин. Басмаческая пуля ударила в верхний край бойницы, отскочила, пробила ему фуражку и прошла, козыряя, по его жесткой щетине и не менее жесткой коже.

Зернин обратился к командиру, и, вытирая кровь, повязав голову бинтом, он выпросил у командира странный и рискованный образ мести. Пост стал отвечать так усиленно, что басмачи несколько минут не поднимали голов от земли, а когда они подняли головы, было поздно: с фланга шел такой нестерпимый и близкий пулеметный вихрь, что самые смелые из них запóлзали, как ящерицы. Они отступали, кляня кяфыров,— потому что все могла перенести их распаленная душа, но пулеметы с фланга она еще не научилась переносить.

Басмачи исчезли, можно было бы сказать — как сон, если бы после этого сна не остались лошади, валявшиеся перед казармой, двое раненых, зигзагообразный шрам на голове Зернина, и несколько тысяч разнообразно рассыпанных гильз, и несколько луж крови, медленно всасываемой песком.

Между камней, каких много валялось в долине, прополз тогда, волоча за собой пулемет, Зернин, чтобы совершенно одиноко и совершенно безумно, выйдя на фланг врагу, обратить его в постыдное бегство. И только лицо, вненное в бинокль, запомнил он как нечто свое, как прнз и как символ врага.

Бородач смотрел на Зернина, как тогда из-за камней. Что значит — как тогда? Разве он был тот самый, разве такова память людей и такова судьба, разве начатое утром оканчивается обязательно когда-нибудь вечером? Разве мало их, таких же загорелых, бородатых, непонятных и мрачных, с неизвестной анкетой и еще более неизвестными помыслами, да еще пришедших из-за пустынного рубежа.

Но с такой неожиданной ясностью Зернин вспомнил туман того утра, и то лнцо, и убитых лошадей, и раненых товарищей, что он не смог сдержать себя, и, зная, что делает не так, нехорошо делает, он швырнул эту раскрашенную кннжицу об камни, о песок, не все ли равно, к черту!

Несколько листиков отлетело в сторону. Бородач бросился к книжице с проворством юноши. Он поднял ее, оп прижал к губам пыльную старую бумагу, он целовал красивые, в завитках, буквы, он кричал уже под ропот окружающих: «Яман русский закон. Яман советский закон. Яман...»

Зернин перешел на его соседа и, оттолкнув ногой кинжал и ножницы, атаковал коричневую жнлетку того, как будто в ней он мог найтн невесть какие тайны. Он нашел за подкладкой кучку бумажек, и в размотанной чалме и в поясе были тоже бумажки, узкие, разноцветные и удивительно знакомые.

Сзади него еще витало визгливое: «Яман русскнй закон». Но он не обращал внимания. Его тронули за плечо легонько, и он вскипел окончательно. Как, эта борода еще будет с ним валять дурака?! Он оглянулся и стал «смирно».

За ним стоял помкомвзвода Челюсткин. Он подъехал тихо к желтой развалине, спешился, оставил своих сопровождающих верхом и, замешавшись в разноязычную толпу, прошел к Зернину.

— Товарищ Зерннн, зачем вы бросили Коран на землю? Вы же знаете, что этнм оскорбили их релнгиозные чувства...

— Оскорбнл, товарищ начальник,— начал Зерннн.

— Вы перебили меня, товарищ. Я делаю вам замечание, не следует при исполнении ваших обязанностей вести себя вызывающе. Смотрите, что вы наделали.

Афганцы и люди неизвестного племени подняли голоса, жалуясь, размахивая руками, качая чалмами. Бородач кричал, что ноги его больше не будет в проклятой кяфырской стране.

— Товарищ начальник,— вспыхнув, закричал, не помня себя, Зернин.— Я болен малярией, товарищ начальник. А у этого, как с ним мне еще поступить... Я контужен, товарищ начальник. У меня зигзаг на голове... А у них, смотрите, какая петрушка,— у этого вот самого, что, как змеюка, жмурится, чего у него товарищ начальник, промеж одежды напрятано...

Он протянул Челюсткину пачку узких и тонких бумажек.

— Что это? — спросил помкомвзвода.

— Квитанции кооперативные. Ордера на мануфактуру. Говори с ним по-русски, ни черта не понимает, а знал, где брать. Спекулянты. Ему туда-сюда ездить. Саранча.

— Возьми,— сказал спокойно Челюсткин,— отбери ордера, не задерживай, мы его запомним. Я займусь этим потом. И не сильно задерживай караван, а то им засветло не добраться до ночлега.

— Есть, товарищ начальник,— Зернин обиженно тянул слова,— а только я, и при них будь сказано, буду крыть их почем зря.

— Не волнуйтесь, товарищ Зернин. Вы получили замечание и с этим остаетесь. Если вы больны, заявите и идите в госпиталь. Довольно. Проводите меня.

Зернин шел сзади. Караван тронулся. Караван спустился с бугра; медленно вошел он в речку и, разбивая мелкую воду, перетягивался на свою сторону. И когда афганские собаки оказались первыми там, среди кустов и холмов своей стороны, они остановились у самого края пограничной воды и дружно отлаяли долго сдерживаемое молчание свое. Овчарки нашего берега переглянулись, тряхнули головами, понимающе и с гулкой краткостью ответили им.

Бородач не мог успокоиться. Он пыхтел и плевался и, переправившись, погрозил синим кулаком желтой развалине. Челюсткин долго распекал Зернина. Делал он это старательно и на виду у трех красноармейцев, с какими приехал. Уже сидя на лошади, он смягчился и сказал:

— Наша служба, товарищ Зернин, не яблочко, в рот — и сжевал его; ее не сжуешь. Так-то, толково?

— Толково,— отвечал красный от возбуждения Зернин, смотря вслед уходящему каравану.— Чего толковей. А все-таки у меня и малярия и зигзаг на голове. Это тоже не яблочко.

Но Челюсткин уже отъехал.

Ушей овчарок уже нельзя было увидеть, их можно было только нащупать, подозвав псов вплотную. В темноту провалилась и желтая развалина, и тропинка на соседнем такыре, и речка, чье бульканье почти исчезало ночью в темноте, так оно, собственно, было ничтожно,— речка явно пересыхала. Желтая лампа у телефона, жесткие койки и обтирающий полотенцем пот Рыбальцев — все, что осталось видимым. Собаки ушли в темноту, ни шорох, ни зверь, ни ветер не могли обмануть собак. Они шлялись где-то в темноте, подскуливая и покрикивая друг на друга.

Зернин вышел из развалины и, облокотясь на винтовку, стоял. Малярия и жизнь на посту плохо отразились на его самочувствии. Ему необходим был отдых, но уходить на отдых он сам не хотел. Тьма чуть-чуть порыжела, и на небе можно было уже рассмотреть игру далеких зарниц. Зернин думал о севере, о прохладе северных лесов, о белых березах, о весне, когда все шумно — и люди и природа, о том лесопильном заводе, с какого он ушел в армию. До чего пустынны здесь эти ночи настороже, в испарине, среди фаланг, скорпионов, змей. Он убил одну гадину утром, кто знает, как ее зовут; долго она не давалась, уговаривал честью — брось наскакивать, нет — скрутится вся, того и гляди, по ногам ударит; отошел он тогда и прошил ее одним выстрелом — не путайся под ногами. Но как их всех, и малых и великих вредителей — от фаланги до басмача,— показать дома? Разве шраму поверят? Он снял фуражку, потер белый зигзаг.

«Дураки»,— вспомнил он проход вечернего каравана, и тут залаяли собаки откуда-то очень издалека.

— Бородач,— сказал он и понял, что все его тайные мысли вертелись возле этого человека — того ли, кого поймал он в бинокль в бою, или этого, вечернего, так похожего.

— Что же это за чепуха? — закричал он Рыбальцеву.— Эй, послушай!

Рыбальцев вышел на порог, голос его звучал глухо в пересыпаемой бледными зарницами духоте.

— Слышно что?

— Слышно. Собаки брешут. Вот Кучук, его голос, видишь?

— Вижу. Это за чекалкой,— сказал лениво Рыбальцев.— Ты как будто давеча с Челюсткиным поцарапался?

— А, он ретивый больно!..

Зернин отходил все дальше в темноту, и темнота все легчала. Казалось, еще немного, и откуда-то из-за облаков,— была весна, облака шли дружно,— выглянет луна и все станет нестерпимо ясным и нестерпимо печальным. Аспидные бугры и соляные россыпи поднимут опасный тоскливый блеск, а желтая развалина сразу покажется брошенным склепом.

Зарницы продолжали полыхать. Неожиданно налетел легкий теплый ветер.

— Рыбальцев,— закричал Зернин,— стреляют.

— Врешь.

Они стояли на разных концах холма и прислушивались. Собак не было слышно. Люди, ничего не видя, вглядывались в теплый мрак.

— Пойду-ка я возьму на всякий случай запасных патронов,— сказал Рыбальцев и вошел в развалину.

Зернин легко сбежал с холма и шел, взяв винтовку наизготовку. Тень пронеслась впереди него, и сейчас же Зернин услыхал выстрелы.

— Басмачи.

Он позвал собак. Где-то как будто опять блеснули зарницы, опять как будто выстрелы. Он шагнул, что-то чернее ночного мрака шло на него, неслышно и явственно.

— Стой! — закричал он.— Стой, стреляю!

Выстрелы, заглушаемые далеким громом, прошли стороной. Он прицелился и выстрелил. Темная масса рванулась и ушла вбок, где-то около возник резкий крик собак.

— Попал,— закричал Зернин. Он побежал на лай и споткнулся. У него с собой всегда был электрический фонарик, и он тщательно берег его; и фонарик никогда его не обманывал. Он встал на одно колено и направил фонарик. На земле спокойно, как на койке, лежал помкомвзвода Челюсткин, с лицом, залитым кровью. Кровь была и на руках и на гимнастерке, старой, потрепанной. Глаза закрыты. Так крепко полагается спать после хорошей работы. Фонарик погас.

— Я? — сказал вслух Зернин, сам не понимая, что он говорит вслух.— Как — я? Как — я сам? Убил Челюстки-

на? Убил Челюсткина? — Он разинул рот, чтобы крикнуть.

Он шел, шатаясь. Он разинул рот — и сразу песком забило рот, глаза и уши. Он прошел три шага и в наступившей невероятной мгле услышал шум внезапно налетевшей бури.

Песок лежал по-разному. Легчайшей пылью он залег на перегибах барханов, толстым, как слоновая подошва, и жестким слоем одел каменные склоны предгорных долин, несчитанными тьмами тонн усеял равнину за речкой; что касается пустыни, то этот тихий песчаный ад не нуждался в статистике: он не мог быть даже воображаем.

И тогда пришла ночь, ядовито разведывавшая путь буре белесыми молочно-розовыми зарницами. Буря шла с юга, вырастая с каждым движением, как тень исполинского завоевателя, встающая из песчаной гробницы, она загремела на минуту ржавыми доспехами и устремилась в пустыню. Перед ней шел теплый, легкий, вкрадчивый ветер, потом пески поднялись и закрыли все.

Пески перепутались. Легчайшие и сухие, сырые и вязкие, тяжелые, красные, желтые — мчались вместе стеной, доходя до неба, закручиваясь в колонны; колонны с грохотом сшибались, то они выравнивались в стену, стена эта обрушивалась горой и пугала стоявшие песчаные горы, то буря сметала все это сооружение, тут же рассыпала его заново и, поднимая снова на воздух, гнала его.

Песок мог покрыть и караван, и колодец, и город, и лес саксауловых призрачных деревьев с ветвями тонкими, как руки паралитиков, он мог рухнуть в речку, мог долететь до моря и смешать свою пену с пенными брызгами прибоя на отмелях Чикишляра — ему было все равно.

Темные шквалы его шли, наполняя пространство, не встречая сопротивления. Дымящиеся тучи его бушевали на всем пространстве пустыни. Если же падала ярость плотного тяжелого песка и он припадал к земле на время, то в воздухе оставалась пелена мелкой песчаной пыли и реяла, как завеса, затем, как бы отлежавшись, снова вставала в воздух тяжелейшая тьма и продолжала мозжить и терзать пространство. И затравленное пространство, наполняясь свистом и стонами, корчилось под этой то взлетающей, то ложащейся дичайшей силой, бесновавшейся так, точно ей не предвиделось конца.

Никто не мог сказать на всем просторе песков, когда будет этот конец — через несколько часов или через несколько дней.

Нелюбопытный гость лежал, истомясь от жары, лениво вытянув ноги на ковре в так называемом саду. Сад ничем не был отгорожен от улицы. Когда гость, отрываясь от записной книжки, зевал и смотрел сквозь кусты, он видел желтый утюг горы, на нем кое-где лепились казармы, поверх казарм стояли ветхие форты, похожие на запыленный макет Порт-Артура. Вдоль по улице проходили нечастые пешеходы, больше по двое, торопясь и стараясь идти в ногу. «Гарнизонная привычка»,— подумал гость. И еще подумал, что дальше этого места ехать ему некуда. Дальше шли пески и холмы. Непонятность и неподвижность. «Никакого чувства истории,— сказал вслух гость.— Тут разве геологу покопаться, да и то до одной малярии докопается человек». Гость был нелогичен и нелюбопытен. Профессия статистика позволяла ему держаться цифр и таблиц, не удаляясь далеко от них.

Днем еще он чувствовал себя веселее, но к вечеру на него нападала хандра. Он не мог видеть домики с окнами, закрытыми глухими серыми ставнями, с громадными пустынными верандами без перил, с высушенным деревом кривых столбов, подпиравших выложенную старой бурой черепицей крышу; пепельные ветви унылых, с опаленной листвой деревьев, ложившиеся на крышу; гулкие, пустые дорожки в так называемом саду. Даже собаки, лежавшие поперек открытых дверей кое-где на верандах, серые большеголовые псы, молчаливые и огромные, удивительно подходили к оловянной безвыходности вечера. В старое время в этом городке люди тихо стрелялись от скуки, ежевечерне звенели рюмками о бутылки, после службы валялись в меланхолии на кроватях весь остальной день, изнывая от жары или в тесных объятиях лихорадки, высасывавшей всю влажность из тела и превращавшей человека в сухой кокон.

Советская власть изгнала много пороков и болезней из жизни малепького городка, но изгнать жару она не могла. Жара осталась, и только редкий человек, даже будь он крайний весельчак, мог относиться к ней, как к незаметной мелочи. Увы, она была заметна, даже слишком.

Гость потянулся особенно, по-кошачьи, и сел на ковре.

— А, товарищ Карташев. Откуда в такое пекло?

Карташев пришел из-за города, с купанья. Он влезал

в холодную бурную мелкую воду горной речонки, он сидел в воде по пояс между старых поломанных столбиков проволочных заграждений с порыжелой порванной проволокой, он сидел, омываемый жидкими пенистыми струями, и, посидев немного, вылезал по намокшей глине на выжженный травянистый берег. Это называлось купаньем. Карташев бесцеремонно сел на плетеный стул, достал толстую великолепную папиросу. В крепости был запас самых отборных папирос, и этим гордились все старожилы-курильщики.

— Ну, как вам наша буря понравилась? — спросил он гостя.— Здоровый трам-тарарам, свист и гром? На постах, знаете, не сладко.

— Видел такую на Аму-Дарье,— отвечал гость лениво.— Мура! Вы завтракали?

— Дважды.— Карташев окликнул проходившего красноармейца, поговорил с ним, перекликаясь через кусты, и обратился к гостю, когда красноармеец удалился: — Видали этого героя?

— Да я его каждый день вижу в столовой. Я согласен тут всех считать героями. Жить в такой печке, да еще дела делать! Это чудно́. Тут и рука не поднимается. Человек что студень, ей-богу. Разморит с утра, какое тут геройство в ум придет.

Карташев засмеялся.

— Опустились бы вы здесь, батенька, как генеральская кухарка, в один год с такими мыслями. Вот тут-то и нужно человека испытывать, как железо. Тут у нас такая работа, что жара в расчет не принимается. Никакой поправки на жару не полагается. Вот этот парнишка, что давеча проходил, поехал прошлый год с заставы в пески веников нарубить для кухни. Нарубил на верхушке холма. Глядит сверху, а внизу четыре басмача сидят. Мы бы с вами наутек пошли, а он осмелился. На такого арапа пошел, что, говорит, и вспотеть не успел. Сел на лошадь, выхватил шашку, веники в сторону, показался басмачам наверху, шашкой размахивает, как закричит: «Эскадрон, шашки!..»

Басмачи внизу ни живы ни мертвы: вот на них обрушится сейчас лавина сверху! Слово-то «эскадрон» им, стало быть, хорошо знакомо. Они руки вверх. Побросали оружие, как сидели, так и сидят. Он ручкой в воздухе какой-то знак сделал и орет назад: «Эскадрон, отставить! Я иду один, чуть что — залп!» Ну, и пошел вниз. И всех перевязал, прикрутил друг к другу и привел в крепость по жаре,— вот по такой жаре, что вы бы вконец запарились.

А басмачам, конечно, прохладно было. А на постах в пустыне как живут: соль лежит, вода горькая, всякие там стервы вокруг ходят, а держать надо границу. Здорово?

— Здорово,— сказал гость.

— А где же хозяин-то? — спросил, помолчав, Карташев.

— В госпиталь вызвали.

— Вызвали? Что-нибудь любопытное?

Гость развел руками.

Приблизилась важной походкой женщина, самоуверенная и высокогрудая. Младенец шел, спотыкаясь, за ней и тянул на веревочке черепашку. Черепашка отказывалась за ним следовать. Малыш энергично ударял ее по крошечному щитку, сердясь и фыркая, садился рядом с ней и старался запихать в нее кусок обслюнявленного запачканного яблока. Женщина оглядывалась и говорила, как большому:

— Петечка, оставь ты ее, да она же с этого места не ест. Ты ей в ротик, в ротик дай.

Черепашка высовывала голову. Наконец малыш стал кататься по траве, швыряя черепашку ногами, как заводную игрушку. Женщина умилялась:

— Вот они все такие интересные в эту пору. А вырастут, так беды не оберешься. А сейчас ишь, как принц какой, катается...

— Василиса Петровна,— сказал Карташев,— принцам сейчас не жизнь, это факт. Вы знаете,— обратился он к гостю,— я настоящую принцессу видел...

Гость оживился.

— Ну-ну, расскажите, какая принцесса. Придумают тоже, принцесса. Кино какое-нибудь?

— Да не кино. Это был подлинник самой жизни, уважаемый. Вызывают меня и говорят: «Юрий Сергеевич, а не хотите ли вы в Герат прогуляться?» — «Я в Герат? Виноват, не понимаю».— «А видите ли, говорят, там принцесса, сестра падишаха, рожать собирается. Она замужем за каким-то турецким или персидским принцем. Ну и собралась к мужу рожать и не доехала, застряла в Герате, и требуется ей помощь. Запросили нас».— «Да что же, говорю, помочь нужно. Только как-то это мне одному несколько неловко».— «Ну, говорят, вы такой специалист, какие разговоры».— «Специалист-то специалист, говорю, а все-таки азиатская страна, женщина на особом положении. Я мужчина, какое случится осложнение, как я там с ней объяс-

нюсь? Разрешите взять с собой Анну Николаевну — акушерка, знающая женщина; вдвоем будет покрепче».

— Ну и что же, разрешили? — спросил гость.

— Разрешили. Приезжаем в Герат. Ну, город системы «Багдадского вора» — стены, минареты, глина; но уже там намек на новое есть: фонари стоят, улицы поливают, мороженое продают; и врачей целых четыре. Английский — морда как сырое мясо...

— И трубка, конечно,— сказал гость.

— Никакой трубки, даже не курит вовсе. Персидский врач — с пехлевикой на голове, в сюртуке, купец какой-то. Афганский врач — это прямо уникум: с Кораном и четки, ногти длиннющие на руках. Но уж последний врач — это какой-то столетний знахарь, старым козлом пахнет. Я бы его на пушечный выстрел ни к одному больному не подпустил, мошенник так из него и брызжет. Собрали мы, значит, такой небезынтересный консилиум, а принцессы нет. Мы даже не знаем, за кем право на ее пользование останется; то, что со мной была женщина-акушерка, и решило все. Надулись мои коллеги, как индюки. Англичанин здороваться перестал. Перс с шарлатаном косятся вполне определенно. Один афганец сказал скороговоркой что-то вроде «бог велик» и исчез. Хотел я освидетельствовать больную, говорят — нельзя. «Вы просто так скажите, что нужно сделать».— «Позвольте, говорю, должен же я видеть принцессу».— «По закону, докладывают, не полагается». Я спорить.

— Вот идолы,— сказал гость.— На чем же вы договорились?

— А вот на чем. Она лежит с закрытым лицом и вся закрытая, а я вхожу с Анной Николаевной и осматриваю руками под простыней, глазом не моргнув и не заглянув никуда. Ну, пошли. Тут у меня после осмотра беспокойство кончилось. Баба оказалась здоровенная, трех может родить. Потом подошел срок, передал я бразды правления Анне Николаевне, и все прошло, как в тысяче и одной ночи. Принц родился, пушки стреляли, какие-то дикари приходили, баранов пригнали, золотые и серебряные монеты перед младенцем сыпали, ковры расстелили всюду, ели три дня каких-то фазанов, плов розовый, черт-те что. Потом мы откланялись, и восвояси. Принцесса счастлива, раболепство вокруг, стены, башни, мороженое продают, подарки,— одним принцем больше. Приехали мы домой, а через три месяца знакомый из Герата приезжает и рассказывает, что там кавардак несусветный. Головы на палках таскают, че-

ловеческие головы. Фонари разбиты, мороженого никакого нет, губернатор в какой-то канаве валяется без носа и без ушей: войска Баче и Сакао, оказывается, власть падишаха в Герате прикончили, новый этот, так называемый Наиб-салар, полководец по-ихнему, Абдурахим-хан, главенствует, а принцесса уже в подвале каком-то со своим детенышем сидит,— сидит и дрожит, как бы ее замуж за какого-нибудь такого пастуха с дубиной не выдали в переполохе в этом. Мальчонка болен, никакого великолепия, розовым пловом и не пахнет. Уехала она наконец в Персию. Вспомнил я, как золотом и серебром осыпали этого младенца, а вот теперь и изнанка. Нет, наши ребята не принцы. Вон, гляди, черепахе в задний проход яблоко пихает, и жара ему нипочем, и почета ему не надо, и жить веселее. А вот и хозяин. Ну, ну, какие новости, Андрей Степанович?

Андрей Степанович вытер потные руки о край форменного кителя.

— Басмачи погуляли немного.

— Басмачи? — сказали собеседники.— Кто же это отличился?

— Установят. Тут Мамед-Клыч и Назар-бек путались неподалеку. Подшибли на посту помкомвзвода Челюсткина. Чуть в бурю человек не погиб. Насилу отыскали, лежал на песке без сознания. Это его, представьте, и спасло. Да он еще и ударился обо что-то при падении с лошади. Пулю вынул. Характерная пулька.— Он порылся в кармане и ничего не нашел.— Один красноармеец без вести пропал, то ли убили, то ли в плен взяли. А Челюсткин здоровяк, не всякий, знаете, такую двойную тяжесть перетащит — и пулю и буря.

— Да,— сказал гость,— а что же вы насчет пули?

— Да вот найти не могу, завалилась за подкладку, что ли. Подождите, я ее, кажется, в кошелек положил. Да, так и есть.

Гость покатал на ладони кусочек белого металла и, зевнув, вернул его доктору.

— Ничего не вижу характерного. Пуля как пуля.

— Батенька,— сказал Карташев,— да пуля-то английская. Вот то-то и оно, винтовки у них английские. А вы говорите, чем характерна. Тем и характерна, что не наша. Ну, пошли обедать, время уже. А где же это было, дело-то?

— Около Горькой Заставы.

— А, Саары-Тепе,— сказал Карташев,— место гиблое, ничего не скажешь.

Человек проснулся, сел, потер глаза, огляделся. Он сидел в ковыле, почти на верхушке холма. Перед ним сотни таких же холмов, похожих на застывшие волны, несли свой окаменевший прибой к подножью Паропамиза. И сам Паропамиз, сверкая мертвой надменностью своих снегов и громоздясь тусклыми ледниками, вставал, как лестница к небу, далекая и, собственно говоря, несколько необязательная.

Поднявшийся неподалеку сокол пронес мимо лица проснувшегося человека ящерицу. Ящерица, захваченная неумолимым клювом, барахталась и выписывала всевозможные фигуры, скребла воздух короткими ножками, но все уже было кончено. Сокол исчез.

Тогда человек встал и увидел, что рядом с ним лежит винтовка, а на поясе у него ручная граната. Он вспомнил все сразу и сел от волнения. Ноги его сами подкосились. Человека этого звали еще вчера стрелком Иваном Зерниным.

Вчера еще он стоял в твердом списке сторожевых постов на границе Советского Союза, он знал свои обязанности, у него были заслуги и товарищи, любовь и дружба. Сегодня он беглец. Что же стало домом беглеца, как он выглядит, этот дом?

Унылые холмы афганских предгорий, пустынные травы, космы ковыля, огромное синее небо и далекие чужие снега. Что делать?

Он расстегнул ворот и шаг за шагом пробовал вспомнить вчерашний день. Осмотр каравана прошел в его памяти как далекий, десятилетней давности сон. Чем же он отрезал себя от жизни? Он убил помкомвзвода Челюскина. Песчаная буря, сквозь которую он прошел в полном беспамятстве и очнулся в Афганистане, идя без всяких троп вперед. Как это случилось? Сколько ошибок зараз может сделать растерявшийся человек. Надо было взять помкомвзвода на плечи и внести в Саары-Тепе. Надо было позвонить в крепость и все сообщить. Надо было, многое надо было сделать, но теперь уже поздно. Теперь он стоял на границе двух миров, не принадлежа ни к какому из них. Один мир он видел с высоты холма, на котором стоял.

Это была крепость. Она, как макет игрушечного Порт-Артура, лежала в ущелье и лепилась по его стенам. Небольшой вокзал железной дороги, сады, мачты радиостанций, белые домики Красной Армии, красный флаг... Там шел

трудовой день, размеренный, жаркий. Это было видение одного мира.

Другой начинался тут же, на холме. Гривы ковыля захватили холмы. Кое-где кривились уродливые фисташковые деревца, шуршали ящерицы, ни одного человека не было видно; правда, внизу, поодаль, можно было разглядеть жалкое скопление домиков и шалашей и темное пятно, понятное только знатокам этих мест.

Знатоки знали, что это сложены машины для несуществующей гератской фабрики, привезенные из далекой Германии через крепость и сданные в ближайшее афганское местечко. Перевезти их дальше в Герат было невозможно из-за полного отсутствия подходящего транспорта. Верблюды не годились для этой цели, а других способов перевозки не было. И машины стояли годами под дырявым брезентом и ржавели, досаждая начальнику селения своим мрачным и непонятным видом. В селении жили темные, нищие, непонятные люди, и сегодняшний день их походил скорее на день шестнадцатого века.

Пустыня окружала Зернина. Он чувствовал, что погиб. Ящерица, пролетевшая мимо его лица в клюве сокола, представляла как бы образ его собственной судьбы. Жара положила ему на плечи свои тяжелые руки, и так как ни одного пятна тени не было вокруг, он слабел с каждой минутой. Полный упадок духа походил на спуск в жаркий колодец, когда нога ищет дно, а дна нет, и нужно было найти дно, нужно было найти какую-нибудь опору.

«Сижу, сижу,— думал он,— а что сижу? Такого наделал, что уже все равно. Досижусь до басмачей, придут и зарежут. И так и надо. Таких сволочей и нужно резать зазря...»

Зернин как будто коснулся дна колодца, и некоторое успокоение сошло на него, и он, неподвижно созерцал огромную картину одичалого полдня, величавого и страшного в своей раскаленной раскинутости и безнадежности. Потом апатия начала очень незаметно слезать с него, как облупившаяся кожа, кусками. Он рвал траву и жевал ее бессознательно и бросал изжеванные клочья.

Чем больше он думал, тем больше он снова и снова проверял себя, тем больше он приходил к одному выводу: нет никакого оправдания тому, что он по какому-то недоразумению убил командира и бежал, правда заблудившись, в состоянии полной растерянности и испуга. Скажут: как может красноармеец так растеряться?

— Не знаю, не знаю,— говорил Зернин,— как там ни рассуждай, а я вот растерялся и сижу на этом дурацком афганском холме.

По выбитой тропинке далеко внизу пробирались всадники. Привычка бойца заставила Зернина лечь и спрятаться. Он успел только заметить, что всадники не были афганцами. На них были черные туркменские шапки.

День продолжался, поджаривая Зернина на медленном огне. Есть ему не хотелось, пить — об этом он боялся думать, но в горле пересохло, и глаза ввалились. Ящерица перебежала через его колени.

«Уж как по мертвому бегает»,— подумал он.

Басмач Мамед-Клыч с закрытыми глазами сидит на черной кошме, но он не спит. В юрте он один, и великий покой полдня стоит вокруг юрты, и великое смятение качает старое тело песчаного волка. Внезапный ли удар старости так плотно прижал его к старому войлоку и прочертил две новые морщины на лбу и посеребрил бороду? Болезнь ли ударила, как нож в поджилки коня, и лишила всех способностей?

Нет, не старость. Нет, не болезнь. Пословица, узнанная им в юности, прошла перед ним жарким сном: жители Мерва отличаются щедростью, но относительно женщин они слабее малых детей, надо быть очень уверенным в своих силах, чтобы отправиться в Мерв.

Он может отправиться в Мерв, и он знал, что такое женщины Мерва, и он знал, что такое пустыня... Ему захотелось сала, горячего сала. Он видит, как берут курдюки, свежие, пышные курдюки, и вытапливают их медленно и с увлечением. У него слюна липла на языке: мускулы и жилы курдючные превращаются в уголь, остается светлая жирная жидкость, мясо погружается в нее, как солнце в реку; поджаренные лепешки макает он в растопленное сало, и пальцы его испытывают наслаждение, и он больше не может терпеть, и он по праву старшего берет миску и пьет через край горячий жир,— как будто огненное небо опрокидывается в горло, потом он вытирает жирные пальцы о халат, сладостно рыгает, поднимает глаза и видит Гулям-хана, нависшие брови мертвого Гулям-хана, которого он предал.

Слюна высыхает у него во рту. Открываются пески, в которых он провел жизнь. Борозды, проведенные телами

змей, следы волков, ночные костры, тени бархана... Кулху алла ахат дала... Я, Магомет, смиренный раб божий, знайте, что ваше имущество и кровь запрещены друг другу. Именем бога говорю вам, если один из вас пошлет подарок другому, то он должен быть передан по назначению. Пуля, посланная в голову Гулям-хану, не была задержана, и назначение ее была смерть. Бог велел верить в загробную жизнь. Большевики не признают ее. Будут ли они жить вечно, кто сокрушит их?

Джунаид, царь песков,— слабая усмешка появляется на черных губах Мамед-Клыча,— он предал и Джунаида. Он хотел истины, но она — как колодец в песках: до нее, как до воды, нужен долгий канат и верблюжий труд; и никакой воды иногда нет. Истина — как вода: живет не во всех колодцах. Он знает цвет воды, он знает вкус воды от Ташкепри до Андхоя и от Ильял до Саары-Тепе...

Саары-Тепе... человек бросил Коран о землю, безумный большевик, и он не сдержал сердца и в тот же вечер убил кафыра с квадратиком на воротнике. Буря прижимала его к земле, как ветку саксаула, но разве мало он видел бурь.

Он служил большевикам, и он служил ханам, и опять большевикам и Джунаиду, и снова большевикам, и снова Джунаиду и самому себе. Извилист путь в барханах, а пророк уставил жизнь барханами. Кто прав?

Перехватили его письмо, посланное в Зульфагар, и в этом тоже истина. Он открывает глаза и смотрит вперед, в открытый вход юрты; видит он дрожащий знойный воздух, синюю эмаль, и верблюжье седло, и котел у входа. Одеяла сложены в юрте ровными толстыми пачками, и пиалы вложены одна в другую. Он поднимает голову, и широкий поток зноя вливается в верхнее отверстие юрты через решетку.

Куда идти Мамед-Клычу и где склонить голову? В Ашхабаде он видел женщин на фабрике, и это были туркменки в красных платках; и он видел в Мерве туркмен, и они шли в короткой одежде и в фуражках, и дети пели песни, не похожие на песни его юности.

Гулям-хан лежал с разбитым черепом; и много других лежали в барханах с глазами, полными песку, с ушами, полными песку, и по ним бегали толстые ящерицы.

Томление, не имеющее ничего общего со знойным днем, идет по жилам все выше к сердцу и охватывает его,— так пиалой накрывают цыпленка, цыпленок видит только мрак

и стучит крылышками о толстые стенки и ничего не может сделать.

Ухо Мамед-Клыча слышит стук копыт. Он знает, что войдет не женщина с кислым молоком, и не мальчик, утешение глаз, и не русский большевик с одним квадратиком на воротнике. Он сжимает губы, как будто откусывает нитку, и нитка не рвется, и зубы напрасно лязгают по ней. Полог откидывается шире.

Вошли четыре туркмена. Они смотрят на него, как на сундук, который надо погрузить на верблюда, но нужно сначала окинуть глазом, чтобы сообразить, как удобнее взять.

И он смотрит сначала на их пояса, потом на их подбородки, потом на их шапки, потом поднимает глаза к небу, и ему кажется, что в небе уже звезды.

Ближайший к нему туркмен вынимает нож, вонзает нож ему в горло, мясо расступается, шипя, освобождая кровь; туркмен не торопясь водит нож налево и направо, потом валит ударом Мамед-Клыча на землю; смотря, чтобы кровь шла в сторону от его халата, он расширяет влево и вправо широкую черную полосу и наконец говорит: «Эйтдинг» (слушайте),— он больше ничего не говорит, он ударяет ножом за ухом еще и еще, раз — за другим, и голова Мамед-Клыча лежит отдельно от плеч. И тогда туркмен ударяет ножом поперек лица.

Второй туркмен подает мешок, и убийца поднимает голову, держит ее над мешком, смотрит на нее, плюет в полузакрытый правый глаз, говорит: «Э, итли мунаарыг!» — спускает голову, как арбуз, в мешок и вытирает нож о халат убитого.

Зернин идет по щелям, заросшим ковылем, заваленным камнями, и мысли не в ногу с ним и все разные. То он видит себя дома на севере, среди товарищей и друзей в уличной демонстрации, на заводе, потом в казарме, в крепости, где одеяла сложены без единой складки, на наволочках вышиты звезды, на окнах висят прозрачные занавески, прохлада наполняет помещение особой сладостью; потом приносят щи и кашу и чай, горячий, как чайник, в котором его приносят; потом он видит заставы, пески... Он начинает вспоминать чужие ошибки, чужие промахи, неудачи,— не подвиги, не преодоленные трудности, не замечательные случаи находчивости, подмоги вовремя, храбрости, а чужую слабость, чужую растерянность, чужую гибель.

Один командир погиб потому, что слишком неразумно стал целиться в басмача, лежавшего на дне ямы, встав на край ее во весь рост. Оба выстрелили сразу, и оба убили сразу друг друга.

Красноармейца укусила змея, и он засмеялся, проколол ее штыком и не принял никаких мер, а к вечеру умер.

Разъезд заблудился в песках, и вместо одного колодца вышли к другому, потеряв всех лошадей.

Много случаев приходит ему на память, но чем они могут помочь? Один арестованный, подкопав глиняную стену крепости, бежал в эти же холмы, как и он, и сам пришел обратно через неделю, чуть не сойдя с ума от страха за жизнь, от жажды, голода и ужаса пустыни. Солнце идет опять на вечер. Долгий и страшный день прошел. Один день. А на сколько таких дней хватает одинокого человека в пустыне. Он помнит караванную дорогу, усеянную костями людей и животных, и пески назывались — «Конец человеку».

Тоска охватывает окрестности. Она рождается на горизонте, в мутном наплыве зеленовато-радужных теней и идет босыми ногами, хрустя солью долин, царапает ноги о кусты и камни, поднимается по щелям, по ковылю и трогает Зернина за руку; он сидит на пустом склоне и плачет, как последний мальчишка.

Зачем ему умирать? Ну какой смысл ему умирать? Он страдает малярией, и контузия мешает ему жить иногда, и он убил собственного командира. Если бы все это ему почудилось. Если бы припадок неизвестной болезни помутил ему голову — и есть какое-то оправдание его поведению, и ничего вчерашнего не было.

Солнце село. В небе растет ночь. Надо принимать решение тому, кто хочет принимать его. Ночью можно делать большие дела и можно тихо спать. Может ли тихо спать стрелок Иван Зернин, идущий по хребту с винтовкой наизготовку и с гранатой у пояса?

Он клянется в вечной ненависти к басмачам, которые мешают жить, мешают работать, мешают всюду; жизнь в этих песках и без них тяжелей тяжелого. Он видел, как живут пастухи и стада, изнемогая в голоде и лишениях.

Отыскать бы этого вчерашнего с его Кораном, приставить штык к его груди и потребовать ответа. Где отыскать его? Ночная птица насмешливо прошелестела над ним.

Он сел, вглядываясь в темноту. Из-за одной каменной стены шло тихое и мягкое сияние. Искорки взлетели в воз-

дух и растаяли. Он стал на колени и пополз. Если есть костер, то есть и люди. Если есть люди, то...

Он лежал на краю щели, и под ним, как будто на каменной узкой ладони, сидели три человека. Костер потрескивал, разгораясь быстро, и Зернин наблюдал их с проницательностью разведчика.

Скат, отделявший его от них, был не сильно крут. Сбежать вниз не представляло никакой трудности. Костер разгорался все больше. Лица людей, сидевших у костра, становились медными и особо четкими. Рядом с людьми лежали винтовки, и, по-видимому, за скалой были спрятаны лошади. Лежавшие были хозяевами этих мест, они не принимали никаких мер охранения. Они сидели и тихо разговаривали.

— Чему подвергаются люди, пьющие грязную воду? Рано или поздно они выблюют грязь или грязь съест их изнутри. Это говорил человек в Андхое.

— Разве ты бывал в Андхое?

— Я видел лицо человека из Шибергана, которого звали Халиф Саиб Кизыл Али, или же Ишан Халифа, я его видел, как тебя...

— А какие дела завели тебя к Андхою?

— У меня около Пальварта жил брат. У моего брата жена ушла с батраком, они снюхались на нечистом деле. Брат мой ездил с нами, и его застрелили в пустыне. А они прятали его золото. Я пришел вечером в аул и вызвал батрака, положил его в поле и оставил в нем кинжал, чтобы знали, кто это сделал. Я хотел сделать то же с женщиной, но она уехала из аула.

Один из туркмен взял мешок, поставил его на самое светлое место, запустил в него руки и вынул такой странный арбуз, что в глазах Зернина заколебался костер и сама каменная щель, в которой те сидели. Больше они не сказали ничего, потому что Зернин сорвал с пояса гранату, кольцо соскочило ему в руку, граната упала вниз, зловещим веером обметая костер. Затем наступила тишина, и в нее Зернин полез, как в воду, пробуя глубину ногой.

На другое утро в крепость въехал худой, мрачный красноармеец с блуждающими глазами и полуоткрытым от волнения ртом. Он сидел на поджаром карабаире и вел в поводу еще двух коней под туркменскими седлами.

Проезжая мимо госпитального сада, где на лужайке стояли кровати, он, жадно пробежав по лицам больных, круто задержал лошадь, соскочил с седла и бросился с самой дикой поспешностью к кровати, на которой лежал побледневший и забинтованный Челюсткин.

Челюсткин открыл глаза и не сразу понял, кто стоит перед ним. Приехавшего узнал хромой Подгорский. Он закричал:

— Без вести пропавший объявился! В плену был, товарищ Зернин?

Зернин, не отрываясь, смотрел на забинтованное плечо помкомвзвода, потом — в это утро он делал только решительные движения — он бросился к лошадям, отстегнул от седла пыльный мешок и, стараясь не раскачивать его, понес к больным. Уже несколько человек, любопытствуя, смотрели на это происшествие.

Он стал отгибать концы мешка, закатывая их, как рукав, стараясь не смотреть на мешок, за него смотрели другие. Когда его пальцы натолкнулись на твердое, он вздрогнул, сам не заметив этого, и быстро поставил мешок на кровать. Все увидели спутанную бороду, один полузакрытый глаз и сизый череп неправильной формы.

— Кто это? — закричал Подгорский, наклонясь к голове. Продольный легкий порез безобразил и без того страшное лицо.

— Не знаю,— сказал с внезапной вялостью Зернин, не узнав голову того, чей Коран он швырнул оземь на Саары-Тепе.

— Кто это? Кто это? — спрашивали вокруг.

— Колдун, сволочь его душу, басмач,— сказал Зернин и резко вытянул мешок вверх.

— Убери прочь,— закричал Челюсткин, повернулся и застонал.— Вези в комендатуру. С ума сошел.

— Есть, товарищ начальник,— сказал Зернин, взял мешок и с четкостью лунатика сделал поворот и пошел к лошадям, не оглядываясь.

1932

МИРАБ

— Я проспала,— закричала Гуль-Джамаль, отбрасывая одеяло.

Поля из Иолотани стояла на пороге с ворохом плакатов. Она была инструктором по шелководству на контрактации грены; среди синих халатов она проходила из аула в аул, без шляпы, без пальто, как на прогулке. Из аула в аул, день за днем — неделями. Когда случайные люди спрашивали ее, где она научилась так хорошо говорить по-туркменски, она делала удивленные глаза,— среди народа жить да язык не знать, на что это похоже!

— Как ты чулки-то надеваешь, Гулька,— сказала Поля,— шиворот-навыворот...

Гуль-Джамаль пропустила свои быстрые пальцы под легкую кожуру чулка и сбросила его с ноги.

— Тебе хорошо смеяться,— сказала она,— ты родилась в чулках, а я, ты сама знаешь, как давно я стала носить европейское платье. Я тебе скажу: первый раз надела платье, чулки, туфли — иду по улице, все смотрят, все злобятся, все смеются, от стыда деваться некуда. И правда, все непривычно. Платье выдали узкое, грудь, как облитая, наружу, юбка короткая — это после наших длинных штанов до полу, чулки спускаются, без халата, без рубашки нашей громадной. Теперь привыкла. А чулки всегда не той стороной надеваю.

— А я вот туфли на высоких каблуках не обожаю.— Поля сложила в угол плакаты и рассматривала свои загорелые руки.— К чему они — туфли. В наших песках с ними некуда. Нам форсить, Гулька, некогда. И верхом с ними неудобно. Стремя цепляют. Ну, Гуль-Джамаль, скорее оде-

вайся, я тебе помогу помыться да побегу. Я уезжаю в Хотаб.

Солнце сидело на кромке желтых барханов, уходивших в немыслимые шири пустыни.

Люди в халатах и люди в одних рубахах работали кетменями в узких и глубоких коридорах арыков, среди однообразных гулких шлепков выбрасываемой глины. Зеленые ковры люцерны и черные косматые шары знаменитых карагачей селения ощущались как стоящие в другом мире. Техник не раз опускался на самое дно арыка и щупал палкой толщину земли, задавившей воду.

Слово «вода» в этой стране было самым драгоценным словом. Распределителями воды по выбору селения всегда назначались опытнейшие бородатые люди, знатоки законов водяной жизни, хранители бесчисленных порядков арыков, разносивших благословенные воды на сожженные солнцем глины. Их звали, этих почтенных людей, мирабами.

— Где же мираб? — спросил техник.— Черт его знает, как быть с тем ответвлением. Я запутался прямо — налево поворот, налево поворот, направо пошло и опять направо, который настоящий арык, черт его знает...

— Мираб здесь,— закричала Гуль-Джамаль.

Да, Поля из Иолотани могла гордиться подругой. Гуль-Джамаль легко несла тяжелый труд мираба. На хошарных работах, когда Аму-Дарья в одну ночь, срезав головы арыков, заваливала их глиной и песком и нужно было часами расчищать арыки, она всегда наравне с техником руководила работами.

Она родилась с гулом воды в крови. Вода пела в ее ушах особым голосом, ей одной понятным. Она знала наизусть порядок пуска воды по бесконечным жилам арыков, она сейчас угадывала, где нужно перекопать легкий вал, чтобы вода, задавленная глиной, снова, играя, пошла бледной струйкой к селению; все узлы этих голубоватых потоков были в ее тонких руках. До революции ее не подпустили бы и близко к священному труду мираба. Она бы носила тяжелый котел саммока на голове, обвешанный монетами, яшмак зажал бы ее узкие губы, она спотыкалась бы по глине с ведром из верблюжьей кожи, теряя с ног рваные туфли.

Тоскливо, выворачивая душу, скрипели чигири. Верблюды с завязанными глазами, чтобы не сойти с ума от бесконечного кружения, тащили из колодцев одни и те же сосуды с водой. Перед ними сидели старики, тупо уставив

глаза в землю, водя по земле тонкими ивовыми прутиками.

Полдень вывел людей из огромной глиняной пропасти. Положив кетмени на плечи, рабочие шли обратно в селение. У карагача на деревянной шатучей скамейке сидел старик, распахнувший халат и злобно чесавшийся. Увидев Гуль-Джамаль, он сплюнул:

— Что толку, правоверные, если дехканин увидит осенью, что он получил меньше люцерны, хлопка и пшеницы, и спросит: зачем твой колхоз? Ты будешь каяться и бить себя по бесплодным чреслам: зачем твой колхоз?

Гуль-Джамаль подошла так близко, что край юбки коснулся пестрого, как язва, халата.

— Хаджи-кули, почему ты опять пришел? Нечего делать баю в колхозе, бывшему баю...

Старик улыбнулся, как улыбаются больные обезьяны. Он вынул из-за пояса тыкву и вытряс горсть синего порошка на ладонь. Он не проглотил порошок, он скатал его в шарик и спрятал шарик между языком и губами.

— Люди,— зашамкал он, перекатывая во рту шарик,— люди растерялись, женщина, они не знают, живут они или не живут... С твоим колхозом.

— Ты черный человек,— сказала серьезно Гуль-Джамаль.— Ты не понимаешь новых дел. Как сказала Тойдже: «Я потеряла сына-батрака, я прошу успокоить мое сердце — пусть уйдут все, кто не хочет,— я останусь в колхозе». Как сказал Измаил: «Гоните меня из колхоза — я не уйду, я — батрак, а колхоз — это дом батрака».

Старик глядел полными отчаяния глазами на стройные ноги девушки в рыжих новых чулках.

— Женщина без стыда — как пища без соли,— сказал он,— отойди от меня. Я гляжу, милая, чтобы не умереть с тоски. Придет, о, придет Али-Мухамед и, как огонь, пожрет твой колхоз. И ты заплачешь, женщина, и будет поздно.

Тогда Гуль-Джамаль внимательно посмотрела на старика и вспомнила историю милиционера Али-Мухамеда, бежавшего в Афганистан и ставшего басмачом, милиционера, бывшего вором и чилимщиком, человеком безнадежным и опасным.

Старик равнодушно тянул сквозь зубы старую, как он, песню. Гуль-Джамаль прошла между глиняных башен, воскрешавших в памяти древнюю славу Египта, и вступила во двор, обставленный тяжелыми дувалами.

Посреди двора в юрте сидели три человека и молчали. Один держал свою шапку на коленях, и она была такая ог-

ромная, курчавая и неподвижная, что казалось: у него на коленях спит черная овца. У другого молчальника глаз был завязан красным платком с белыми цветами. И это походило на рану, сочащуюся кровью. Третий носил гимнастерку под халатом, и это был председатель колхоза. Он сидел и писал, очки ездили у него на носу, пот смазывал их, как деготь колеса. Пиалы стояли в беспорядке на коврике, и туфли валялись между огромными чашками, и рыльце чайника засматривало в одну из туфель с удивлением, потому что в туфле бегал жук и не мог найти выхода.

— Гуль-Джамаль,— сказал председатель,— можно ли дать бумагу на девочку, которая уверяет, что ей шестнадцать лет, а вот люди говорят: ей нет четырнадцати?

— Про кого ты говоришь, Курт-Мурад? — спросила она и налила себе зеленого чаю.

— Я говорю про Нур-Мамеда и Анту-Наяз.

— Но ведь Нур-Мамед купил ее у родителей.

— Тсс, Гуль-Джамаль, тсс... кто скажет так — нехорошо скажет. У нас нет слова о калыме, а есть слово о том, сколько ей лет...

— Ей пет и четырнадцати лет, и ты это знаешь. Пусть они едут в Керки и там в исполкоме все объяснят... Слушай, Курт-Мурад, Магомет-Оглы пришел снова, и сидит под карагачем, и зовет на нашу голову басмачей. Я думаю: он пришел все высмотреть. Сегодня в кооператив привезли мануфактуру и чай. Дай знать на заставу...

Она встала и споткнулась о хомут, лежавший рядом с ковриком. Председатель смотрел на хомут и жевал губами.

— Хомуты прислали, Гуль-Джамаль,— для лошади узки, для ишака широки, верблюду — никуда не годны, хоть сам носи.

— Это вредительство,— возмущается Гуль-Джамаль,— напиши об этом в Керки и задержи сегодня же Магомета-Оглы.

— Что ты хочешь, женщина? — Председатель откидывает полные влаги стекла на лоб.— Ты хочешь его арестовать?

— Да, я хочу его уничтожить,— просто отвечает Гуль-Джамаль и уходит.

В вечернем сумраке старик у карагача останавливает ее, и его белая иссохшая рука как старая ветка саксаула.

— Гуль-Джамаль, женщина потеряла стыд,— и стала как пища без соли. Ты предаешь дядю своего, ты — дочь брата моего, Гуль-Джамаль...

Ярость потрясает узкое тело девушки. Она стала кочевницей, забывшей европейское платье и привычки города. Она стоит перед стариком, как женщина пустыни, наездница и охотница, мать бесчисленных орд, с перекошенными ястребиными бровями.

— Кто загнал в могилу мою мать — рабыню и батрачку, Магомет-Оглы? — спрашивает она.— Кто стер ее с лица земли? И я сотру тебя, Магомет-Оглы, как глину между ладоней.

Она проходит, и старик смотрит ей вслед глазами сумасшедшего верблюда, облизывая губы толстым, распухшим языком.

На коврах в Госторге едят плов. Приезжий практикант показывает фокусы со спичками. Армянский лев Госторга, уверенный и ловкий, как жонглер, Назарьянц смотрит шкурки баранов и старые ковры, привезенные из пустыни. Гуль-Джамаль идет в темноту двора, где фыркают лошади и бегают огромные псы, сторожа Госторга. У Гуль-Джамаль свои дела, свои тайны. Она ищет назарьянского вестового, чтобы узнать, сообщено ли на заставу о том, что Магомет-Оглы снова пришел.

Большой туркмен-салор, улыбаясь, шепчет ей на ухо: «Еще звенят кокача, а уж звон там записан»,— он показывает в сторону заставы.

Гуль-Джамаль хочет вернуться на террасу. От столба отделяется человек. Это Нур-Мамед.

— Здравствуй, Гуль-Джамаль.

— Здравствуй, Нур-Мамед...

— Это ты сказала, что Анту-Наяз нет четырнадцати лет?

— Я,— отвечает она.— И ты ничего не скажешь другого. А если ты возьмешь ее силой — ты будешь в тюрьме. Это мое слово! А теперь дай мне пить мой чай спокойно. Одна суматоха с вами.

И она идет прямо на него, и Нур-Мамед уходит за столб, как будто он никогда и не появлялся.

Гуль-Джамаль пьет чай, и смотрит привезенные из пустыни серые полосатые шкурки и пыльные старые ковры, и слушает практиканта. Она знает теперь наверняка, что сегодня ночью из пустыни придет безумный милиционер Али-Мухамед. Ну что же, у нее на стене висит винтовка. Маловато патронов, но на заставе уже знают. Комсомолу все равно придется сражаться, не в первый раз.

Жаль, что Поля уехала в Хотаб. Вдвоем было бы веселее.

Назарьянц пьет двенадцатую пиалу зеленого чаю и смотрит на нее львиными глазами.

— Ты придешь сегодня? — спрашивает она, смотря в широкую и душную темноту двора.

— Приду,— говорит одними губами Назарьянц.

— Тогда захвати с собой четыре обоймы. Четырех хватит.

— А, Али-Мухамед? — восклицает Назарьянц и наливает себе тринадцатую пиалу.— Хорошо, захвачу...

1933

ВОСПОМИНАНИЕ

Праздничная демонстрация кончилась. Трибуны опустели. Площадь была забита людьми, двигавшимися уже в разных направлениях, но взволнованность, остающаяся после прохождения вооруженных и невооруженных тысячных колонн, наполняла очевидцев.

Еще как бы висел в воздухе грохот промчавшихся всадников, и блеск клинков остался в памяти, как морозное серебро; еще дымные облака, сопровождавшие боевые машины, струились, напоминая пороховой дым; еще глаз следил мерное движение множества плакатов и стягов, стремившихся по восьми коридорам. Гул приветствий как бы поддерживал качавшиеся в высоте производственные модели, гербы профсоюзов, а также разноцветных веселых кукол летучих инсценировок.

Даже в небе, где висел только неуклюжий сверток привязанного аэростата, дрожал еще хрип могучих крыльев, выраставших звено за звеном из-за стеклянного купола вправо от арки штаба, где бронзовые кони рвались в сторону, испуганные вихрем, пролетавшим над их буйными гривами.

Люди расходились с трибуны, обмениваясь впечатлениями. Каждый вспоминал поразившую его особенность. Кто восхищался первоклассной военной техникой (а главное, все свое, своими руками сделано), кто поражался мощностью зрелища одновременно вступавших на площадь всех районов, кто вспоминал отдельные живописные детали украшений колонн.

— Да,— сказал мой спутник,— я был на этой площади в день пятнадцатилетия Октября. Над площадью висел такой густой туман, такой низкий и тяжелый, что ни один

самолет не мог взлететь, да если бы и взлетел, то его все равно никто бы не увидел. Самое странное было то, что этот туман даже не был заметен снизу, и только тогда, когда оторвались целые связки воздушных шаров, разноцветных и веселых, полетели вверх и вместо легкого колыханья в небесной синеве сразу ухнули куда-то и стали невидимыми, все увидели, что их поглотил ужасный туман. Небо потемнело совсем. Стали стрелять из ракетных пистолетов, и под этот грохот, под клубы ракетных огней площадь заняли красногвардейцы, ветераны Октября, шагавшие впереди колонн в черных кожаных куртках с винтовками, с решимостью семнадцатого незабвенного года на лицах, и сквозь туман, порванный местами ветром, на крыше здания штаба заблистали, как перебрасывающиеся языки пламени, флаги всех огненных оттенков. Вот, доложу вам, было зрелище, достойное описания. Такая мощь и суровость жили на площади, что дрожь прошла по жилам, и чувствовалось тогда со всей силой, что такое масса, народ, что такое пролетарская энергия, пролетарская героика... Где были живописцы, которым сам этот вид приказывал брать кисть и работать...

— Массы в живописи,— сказал второй собеседник,— еще достойно не изображены. Когда я смотрю на суриковские картины, то я вижу народ того времени так, что мне понятен каждый человек и его движения и жизнь в картине. Вспомните «Утро стрелецкой казни» или «Битву Ермака с татарами», возьмите Репина с его большой натурой, «Запорожцев», «Бурлаков». Разве там скомкана хоть одна подробность? Посмотрите хорошенько...

— А почему вы вспомнили Сурикова и Репина?

— Почему? Да потому, что я был на выставке двенадцатилетия советской живописи, искал изображения народа, сделанного, как говорят, кистью мастера. Ну, знаете... Я нарочно выбирал холсты, где были представлены демонстрации. Там такое было понарисовано: то веселенькая толкучка, то этакая серая икра, перепоясанная красными бантами, а то просто черные запятые бежали вместо людей посреди скучнейших кубиков, изображавших, по мнению художника, наш город. Так ходил я, ходил, смотрел, смотрел и ушел, никакого изображения народа не обнаружив.

Тут третий собеседник перевел разговор.

— Меня поразили оркестры,— сказал он,— это зрелище особое, когда до них доходит очередь идти мимо трибуны, и они все соединяются, и всадники-трубачи выезжают с се-

ребряными трубами вперед, и лошади в такт трясут гривами и перебирают ногами, и гремит медь громадного единого оркестра,— это зрелище такой силы и грации, что стоит лучшего балета.

— Ну, уж вы хватили, балета,— возразили ему,— в музыке наши массы тоже отсутствуют, по причине, видно, страшной трудности их изображать...

— Пафос в музыке масс, товарищи, я испытал раз,— сказал один из группы,— и как еще испытал, и от какой еще музыки. На фронте в гражданскую Первого мая сообщили отряду, что приезжает комбриг, будет смотреть отряд. Почистились, приготовились, а музыки — ну, никакой. Что делать? Сообразили, туда-сюда сбегали, достали, что вы думаете? Шарманку, да, обыкновенную шарманку. Поставили ее на правый фланг и под нее, изображавшую какую-то революционную песню, пошли мимо комбрига. Шарманка в красных лентах, люди идут веселые, и эта старая шарманка пафос такого качества дает, что можно сто километров с боем пройти. Вот вам и простая шарманка...

— Ну, а ты читал где-нибудь такой случай, это тоже было на гражданской: за два дня до Первого мая пришел в полк обоз, привез подарки из тыла. А в обозе, между другими подарками от рабочих, сигары, наследство от буржуев, уж не помню, сколько ящиков. Эти сигары роздали, пришлось по две на бойца, и в приказе было отдано: одну курить можешь когда хочешь, а другую до особого распоряжения строжайше курить запрещалось. Потолковали бойцы; в чем дело — никто не понимает. Берегут вторую сигару. Бои шли тогда отчаянные. Понадобилось нам в самое Первое мая тогда контратаку ударить. Тут и вышел приказ: как в цепь рассыпаться, каждому бойцу сигару закурить. Пустяк, кажется, а такой вид у бойца с сигарой в зубах, такое спокойствие, уверенность; пошли в бой, с белыми сблизились, смотрят беляки, что за дьявол. Идут цепями красноармейцы в потрепанных шинелишках и сигары курят, идут в атаку, как на маневрах в старину. Раненые, упав, поудобнее устраиваются, чтобы сигару докурить... Духом не падают. Вот бывало как... И разбили белых наголову в том бою... А в наших книгах иногда бывает так, что мы, то есть люди тех героических лет, тоже чем-то вроде живописных запятых выходим.

— Нет, дорогие товарищи,— заметил третий,— вы не совсем правы. То, что вы рассказывали о случае с сигарами и шарманкой, это, конечно, случаи и по тому времени осо-

бые. Но, в общем, правильно, что подойти с большой изобразительной силой и глубиной к теме гражданской войны не всякому удается. То ли тут играет роль, что смотрим мы на эти в сущности необыкновенные события как на обыкновенные, то ли это инерция искусства, то ли действительно у художников наших некоторая бездумность или, вернее, историческая радость в зрелище победившего народа останавливает глаза искусства... Она так всеобъемна, что к ней добавить искусству нечего...

— Не думаю,— отвечал человек, рассказывающий про сигары,— не думаю, что наши ежегодные торжества не могут нести вечно новых мыслей и ощущений. Следует их поискать средствами искусства, а вдруг и найдутся.

— А вы пробовали искать?

— Да я что, я не человек искусства, я простой смертный. Честно скажу: ни кистью, ни пером, ни нотами не владею. Я больше по экономической части специалист.

— То-то,— сказали ему,— владели бы, так мы бы вас сейчас к стенке и прижали.

— А чего меня прижимать? Я вам лучше один случай расскажу, который со мной однажды на этой площади приключился, во время Октябрьского праздника. До сих пор забыть не могу.

— Что же вы думаете: в вашем случае есть отношение к нашему разговору?

— Есть некоторое отношение, вы только меня не торопите. Видел я раз такого первомайского тибетца.

— Что, тибетца? — хором сказали все.— Это уже экзотика.

— Экзотики, дорогие, у нас нет. У нас, как говорится, всюду жизнь.

— Ну-ну, рассказывайте.

— Стою я и слышу: сзади кто-то тихо вздыхает. Раз вздохнул, два; я оглядываюсь: стоит человек и на демонстрацию смотрит не по-нашему. Так необычно и упрямо смотрит, что я был просто поражен, встал рядом с ним. Он смуглый, глазами чуть косит, скуластый; смотрит и что-то глубоко переживает. Как окончилась демонстрация, я с ним и увязался. Он по-русски говорит. И пошел он мне рассказывать. Сам он был из Тибета. Что я о Тибете знал? Что Тибет — это страна чудес. Далай-лама там, яки там ходят длинношерстые, монахов много. Вот и все, что я знал. Я вам, конечно, все тамошние имена, о которых он говорил, передавать не берусь. Я забыл эти города и горы, а расска-

жу самое существенное. Этот тибетец пришел из Тибета в Индию; он почти ничего не слыхал о нашей Октябрьской революции, и раз Первого мая был он где-то там в Индии. Идет он и видит: движется ему навстречу большая толпа народу. Было это не то в двадцатом, не то в двадцать первом году. Среди народа идут слоны, украшенные пальмовыми ветвями. Он спрашивает: что это такое. А был он не один, с приятелем. Ему отвечают: это праздник, садись с нами. Сели они на слона и поехали. Видит он, что вокруг по всем дорогам идут люди и движутся слоны. Насчитал он слонов до тридцати. Один слон украшен особо, и на спине у него палатка, убранная цветами, листьями, материями. По бокам слона идут люди с большими веерами на палках и машут ими.

В палатке же стоит фигура человека, а по краям палатки сделана надпись индийскими буквами, очень красивая. И никак ему эту надпись не удается прочесть: слон все вперед уходит. Так пришли на огромное поле, все занятое народом. Увидел народ слона, несущего палатку с надписью, стал радостно кричать и петь. В разных концах поля заиграли музыканты. Мальчики стали пускать в небо бумажные змеи. Надписи на них похожи на надпись на палатке.

Он спрашивает, уже с нетерпением, что там написано.

Ему отвечают: там написано — это наш отец.

Тут весь народ радостно закричал и обступил слона. А тибетец все не может понять, чье же это изображение стоит в палатке. И вдруг он услышал, как весь народ, все тысячи людей закричали: «Ленин наш отец! Ленин наш отец!» С этого дня у него в памяти остались эти слова, и он стал расспрашивать всех, кто такой Ленин. Когда он узнал все, что мог узнать, он решил во что бы то ни стало добраться до России. После больших трудностей ему удалось приехать в Ленинград. Он прилежно учился русскому языку, выучился читать и говорить. Он научился многому, о чем раньше и не слыхал. На этом празднике Первого мая в Ленинграде он был впервые.

— А отчего же вы вздыхали, вы что-нибудь думали? — спросил я.— Может быть, вы смотрели на наших демонстрантов и вспоминали родину?

— Да,— сказал он,— я вспоминал родину. И думал вот что: у нас на родине и народ еще темный, дикий. Все пастухи да попы. Кто не пастух, тот поп. И попов даже больше. И всем они правят и учат в монастырях, что есть такое

колесо жизни, данное с неба. И по этому колесу все вперед известно, что будет. И в колесе этом нарисованы все грехи и все злоключения, которые есть в жизни этой и загробной. От этих мучений нет спасенья бедному человеку, и он может только работать на попов, изобретших это колесо, чтобы они молились за него богу, и тем единственно его участь облегчали. И вот когда я смотрел на эту площадь, на которой гудел, как море, народ, я понял, что попы наши в одном не солгали: есть колесо жизни на свете, но это совсем не их колесо. И здесь, на площади, я вздыхал потому, что видел всю жизнь заново...

— Интересно,— спросил я,— как же вы в этом колесе на площади видели всю жизнь?

— Видел,— сказал он мне убежденно.— Я видел младенцев на руках матерей. Они смотрели свободными, веселыми глазами на знамена и оружие отцов. Я видел юношей и девушек, несших, как знамена, вещи, которые они, трудясь, дали своему народу, я видел зрелость, вооруженную знаменем мира, и могучее оружие, защищавшее это знамя от врагов. Я видел старость, шедшую в рядах, почтенную старость мастеров своей жизни, учителей молодых поколений, состарившихся в труде среди внуков и сыновей. Я видел, как в колесе жизни все возрасты сразу, в одно время, в одном месте как единое, могучее движение идей, а в тибетском колесе, что нарисовано попами, только одни чудовища щелкают зубами над телом бедного человека. Вот почему и вздыхал. Я вздыхал от радости, от того, что я достиг новой, высшей мудрости и так ясно вижу свою жизнь вперед...

Вот какой это был тибетец.

— Вы узнали, кто он, что он?

— Он был рабфаковец, я не расспрашивал его больше. Для меня он был то, чем он сам хотел быть: человеком народа, человеком из этого самого нового колеса жизни, которое со звоном прокатывается каждое Первое мая и Седьмое ноября по всему миру.

1937

В ДНИ ВАСАНТЫ

Словом «васанта» — весна — называется в Индии время с середины марта до середины мая. Одним весенним апрельским днем мы ехали вдоль большого канала, берега которого уходили, казалось, в бесконечность. Ровно и спокойно струилась вода, сжатая искусственными берегами — вода Нангальского канала. Это было вполне современное сооружение, и глаз регистрировал желто-белую, вымеренную покатость берегов, аккуратность переходных мостиков, стремительно пролетавшую вдоль канала дорогу.

В памяти еще жили впечатления недавних дней, проведенных в Дели на конференции азиатских народов, пестрые заседания, на которых ораторы являли всю живописность Востока, и можно было без конца наслаждаться удивительной выразительностью лиц и великолепной пластикой движений, темпераментностью речей и глубокой правдивостью сказанного.

В памяти жили улицы Дели, всегда полные народом, улицы, на которые струились потоки весеннего солнца, зелень старых тамариндов и смоковниц, платанов и пальм.

Прошлое вставало перед нами в бесчисленных памятниках старины. Так хорошо было поехать вечером подышать прохладой за город. В тени древних башен и гробниц серыми тенями по полям шмыгали обезьяньи стаи. Завидев человека, обезьяны прибегали на дорогу, прямо из рук брали орешки и с самым серьезным видом щелкали их, держась за вашу руку тонкими, сухими пальцами доверчиво и крепко. Птицы садились рядом с вами на балконе в гостинице и не обращали внимания на вас, перебирая свои яркие перья красным или зеленым клювом. Они знали, что

вы не сделаете им больно, не ударите их, не прогоните с балкона. Это была страна, где тысячелетьями берегли и уважали птиц и зверей. Коровы ходили по улицам между автомобилей и троллейбусов, как будто они были одни на свете. Их нельзя было даже пугать звонком или резким окриком.

Голые и полуголые люди работали в садах и на полях. И так было не только сегодня, так было столетьями. Новое встречало вас большими современными зданиями, машинами двадцатого века, дворцами банкиров и магараджей, крытыми галереями современных базаров, где продавались товары со всех концов света, лабораториями институтов и университетов, шумными толпами молодежи, афишами кино с широкими экранами и всепроникающим голосом радио.

Мы ездили в старинную Агру, где можно было подняться в безмолвие мавзолея великого Акбара, чей саркофаг высоко лежал, открытый синему небу, и по стенкам, окаймлявшим гробницу и этот вознесенный к небу прах, были начертаны стихи поэмы, прославлявшей грозного падишаха. Мы не в первый раз смотрели на тающие в синем просторе снежные, тонкие глыбы Таджь-Махала и путались в лабиринте комнат, зал и переходов старой крепости, стоя в молчаливом раздумье на том балконе, с которого шах Джехан смотрел каждый день на могилу своей жены Мумтаз. Ей он воздвиг памятник, подобный которому не имеет ни одна женщина в мире.

Но в этот день, когда наша машина плавно скользила вдоль Нангальского канала, мы увидели другую Индию, которую навсегда запомнили. Целый день мы провели в тех местах, где сооружается грандиозная плотина Бхакра-Нангал Дамм.

Мы увидели индийцев, от простых рабочих до инженеров, занятых огромной созидательной работой. Мы поднялись к тому месту, где сегодня между двух отвесных стен ущелья, стремительно спускающихся к дикому, не покоренному пока Сетледжу, висит пустота. Эта пустота должна исчезнуть. Пространство между ничем не связанными скалами будет навеки связано крепчайшей стеной-плотиной. Даже трудно было представить, что там, где синий воздух прозрачен, как тончайшая кашмирская ткань, повиснет стена с воротцами, в которые будет стремительно падать вниз вода косматыми, пенистыми столбами, потому что высота плотины двести двадцать метров.

Еще более удивительно было смотреть назад, туда, к горам, где над голубой долиной дымки над мирными селами говорили о безмятежной сельской жизни. Когда в этой пустынной высоте встанет стена плотины, там, где сейчас движутся по дорогам люди и животные, машины и экипажи, там будет безмолвно лежать огромное озеро, которое поглотит свыше трехсот пятидесяти деревень. И грохот падающего потока будет похоронным гимном свободному, дикому Сетледжу, который сегодня, предчувствуя свою участь, ревет среди берегов и завивает крутые кольца беснующейся воды.

Мы видели сырые, пахнущие холодным мраком туннели, где помещаются отводные каналы, мы видели много грузовиков и самосвалов, отвозящих выбранный грунт, мы слышали хрип машин, взбирающихся на верхний отвес, видели тружеников, чьими руками изо дня в день сооружается эта невиданная для Индии плотина. Тут говорили по-новому даже цифры, цифры, которых не знало прошлое. Минимальная мощность станции в засушливый сезон выражалась в цифре 400 000 киловатт, максимальная мощность станции в сезон дождей в 900 000 киловатт.

Весь день были мы под впечатлением этого замечательного зрелища, когда люди, вступившие в борьбу с горами и водяным диким потоком, твердо решили добиться своего.

И когда наша машина двигалась вдоль нового канала, мы с удовольствием наблюдали новый пейзаж, свидетельствовавший о воле великого народа, приступившего к преобразованию природы своей страны.

Шофер наш замедлил ход машины, потому что у дороги сидели люди. Одежда этих отдыхавших была самая обычная, выражение их лиц было такое, какое бывает у всех усталых людей, долго несших тяжелый груз и присевших отдохнуть недалеко от воды, чье легкое и прохладное дыхание освежало разгоряченные лица.

Они сидели и полулежали, между ними стоял паланкин. В такой стране, как Индия, этот раскрашенный, легкий паланкин не был чем-то особенным. Но шофер сказал одно слово, которое привлекло к паланкину наше внимание. Он сказал: это невеста!

— Они несут невесту,— сказал шофер, и мы увидели ее. Полулежа в паланкине, она смотрела на воду канала, бежавшую перед ней. Переливающееся разными красками сари, цветы, лежавшие на коленях, белевшие в ее волосах, сверканье, в смутном полумраке паланкина, ее ожерелий,

браслетов и колец делали ее похожей на существо из другого мира. Это был облик древней, потерявшей счет векам Индии, уходившей в бездну времен, образ, виденный на скалах Аджанты и красочно живший на картинах древних мастеров. И, однако, это был лик юности, самой цветущей, победоносной и современной. Это было смуглое юное лицо, как бы освещенное изнутри светом любви, жадного любопытства к миру, который она впервые видит и который с каждым шагом все больше раскрывается перед ней.

То, что простой девушке оказывали такую честь взрослые люди, почтительно и бережно несшие паланкин с ней, было понятно. Они несли собственную любовь к жизни, к молодости, ко всему, что они считали лучшим и значительнейшим в жизни. Они сами были когда-то молоды, может быть, уж и не так давно. И мне показалось, что я вижу сразу и прошлое, и будущее, и настоящее. Девушка смотрела на канал, на сооружение нового века, на то, что не видели ее предки, большими пылающими глазами юности, но в глубине ее души жила женщина древнейшей страны, которая верила в то, что она сейчас выполняет какой-то не совсем ей понятный, но обязательный долг, идет в дом к человеку, с которым она основывает семью, и должна будет родить детей, продолжить племя великих тружеников, и пусть ей будет трудно, но сейчас она молода, и эта весенняя природа, как и этот созданный людьми канал, веет на нее чудесной прохладой, как бы подбодряя в дальний путь.

Ее переносят из прошлого в будущее близкие ей люди, которые сейчас отдыхают, потому что нелегко нести паланкин из селения в селение; и пока машина медленно проезжала вдоль канала, мы не сводили глаз с этой юной девушки со сверкавшим в полумраке паланкина восторженным и задумчивым лицом.

Крестьяне, несшие паланкин, были одеты так же, как те, что сооружали грандиозную плотину. И это роднило их и сближало самые далекие времена.

Вокруг нас жили исторические воспоминания. Это был край сикхов. Вот гора Нана деви, сикхская крепость и храм, где были приняты законы Гуру Гобинд Сингха. Здесь заклял он сикхов носить длинные волосы, большой кинжал, длинный гребень, штаны особого покроя и сикхские браслеты. Сегодня сикхи смелые солдаты и воинственные шоферы, ведущие машины так, как будто они мчатся в битву. Но они остались сикхами, берегущими свой

Золотой храм в Амритсаре. Но изменился старый Амритсар и изменились они.

В синем сумраке вечера наша машина резко затормозила. Тихий свист, исходивший из лопнувшей камеры, говорил о том, что на дороге попадаются гвозди.

Машина остановилась. Дорога, обсаженная деревьями, была пустынна. Недалеко от места остановки был виден маленький колодец. Скрип старого ворота был слышен издали. Над колодцем склонялись девушки и женщины, пришедшие за водой. У нашего шофера оказалась запасная камера. Но он был романтик по природе. Он, имея запасную камеру, не имел ни одного нужного в таком случае инструмента. Нам нечем было развинтить гайки, нечем было приподнять машину. Он вышел на дорогу и встал, подняв руку. Так как на ближайших машинах не оказалось нужного инструмента, то мы не могли ничего предпринять. Крестьяне, возвращавшиеся домой, наталкивались на нашу машину и останавливались из любопытства.

Потом нашелся шофер, который остановил свой грузовик, и с него тоже спрыгнула толпа любопытных, окружившая нас. Одни добровольцы храбро вместе с нашим шофером полезли под машину, помогая ему добрыми советами, другие стали спрашивать, откуда мы, и, узнав, что мы — советские люди, в радостном изумлении всплескивали руками и засыпали нас вопросами. Через пять минут на дороге шла самая оживленная беседа. Мы еще полчаса назад не могли думать, что под старыми деревьями, рядом с древним колодцем мы будем говорить с народом, с самыми обыкновенными людьми, с крестьянами, которые с какой-то особой жадностью хотели все узнать в несколько минут. Они спрашивали, правда ли, мы будем помогать индийскому народу, правда ли, что советские люди будут строить в Индии металлургический завод и научат индийцев, как стать металлургами, правда ли, что мы продадим им станки и машины. Многое было сказано ими в тот час, пока наш шофер сменял камеру. Было вместе с тем что-то трогательное в том добродушном и любовном внимании, с каким люди слушали наши ответы. Как будто мы ехали специально к ним, и эта встреча на дороге не случайность, а где-то давно обговоренная встреча, которой они долго ждали.

Были удивительны их глубокие дружеские речи, их приветы, которые они просили передать советским людям,

их верное и хорошее понимание происходивших событий, их большая вера в советский народ. Было это удивительным потому, что эта любовь к советскому человеку у них родилась не вчера, что доверие, которое жило в их словах, не было внешним выражением вежливости, присущей этому доброму народу. Весь разговор был сознательным и серьезным.

Мне стало жарко, и я пошел к колодцу, чтобы выпить воды. Когда я подошел к каменным ступенькам, залитым водой, там была только одна женщина, которая протянула мне кувшин, и я напился и поблагодарил ее.

Обернувшись, увидел я рядом с колодцем нечто вроде часовни — глиняный домик с решетчатой запертой дверью. Я посмотрел сквозь решетку и увидел две глиняные фигурки, стоявшие рядом на камне вроде алтаря. У ног их лежали скромные букетики полевых цветов. Я узнал этих небожителей, которым принадлежал крошечный храмик. Это были Кришна и Радху. В сумраке вечера огромные духи прошлого превратились в маленькие фигурки из детской сказки. Они были скромны, и добры, и полны изящества, эти фигурки, сделанные рукой местного мастера: Кришна — одно из воплощений бога Вишну и Радху — супруга возницы Адхиратхи, усыновившая и воспитавшая Карну, победоносного сына бога солнца и девы Кунти. Так говорит индийская мифология.

Казалось, они нарочно притворились маленькими, чтобы не смущать людей, приходящих за водой к колодцу или отдыхающих в тени рядом с их крошечным храмом. А может быть, так изменились времена, что люди, толпившиеся сейчас на дороге вокруг нашей машины, были большого роста, а сказочные видения прошлого уступили им дорогу и вернулись в сказку, чтобы не хвастать больше своей божественностью и силой, о которой говорится в древних книгах.

И снова в этот день я ощутил, как прошлое стоит рядом и как будущее выходит, как полная луна из соседней рощи. И, может быть, добрые люди этих мест пожалели этих старых богов и сделали им маленький домик у дороги, чтобы они там спокойно доживали свою старость, уверенные, что большие дети сегодняшней Индии, работники и создатели будущего великой страны, никогда не обидят далеких снов своих предков, воплотившихся в эти маленькие, сказочные фигурки — Радху и Кришна.

Мне понравились эти божественные фигурки, живущие

между людьми, так ясно представляющими свое будущее. Когда наша машина была готова к дальнейшему пути и мы тепло прощались с нашими друзьями-крестьянами, один из них сказал с лукавой улыбкой: «Как хорошо, что ваша машина сломалась. Если бы она не сломалась, мы не имели бы возможности с вами поговорить по душе. Да что поговорить, посмотреть на советских людей. Мы их любим давно, а видим в первый раз. Ну, теперь вы будете приезжать к нам чаще. У нас тоже есть что посмотреть. Хотя бы нашу плотину...»

В нем уже говорила гордость строителя и патриота своей страны. Мы расстались горячо, пожимая до боли друг другу руки. Скоро люди и боги крошечного храмика растаяли в вечерней мгле. Но мы, конечно, еще не раз вернемся в эти места, и этим людям будет что нам показать.

Я вспомнил снова строителей гигантской плотины и этих чудесных друзей, безыменных крестьян, когда читал на днях речь Джавахарлала Неру, произнесенную им в городе Амритсаре, на митинге, где присутствовало триста тысяч человек. Там, конечно, были те же простые люди, которые являются надеждой и опорой страны. Неру сказал: «Мы находимся накануне начала новой главы в истории Индии. Она откроется в будущем году, когда начнется осуществление второго пятилетнего плана. Мы решили осуществить в этот период нашу промышленную революцию и догнать другие страны, которые начали этот процесс 150 лет назад...» Так сказал Неру, и не только триста тысяч человек в Амритсаре, а вся Индия, весь мир слышал это.

Великий индийский народ становится строителем нового мира, новой Индии. Мы можем сказать, что мы были очевидцами и свидетелями начала этого народного подвига, который даст жизнь новым народным эпосам, где не боги, а люди станут прославленными героями будущих поколений, и вечно молодая и древнемудрая Индия с глазами той девушки-невесты, что мы видели на берегу нового канала, благодарно посмотрит на новое свободное поколение великого народа, не знающего ни чужеземного ига, ни никаких преград к счастью, знанию и свободе.

Дни великой васанты — великой индийской весны — пришли, и ничто не сможет помешать их свету, их теплу на благо народа!

1955

МОСТ У АТТОКА

С юпости началось мое увлечение Востоком. Я изучал историю, географию, историю войн. Я хотел быть одновременно и военным историком, и археологом, и путешественником. В детских играх я воображал себя идущим в караване Пржевальского где-то в пустынях глубинной Азии, я писал стихи про Индию, где были строки, обращенные к ее знаменитым городам:

Я к вам приду, колодцы между пагод,
Слоны святынь священных Гатских гор,
Я к вам приду, хотя бы только на год,
К вам, Беджапур, Бенарес и Эллор!

Я мог рассказывать про магратские войны, про восстание Нана-саиба, огромное народное движение, про пуштунские битвы с англичанами, про осаду Серингапатама, про Махабхарату и Шивапурану, древнейшие эпосы Индии, про джунгли и Гималаи, про красоты Кашмира и походы Бабура, основателя Могольской династии. Для чего мне нужно было все это держать в памяти?

Я рассказывал, когда был школьником, про Индию своим маленьким друзьям, и, чтобы им не было скучно, я сам рисовал картинки. На них были изображены города, люди, индийские пейзажи. У меня не было настоящего волшебного фонаря. Фонарь, вернее, его подобие, я сделал сам. Я взял коробку, прорезал в ней квадрат, перед этим квадратом я ставил картинку обратной чистой стороной к малепьким зрителям, сзади устанавливал кухонную лампу и гасил остальной свет. Лампа освещала картинку, и перед зрителями являлись густо парисованные пейзажи и города,

слоны и люди. И все-таки трудно было уговорить моих друзей слушать мои лекции об Индии. Тогда я давал им по две, по три копейки, чтобы они сидели и не разбегались. А мне так много хотелось им рассказать о далекой, чудесной стране.

Я вырос, и выросли мои знания об Индии. Прошло много лет. Уже Индия разделилась на две страны: Индию, или Бхарат, и Пакистан. В состав Пакистана вошла западная часть провинции Пенджаб с древним славным городом Лахором. В этот-то город на конференцию прогрессивных писателей были приглашены советские писатели. Я поехал с этой делегацией. Мы прилетели в Ташкент, зеленый оазис, Париж Средней Азии, город, который я знаю хорошо и который дорог мне по воспоминаниям. Потом мелькнули зимние просторы Зеравшанской долины, черные, со снегом, глыбы Гиссарского хребта, мы опустились в теплом Термезе, чтобы резко взметнуться в небо и перелететь Гиндукуш.

Потом мы проехали долгими дорогами Афганистана. Нас встретил южный, зеленый Джалалабад, потом потянулись каменистые петли Хайберского перевала. Все, что я знал с детства, теперь вставало передо мной, как живая, настоящая, не прикрашенная никакой романтикой жизнь. Я как бы узнавал знакомые места. И они были почти такими, какими я их воображал. Все вокруг было новым, и вместе с тем у меня было ощущение, что я возвращаюсь в места, в которых я уже бывал. Имена рек, гор, долин, городов не были чужими. Я узнавал хребты, потоки, вершины. Я знал историю этих долин.

Мы въехали в вечерний Пешавар. Наши две машины остановились па пустынном дворе гостиницы. Номера в этой гостинице были расположены в одноэтажных флигелях. Был час вечернего чая. Надо было решать: как ехать дальше? Поездом, самолетом, машинами? Нас, делегатов, было пять человек. Машины были посольские, из нашего посольства в Кабуле. Они могли идти и до Лахора, но это далеко. Сомнение решили шоферы. Они сказали: ехать, конечно, можно и ночью, но бензина не хватит. Где бы тут бензин прикупить? А где его прикупить в Пешаваре вечером в воскресенье — мы этого не знали. Нас никто не встретил, да и некому было нас встречать. В то время ни нашего посольства, ни торгпредства в Пакистане не было. К нам подошел молодой пакистанец. Открытое, живое лицо, веселые глаза, быстрые, точные движения. Он вступил в раз-

говор, извинившись, что никем не представлен, но он хочет нам помочь, если мы испытываем, как приезжие, какое-нибудь затруднение.

— Где бы нам купить бензина? — спросили мы у него, когда он узнал, кто мы, и мы узнали, что он местный житель, студент университета и очень хорошо относится к советским людям.

— Купить бензин нельзя, он выдается по карточкам, но зачем вам покупать бензин где-нибудь на рынке. Вы официальные гости. Бензин даст...

Мы его не поняли, то ли какой-то важный чиновник, то ли сам губернатор должен дать; он — студент — все это устроит, но надо, чтобы кто-нибудь на нашей одной машине с ним поехал к этому важному человеку.

Два человека из нашей делегации отправились с ним. Мы, оставшиеся, начали совещаться. Одни были за то, что, если достанут бензин, ехать ночью, другие колебались. Весь день я жил во власти воспоминаний. Все, что было мной прочитано об этих краях, проходило передо мной. Каждое место окрашивалось по-своему. И вдруг из всей этой разноцветной кутерьмы выплыли слова: Аттокский мост. Аттокский мост! Есть такой. Это мост на Инде, там, где полноводный Кабул впадает в Инд. Мост этот двухэтажный — для простого транспорта и для железнодорожного. Важнейший мост, скрепляющий переправу, венчающий стратегическую дорогу. Проехать его просто так ночью рискованно. Места около него нелюдимые, мрачные, пустынные. Стоит ли ехать? Да, я вспомнил отчетливо. Из глубины старых страниц встал Аттокский мост во всей своей черной тяжести. Ехать ночью по этим местам с плохой репутацией — стоит ли? Я подумал — не надо ехать. Я все рассказал товарищам. Они согласились. Мы взяли номера в гостинице, чтобы переночевать и ехать рано утром.

— А если товарищи достанут бензин? — спросил один из нас.

— Объясним товарищам про Аттокский мост,— сказал я.

— А что, если все это ваше воображение? — осторожно заметили мне.

Другой собеседник сказал:

— А можно проехать другим путем.

Тут, улыбнувшись, я твердо заявил, что другого пути нет и что теперь я окончательно вспомнил, что мост вооружен пушками. Не стоит ехать в ночное время. Мало ли

что? Такие времена, такие дороги... Кроме нас, нет советских людей в Пешаваре...

Мы стояли в номере у окна, полуприкрытые полосами цепкого плюща, обвивавшего стены снаружи. Мы видели пустой двор и нашу машину.

Вдруг мы увидели неожиданно появившегося человека, который шел, пересекая двор, по направлению к тому флигелю, где был ресторан. Мы увидели его со спины, этого тяжелого, сильного сложения человека. Он был в куртке защитного цвета, в таких же штанах и в высоких сапогах. Он чем-то напоминал ответственного работника где-нибудь на Сыр-Дарье. Правда, мы не видели его лица. Но он сам обернулся к нам. Собственно, он нас не мог видеть из-за плюща, он повернулся к нашей машине и, оглянувшись во все стороны, направился к ней.

Красный посольский флажок как раз развернулся. Золотая звездочка, серп и молот были отчетливо видны. Человек остановился, как будто его пригвоздили к земле. Он смотрел на машину и не мог сдвинутся с места. Потом он сделал шаг вперед огромным усилием воли, снова остановился и вернулся к машине. Теперь он подошел ближе. Красный флажок с золотой звездочкой гипнотизировал его. Он отходил, снова возвращался, смотрел, пожимал плечами, скорей испуганно, чем удивленно, поправлял, крепко ли сидит на голове небольшая мерлушковая шапочка, что-то бормотал, опять застывал на месте. Он просто не верил своим глазам. Но кто он, этот необычный гость, откуда он взялся?

Слуга-пакистанец засмеялся. Он сказал, показывая на человека на дворе: это генерал Ма, чанкайшистский генерал. Его совсем разбили красные. Он удрал на самолете из Синьцзяна, только сейчас прилетел. И, конечно, испугался. Как, и тут, в Пешаваре уже красные! Вот флаг красный на автомобиле. Испугался, думает, только прибежал — отдохнуть не дадут. Опять бежать дальше! Вот он и пляшет около автомобиля.

Генерал, медленно оглядываясь, точно ожидая, что его окликнут или схватят сзади, побрел по двору. Когда он скрылся в ресторане, появилась наша вторая машина. Наши, кто ездил, пашли нас уже в номерах.

— А,— сказали они,— вы уже решили ночевать. А мы только хотели это предложить...

— Почему? — спросили мы,— вы что, бензин не достали...

— Бензин достали, но Аттокский мост...

— Что Аттокский мост? — спросил я, делая вид, что первый раз слышу это название.

— А вот то. Когда мы пришли к этому важному чиновнику, он спал. Его разбудили. К нам вышел вежливый старичок. Поздоровался, очень был рад, говорит, познакомиться. «Бензина хотите? Бензин дам, но вы хотите ехать ночью? А Аттокский мост?» И смотрит так выжидающе.

Мы говорим: «А что такое Аттокский мост?»

«Аттокский мост.— ласково поясняет старичок,— запирается наглухо на ночь, запирается вечером. Проехать его можно только с пропуском, подписанным мной лично... В противном случае могут быть неприятности. Он охраняется пулеметами и пушками. Очень важный мост, большого военного значения. Так как решаете — если поедете ночью, могу дать пропуск...» И хитро посматривает на нас.

Но тут студент шепчет: «Не поезжайте, не надо ехать ночью. Там нехорошие места. Поезжайте утром...»

Ну, мы за вас и решили — остаемся. А вы почему решили остаться?

— Как почему, а Аттокский мост?

— Вы откуда знали про Аттокский мост? — с удивлением сказали товарищи.

— В то время, как вы говорили и решали, ехать ли ночью, мы говорили и решили то же самое, потому что вспомнили про Аттокский мост, которого не пройдешь, не объедешь. Вот такое совпадение получилось. Ну, пойдем спать. Завтра по холодку увидим, что это за Аттокский мост.

И мы его увидели, увидели стальные ворота, которыми он закрывается на ночь, увидели, что он окружен пулеметными гнездами, и поняли, что это была бы просто авантюра, если бы мы поехали ночью.

И когда машина гудела под тяжелыми конструкциями Аттокского моста, мое воображение рисовало мне драматическую сцену.

Если бы у нас был бензин, мы бы отважились ехать, и нас бы обстреляли из пулеметного гнезда. И мы бы, ничего не поняв, старались бы удрать от невидимых нападающих и попали бы прямо под пулеметы. Хорошая была бы картинка. Делегаты на конференцию прогрессивных писателей ночью атакуют знаменитый, стратегически особо важный Аттокский мост.

И когда мы были уже на другом берегу Инда, я оглянулся на Аттокский мост. Он был совершенно такой же, каким я видел его первый раз на картинке, только с того дня прошло более тридцати лет. Я его узнал с первого взгляда, но он узнать меня никак не мог. Когда я увидел его на картинке, мне было двадцать лет. Теперь я был седым и ехал в Лахор, в котором не однажды бывал в детских своих фантазиях.

1956

ВЕЛИКАЯ ВОДА

I

Все это было весной тридцатого года. Человек стоял на песчаном холме. Был он в мятом легком коломянковом пиджаке, в полотняной рубашке с расстегнутым воротом, в белой, пыльной фуражке. Усы с проседью, густой загар, резкие морщины у губ, шрам на подбородке делали его лицо почти воинственным.

Он смотрел в ночную пустыню. В лилово-зеленом небе, среди белых и острых зеленоватых звезд висела широкая, тяжелая луна. Отчетливо видны были совсем белые, точно посыпанные солью ближние песчаные увалы; за ними открывалась потонувшая в сером сумраке неизвестность, которой, казалось, нет конца. Оттуда, из глубины этого неизведанного, мрачного, нелюдимого края, ветер приносил приторные, горько-соленые, ни на что не похожие запахи.

Тревожно и грустно дышалось на этой границе песков, где кончалась зеленая весенняя земля с ее цветущими деревьями и начиналось за скучной полосой безжизненных холмов то удручающе безотрадное, угрожающее, самодовольное в своей первозданной мощи пространство, перед которым был бессилен человек в белой фуражке и все, кто был с ним в этот глухой полночный час.

Там лежала пустыня с ее суровыми законами, с пронизывающим до костей жаром, с ночным, почти морозным холодом, с адской тишиной и грохотом песчаных бурь, с мучительными, изнуряющими миражами, с безводьем, которое было ее защитой от людей, вторгавшихся в ее раскаленные владения.

Пески, хрустящие под ногой, пески, легкие, как пыль, вздымавшиеся топкими облачками, пески тяжелые, отполированные ветром и зноем, потрескавшиеся, сверкавшие белой, ослепляющей полосой соли, горячие пески, чей жар был ощутим даже через кожаную подошву, мертвые, голые, струившиеся, как вода, пески, внезапно подымавшиеся барханами и уходившие в трещины бывших, высохших потоков, слежавшиеся в пустынных оврагах пески...

У ног человека, стоявшего на песчаном холме, светилась вода. Она шла по небольшому каналу, и сверканье ее струй, непрерывно уходившее в ночную мглу, напоминало армию древних времен, закованную в латы и совершающую ночное походное движение, чтобы напасть на вражескую силу. Человек, как полководец этой армии, следил за тем, как новые тысячи струй уходили в ночь.

Человек говорил нам, показывая сухой маленькой рукой в необъятную пустынную ширь: «Этим сбросовым каналом я пустил лишнюю воду Аму-Дарьи туда, в пески. Она двинулась так бодро, так быстро, точно бежала по давно знакомому руслу. Это вода Келифского узбоя, это вода, которая победит пустыню. Она прошла на десятки километров, ее жадно впитывали пустынные земли. Я пошел по весне проверить. Там, где она остановилась озерцами, уже был камыш, селин, тамариск. Птицы носились над берегами. Это вода великого будущего. Не колодцы, поверьте мне, решат проблему. Я, может быть, не доживу, не увижу своими глазами, но я твердо верю, что отсюда эта аму-дарьинская вода придет в Мургабу. Вы молоды, вы еще сможете из Керков поехать в Мары на моторной лодке или на пароходе.

Я стар, меня считают полусумасшедшим потому, что я говорю только о воде Келифского узбоя. А я гляжу туда, куда тянет душу этой воды. Вода — мудрая и живая стихия. Она знает, что там лежит ее древний путь, она стремится той же дорогой, какой шли реки в незапамятные времена. Мне снится этот серебряный блеск, который я веду в пески, и они отступают передо мной, потому что я человек и они чувствуют мою власть...»

Он замолчал и долго стоял в молчании, как будто слушал тихий голос мутной, тускло светившейся на изломах струй, воды.

Пустыня временами вспыхивала далекими зарницами; из нее шли затаенные, глухие шорохи, ветер шелестел мертвой саранчой, громоздившейся высокими кучами у

жестких кустов на том берегу канала. Он шевелил эти пожухлые, в рассыпающихся зеленых панцирях, с поджатыми длинными хищными лапками, остатки саранчи, остатки воинов страшных крылатых полчищ, летевших и шедших строем истребить цветущие поля и сады. Они лежали как память прошлогоднего сражения — мертвые союзники пустыни.

Я вспомнил недавно виденный кишлак, где песок неслышно пересыпался через пороги и лежал мягкими пухлыми грядками в пустых, брошенных комнатах, сыпался с прохудившегося земляного потолка. Люди отступили. Через несколько лет на месте кишлака встанут высокие барханы, вершины которых будут дымиться в горячем, дрожащем воздухе.

Человек стоял на песчаном холме, как будто он заклинал пустыню и ночь, как будто в его протянутой во мглу руке была особая чудодейственная сила. Я тоже начинал видеть, как в этих мертвых краях оживает земля, как растут деревья, как летают птицы, как по чистой широкой воде плывут корабли.

И тут же мне захотелось спуститься с холма к каналу, наклониться к воде и убедиться, что она не вызвана, как сновидение, что она не мираж пустыни, где можно пески принять за текущую речку. Я спустился по крутому откосу, сел на корточки и зачерпнул густую, холодящую руку, воду, пришедшую с высочайших гор, клубившуюся в тесных черных ущельях, кипевшую в водоворотах, мчавшуюся через отмели и теперь с плавной быстротой уходившую в ночную пустыню. Она действительно шла в бой — сокрушать пески...

II

Куда ни бросить глаз — вода. Она то ласково плещется у высоких бортов нашего каика, то стремительно несет его во всю свою исполинскую силу, силу потока, мчавшегося со скоростью десяти километров в час, то ставит нас на отмель и начинает, шипя, смеяться над нашими усилиями слезть с предательски намытой ею песчаной площадки, то начинает поворачивать каик, как бы играя, подталкивать его к противоположному берегу, то, рассердившись, крутить на неожиданных подводных песчаных столбах.

Мы плывем по Аму-Дарье день за днем. Нет ничего прекраснее этого плаванья. Берегов почти не видно. В голу-

бом облаке зноя где-то на краю горизонта виднеется чуть зеленеющая полоса не то леска, не то камышей. А то лениво всплывет над этой зеленой полоской желтая горка пустынного песка и сейчас же растает, как марево.

Скользят плоские островки, где шевелится в зарослях, взлетает и плавает у бережков целое птичье государство. Видны только бесчисленные всплески и сиянье крыл и слышно непрерывное перекрикиванье, кряканье, птичий гомон, как будто они находятся одни на реке и весь речной мир существует только для них.

На воде солнечные лучи не имеют той убийственной силы, как в пустыне. Можно лежать, наслаждаясь покоем реки, тишиной, которая качает вас, и смотреть на вещи совсем другими глазами.

Старый, как эта река, молчаливый, худой, с глазами ястреба, в зеленом с красными нитками халате туркмен стоит на корме и с врожденным изяществом поворачивает большое тяжелое кормовое весло. Он наш дарга-капитан. Его помощники с длинными шестами стоят по бортам и не торопясь отталкиваются от илистого, мягкого дна. Мы не торопимся. Торопится река. И то и дело сажает нас на мель.

Нам нравится все: и огромное пространство воды, дышащее спокойствием и величием, и вдруг приблизившееся видение берега, упершегося зеленой щетиной камышей в воду, белые простыни гусиных стай, расстелившихся по воде на такое пространство, что вы сначала не поймете, что это за явление; нравятся нам наши речные друзья, туркмены-моряки, независимые, простые, черные от зноя люди, но больше всего нам нравится, что у нас свой каик. И этот каик имеет направление и задачу.

Мы можем чувствовать себя, как те купцы, которые в древние времена плыли из блистательного Термеза с товарами в недалекую Бухару или до самого моря, в богатые хивинские пределы. Правда, наш груз проще и обычней. Мы везем множество консервных банок, ящики со спичками, мешки риса, везем соль и мыло, тщательно упакованные ящики со стеклами,— все, что нужно кооперации в Ходжамбасе, в Бешире и по дороге к ним.

Мы взяли на себя заботу доставить этот груз колхозным кооперативам, и это дает нам возможность останавливаться и говорить с людьми о самом главном, что волнует их, и развозить по реке новости, и рассказывать о том, что делается на белом свете.

Вода и пустыня. И мы благословляем Аму-Дарью, которая баюкает и качает нас. Не будь ее, мы тащились бы в страшных волнах зноя, выпаривающего из вас последнюю каплю влаги, сидели бы у иссохших колодцев с воспаленными глазами и пересохшим горлом, а теперь мы скользим под заплатанным серым парусом и в его прохладной тени наблюдаем, как проносятся пустынные берега, и говорим о том, сколько видела эта река, сколько народов плыли по ней. Если бы их флоты воскресли, река стала бы тесной от множества кораблей, с палуб которых с удивлением смотрели бы друг на друга китайцы и индийцы, древние греки и таджики, монголы и скифы, иранцы и арабы, узбеки и люди из Москвы, из Рима и Мадрида.

Тимур с гневным испугом смотрел бы на первые пароходы под русским флагом, а гул моторных катеров обратил бы в бегство моряков Александра Македонского.

Но сейчас река пустынна. И, плывя на маленьком каике, который как бы отдается воле волн, вы всем существом ощущаете, какая первозданная сила, неодолимая, непонятная в своем упорстве, какая непрекращающаяся энергия в этой массе воды непрерывно несется на запад, стремится по пути, который не имеет равных между Аральским и Аравийским морями.

Мертвое молчание песков нарушается извечным шумом мерно проносящейся великой воды. И, когда вы вспоминаете древнюю цивилизацию, исчезнувшую с берегов этой причудливой, фантастической реки, вам начинает казаться, что вечны только верблюды, идущие, как и тысячи лет назад, по буграм и впадинам пустыни, и кривые, неширокие паруса каиков, скользящие с такой же неторопливостью и наивностью, как и во времена великого македонца, пришедшего сюда с просторов синего Эгейского моря.

Странно это сочетание воды и песков. И оно особенно ощущается с каика, когда вы, облокотившись на борт, думаете о том, что есть тут кишлаки, которые прижаты пустыней к берегу, а берег рубит река, и от него отваливаются с грохотом большие куски, и человеку приходится обороняться на два фронта. И если он уйдет, отступит, песок доползет до тяжелой мутной воды и обрушится в нее песчаной, дымной рекой.

День кончается. Мы правим к берегу, и он подходит к нам полосой, сначала желтопесчаной, потом кое-где показываются куски камышовых зарослей, потом каик ударяется носом в высокий берег, туркмены закрепляют его

канатом. Мы видим, что местность похожа на степь, есть трава, растет песчаная осока, стелются клочья селина, верблюжья колючка. Перед нами неведомая нам земля. Она сурова, но вдали на горизонте видны деревья. Там кишлак, там кооператив, которому мы привезли товары.

III

Каик подтянут к берегу, который обрывается в воду небольшой террасой, за ней берег повышается. Преодолев глиняно-песчаный склон, мы входим на равнину. Наши моряки положили мачту на берег и прикрепили к ней веревками корабль, стоящий на мелкой воде. Около мачты бродят наши курицы, привязанные бечевкой, чтобы не ушли в степь.

Запасную мачту с парусом туркмены несут с собой, чтобы поставить нечто вроде шатра, в нем мы будем ночевать. Один из мореходов, превратившись в нашего вестника, уже идет в кишлак, и мы видим, как пыль завивается вокруг его ног, когда он удаляется от нас по узкой, неразличимой сразу тропе между низкой зарослью кандыма, бледного и щетинистого.

Мы строим подобие шатра, настолько примитивного, что шатры времен Авраама показались бы выдающимся архитектурным сооружением по сравнению с ним.

На песке мы расстилаем кошмы, одеяла и перед шатром разводим большой костер. Вечер опускается тихий и такой приятный, что хочется долго сидеть у огня, который радостно охватил кривые, серые куски саксаула и бросает вверх длинные языки, смотреть на покрытую червлено-коричневой пленкой вечернюю реку, на дали, потонувшие в шафранном сумраке, на суету туркмен, разгружающих каик, в ожидании прихода своих земляков из кишлака,— и находить внутри себя спокойствие и легкую усталость путников, для которых кончается длинный, полный больших переживаний день.

Мы лежим и сидим у костра и следим за происходящим. Шум реки стал как будто тише, зато к нам приближаются человеческие голоса, слышны колокольчики,— идут верблюды, идут колхозники забрать от нас грузы.

Туркмены громко говорят между собой, и, по-видимому, люди из кишлака торопятся вернуться побыстрей домой, потому что сразу же начинается яростная работа: качают-

ся высокие мохнатые шапки-тельпеки, взлетают сильные руки кочевников, привыкших к навьючиванию самых разных товаров на своих молчаливых, гордых, степенно поводящих серыми головами великанов верблюдов, мелькают ящики с консервами и спичками, мешки с рисом; по тому, как легко и осторожно берут иные плоские ящики, мы догадываемся, что там стекла.

Поодаль от работающих людей, на узкой кромке чистого песка, у самого обрыва над рекой, стоит верблюдица. Ее лиловые глаза стали почти черными. Вечер сильно посмуглел, огонь нашего костра уже взлетает красными космами на аспидно-графитном фоне умирающего дня. Около верблюдицы ходит маленький верблюжонок, похожий на игрушечного, небывалого зверя. Он светлый, длинноногий, с удивительно большой головой на мягкой, слабой шее, у него разъезжающиеся ноги и такой смешной горбик, точно он его нарочно выгнул.

Верблюжонок начинает тихо танцевать вокруг своей строгой задумавшейся мамаши. Он сначала перебирает ногами на месте, потом делает уморительные прыжки в сторону костра и, как бы испугавшись огня, спотыкается, достает до земли большой своей головой и, круто повернувшись, ударяет всеми четырьмя ногами о землю, подпрыгивает, делает круг и второй и, остановившись, крутится на месте, точно что-то ищет на земле, по которой стелются наши тени. Он снова делает прыжок и второй, потом поворачивается и тихо идет, как будто на цыпочках. Он так хорош и так занимательны его движения, что даже луна, неожиданно появившаяся над пустыней, сегодня какая-то золотистая, нежная, неподвижно смотрит на него. И он, точно до него дошла ее магнетическая сила, начинает тихо кружиться вокруг своей притаившейся верблюдицы, как будто просит защитить его от чар небесной кочевницы. Луну закрыли облака. Все вокруг потемнело. Костер стал ярким, как цветок. Сочное пламя его рассыпается золотыми пчелами. Из темноты доносятся храп верблюдов и неясные возгласы туркмен, привязывающих последние ящики и тюки.

Теперь верблюжонок танцует почти сонно, и верблюдица стоит задумчиво, жуя свою верблюжью колючку, сощурив глаза, смотрит на огонь.

Так тепло и так тихо, что не хочется спать, не хочется говорить. Верблюды уходят один за другим, пропадают в ставших черными зарослях кандыма; последней уходит

верблюдица, и, почти прислонившись к ней, идет верблюжонок. Его тонкие, длинные, неуверенные ноги разъезжаются на каждом шагу, и он испуганно подпрыгивает.

В полной тишине слышно, как изредка с громким плеском что-то рушится в воду под обрывом. Это падают подмытые куски берега — и потом снова наступает еще более крепкая тишина.

На зелено-лиловом небе, подрумяненном золотистым жаром луны, разлита такая нежность и благость, что невольно вспоминаются тенистые туркменские сады, где дышат всеми ароматами раскрывшиеся ночные цветы и тонкими голосами поют невидимые струйки крохотных арыков.

Вокруг нас нет садов, суровая земля пахнет какими-то острыми, чуть горьковатыми, похожими на дым костра, смутными неизвестными запахами, наш костер догорел, на нем лежит пленка белого пепла, тихо похрустывает раскололовшийся уголек — пора спать.

Мы располагаемся в нашем подобии шатра, кто как хочет. Наступает час сна. Где-то далеко плачут шакалы тонкими, отрывистыми, почти детскими голосами... Только у погасшего костра стоит высокий молодой туркмен, ставший черным, как столб во мраке. Он и неподвижен по-настоящему. То ли он задумался, то ли сторожит наш сон... не понять... Я просыпаюсь оттого, что какой-то могучий шелест проносится надо мной, раздается горохот, и что-то вроде сухого водопада обрушивается со всех сторон. Я вскакиваю и в странном освещении дождя искр, летящего мне навстречу, вижу, что мачта, на которой держался наш шатер, упала, парус, служивший нам стенами, упал тоже и накрыл моих товарищей. Они копошатся под ним, как раки в корзине. Я открыл рот, чтобы позвать их, и рот мне забил мокрый песок. Песок ударил мне в лицо, в уши, в голову. Что-то свистело, выло, кипело в кромешной тьме, прорезаемой вдали молниями, а вблизи дождем длинных искр, летевших на нас.

Туркмен, нагнувшись и помогая выбраться товарищам из-под паруса, крикнул: «Афганец!» — и его крик был заглушен ревом бури, уже бушевавшей на всем видимом просторе.

Искры извергал, как маленький вулкан, наш давно потухший костер. Ураган выдул из посиневших, померкших углей снова огонь, и костер скакал по степи, как будто взрывался фонтанами летевших во все стороны искр.

Это пришел афганец, ветер с юга, жаркий и сырой, подобие самума, вихрь истребляющий и беспощадный. Как только мы все поднялись, пригнувшись, защищая головы от бьющего песчаного вихря, мы вспомнили сразу, что надо бежать к каику. Если его унесло, то это бедствие, мы отрезаны от всех, и неизвестно, что будем делать. Оставив лежать двух слегка ушибленных мачтой, мы помчались среди пригибавших нас к земле ударов бури к берегу. Реки не было. Перед нами было разъяренное, кипевшее, взмыленное до неба пространство. Мачта, прикрытая песчаным выступом, держала черный силуэт каика, который плясал среди белого неистовства воды, забиваемой песком и вздуваемой ветром. Мы подтянули каик ближе и привязали его еще крепче. Под ногами нашими что-то фырчало и стонало, летело в воздух и шлепалось обратно о мачту. Это были наши курицы, оглушенные, обалделые, носимые порывами ветра вокруг мачты, к которой они были привязаны.

Мы решили перебраться сюда в относительную безопасность, где были сложены тюки и ящики, где наши грузы могли защитить нас от бури. Ползком, на четвереньках мы добрались снова до места нашего бивуака, буря вдруг чуть утихла, и на наши головы рухнул ливень, вольный, широкий, холодный, перемешанный с песком, прорезаемый огромными зелеными молниями, бившими прямо в реку, в степь, в берега. Всюду освещали местность фиолетово-зеленые изгибы. Никакой луны на мутном, тяжелом, низко наклонившемся небе больше не было.

Разнузданное громоизвержение, торжество зеленых искрящихся, падающих на притихшую землю гигантских электрических бумерангов, ликующее, наполняющее весь берег и падающее в пену реки буйство ливня, заливающего мир широкими шумящими потоками, окружало нас. Мы были мокры до нитки, мы уже не двигались, а плавали в первобытной жиже, не находя почвы под ногами. Но все-таки мы натянули парус над стеной ящиков и тюков, закрепили его и забрались под этот последний кров, сели, прижавшись к песчаному скату. Зуб у нас не попадал на зуб. Мокрые одежды хлюпали вокруг. Мы прижались друг к другу и так решили ждать, чем кончится это столпотворение.

Ливень шумел не утихая, и река бешено вздымала пенные волны прямо перед нами. Молнии освещали ночь в просветы между ящиками. И все-таки мы затихли и даже заснули, но по прошествии нескольких часов кто-то решил

посмотреть, как на дворе, потому что буря как будто пошла на убыль. Этот смельчак приподнял край паруса, и вся скопившаяся за ночь вода вылилась на спящих с таким ехидным шумом, что все вскочили, получив за шиворот струю ледяного душа.

Мы все, как по команде, вылезли на свет. Рассветало. Мир имел довольно потрепанный вид. Аму-Дарья все не могла успокоиться после ночной встряски, и большие волны с грязными гребнями сталкивались друг с другом и бросали свои косматые гривы на берег; лужи тускло блестели повсюду; прибитые бурей кустики кандыма имели очень жалкий вид; груда грязи была на месте нашего костра; мокрые вещи валялись по всему берегу.

Мы начали переодеваться в сухое. Каждый надевал то, что было под руками. Процессия людей, закутанных в одеяла, в простыни, в дождевики, пыльники, куски кошмы двигалась между каиком и местом ночлега.

В главе Корана семьдесят четвертой, под названием «Завернувшиеся в плащи», есть такие строки: «Да, клянусь луной, и ночью уходящей, и зарей занимающейся, что ад является одною из самых тяжелых вещей». Вокруг нас был песчаный ад, лежала пустыня,— это была тяжелая вещь.

Завернувшись в плащи, мы начали грузить наш корабль. Мы выливали воду из него, развешивали сушить наши вещи, в ожидании спасительного светила, прилаживали мачту и парус, чтобы, двигаясь и работая, согреться. От реки шел нестерпимый холод. Мы пили водку и не чувствовали ее вкуса. Мы снова разожгли костер, и, когда он начал потрескивать первым обещающим хороший огонь треском, тучи раздвинулись, мокрые, тяжелые, низкие, осветились могучим заревом восхода, и появилось потное, красное, расталкивавшее тучи солнце.

Красные блики заплясали на тяжелых гребнях амударьинских волн, пробежали по песчаным холмам вдали, и мы простерли свои замерзшие руки, как древние путники, приветствующие солнечного бога — подателя жизни. Мы плясали на песчаных холмах, чувствуя, как тепло проникает в наши жилы.

IV

И снова несет нас великий поток под бледно-синим горячим небом, между безмолвными обрывами пустыни. Они так высоки, что, закинув голову, трудно разглядеть, что

там за этими обрывами наверху. Оттуда бесшумно скользят в реку широкие пескопады; песок, сорвавшийся с края обрыва, падает на нижний уступ, срывает новый слой, и вот уже дальше течет и падает в реку пескопад, падает долго, и все новые и новые песчаные струйки текут и текут в его основную широкую струю.

И вдруг на фоне яркого снизу неба мы видим фигуру зверя. Вот он подходит ближе. Теперь его можно хорошо рассмотреть. Это волк, старый хищник пустыни. Он идет, тяжело ступая, глубоко погружая свои лапы в горячий песок. Видна его спина, покрытая старой, вылинявшей шерстью, всклокоченные бока. Он идет, высунув большой кирпичного цвета язык, и тяжело дышит. Его глаза не смотрят на реку. Он не торопится. Со стороны реки он не ждет никакой опасности. Мы кричим, он не оборачивается. Кто-то, не выдержав, стреляет. Пуля пролетает мимо, но на звук выстрела волк, не останавливаясь, поворачивает голову, мгновенье смотрит на нас недоумевающим взглядом и продолжает идти, тяжело передвигая темно-серые в черных отметинах ноги.

Мы плывем мимо шакальих берлог. Вот где живут эти тонкоголосые бродяги, хрипло плачущие у селений по вечерам. У самой воды в песчаных стенах круглые дыры. Это входы в их норы. В тени песчаных уступов спят, положив лапу на лапу, измотанные ночными поисками шакалы. Шакалихи у самой воды ссорятся друг с другом, напоминая иных сварливых хозяек на коммунальной кухне. Мы хохочем над их ужимками и прыжками, над их короткими, злобными стычками. Они не обращают на нас никакого внимания. Маленькие шакалята возятся с костями, катают их, играют, кувыркаясь через голову.

Дикий, далеко слышный крик раздается с высокого неба. Сначала нельзя разобрать, что происходит. Длинная стая ворон, построившаяся черной пирамидой, вершиной вниз, проделывает удивительные эволюции. Она находится в непрерывном движении, причем каждую секунду ворона снизу стаи взлетает на всю высоту пирамиды и пристраивается вверху. Мы смотрим с удивлением на это зрелище в пустыне и вдруг видим, что вороны преследуют врага. Перед нами кипит настоящий воздушный бой. Вороны гонят большого ястреба. Они построены в такой боевой порядок, при котором они падают клином на преследуемого и каждая ближайшая к нему должна сверху клюнуть его.

Если она клюнула или промахнулась, она все равно выходит из боя, взмахивает по внешней стороне построенной стаи вверх и снова пристраивается, ожидая своей очереди. Ястреб, закрыв голову крылом, правит куда-то в сторону, и он явно тянет стаю за собой, но он не может уйти из-под ударов. Только изредка он отводит крыло от глаз и прикидывает, куда лететь. Воронье карканье, шум крыльев наполняют все пространство. Кажется, что ястреб хочет перетянуть ворон на другую сторону реки.

Но у самой реки из-за бугра резко, издав короткий крик, прокричав вроде: держись, иду! — взлетает ястребиха. Она не суется в стаю. Она забирает высоко в небо и уходит в сторону. Взлетев намного выше стаи ворон, она издает новый отрывистый крик и бросается наискось, так что ее крылья врезаются где-то ближе к концу черного вытянутого треугольника. Она разбивает стаю на две половины. Как только она ударяет в стаю, ястреб, снизу вырвавшись на простор, тоже взмывает высоко вверх и оттуда врезается во вторую половину воронього полчища, которая не успела еще сосредоточиться после удара ястребихи.

Теперь начинается избиение ворон. Воздух покрыт пухом и черными перьями. В этом черно-сером облаке носятся, как два рыжих кинжала, ястребы, бьют ворон, которые, потеряв боевой порядок, летят во все стороны и кричат так отчаянно, точно их разрывают на части.

От стаи остаются маленькие группки, спасающиеся бегством. Ястребы бросаются на них то снизу, то сверху, и эти черные комья опять распадаются и опять кричат, наполняя воздух мелким черным пером, которое крутится и падает на жаркий песок.

Мы подплываем к берегу, взбираемся на крутой песчаный обрыв. Перед нами весенняя пустыня, полная жизни, шелестящих кустов, зеленых трав, цветущих тюльпанов и незабудок. Мимо нас вкось по обрыву мчится заяц, положив длинные фиолетовые уши на бок, выпучив глаза. За ним летит второй, подпрыгивая на бегу. Бегают ящерицы; черепахи ползут куда-то все в одном направлении. Их много; пустыня полна их черных, тисненых, с загадочным рисунком щитков.

Все эти цветы, все эти травы сгорят через несколько недель. Но сейчас мы стоим на обрыве, и нам открывается непередаваемая ширь и сладость пустыни, которая полна поэзии и которая так привлекает сердца кочевников, как

не привлечет их никогда зеленая лесная чаща или покрытая полями и рощами долина.

А внизу раскинулась ширь Аму-Дарьи, чья коричневая волна кипит, как живая, солнечные иголки пронизывают ее; мои друзья не выдерживают, сбегают с уступа к реке, и из царства песка бросаются с размаху в водяное, летящее царство, и выныривают, и снова бросаются в желтую воду, наслаждаясь, как рыбы, и прохладой воды, и жаром полудня, висящего над ними...

V

Обычно к ночи мы приставали к берегу и ночевали на берегу. Когда же наступила ночь полнолуния, у нас в каике открылся настоящий дискуссионный клуб. Одни из нас обязательно хотели спать на твердой земле; другие предпочитали спать в каике. Долго шел наш спор. Корабль продолжал плыть. Наши друзья туркмены терпеливо ждали, чем кончится наш затянувшийся спор, и не прекращали подгребать и отталкиваться шестами, а наш дарга-капитан, ворочая тяжелым рулевым веслом, ни одним словом не вмешивался в бурные разговоры.

Победили в конце концов те, которые хотели спать на воде. Они приводили самое главное доказательство в пользу своего предложения: на воде не только хороший, здоровый сон, но можно плыть всю ночь. Сколько проделаем километров за ночь и как сократится наш путь до Чарджоу!

Одним словом, решено плыть всю ночь, не приставая к берегу. Как только дарга-капитан узнал наше решение, он что-то сказал своей команде, и тут произошло нечто неожиданное. Туркмены оставили свои весла и шесты, сложили их, потом свернулись калачиком, прижались друг к другу и заснули крепким, здоровым сном людей, весь долгий день занимавшихся веслами и шестами. Их примеру последовал и дарга-капитан, только он выбрал себе место у мачты, на которой тряпкой повис наш залатанный парус, хорошо закутался в старую овчинную шубу и погрузился в сон.

Мы смотрели, не совсем понимая, что из всего этого получится. Каик, никем не управляемый, с закрепленным накрепко рулевым веслом, шел по течению, и вода тихо журчала, разрезаемая его черным носом.

Луна вышла на свой облачный холм, и все вокруг нас запылало зеленым огнем. Казалось, свет луны мощно за-

ряжал волны реки бледно-изумрудным свечением, струясь такими лунными потоками хризолитового огня, отсвечивающего синими вспышками, что глазу было больно смотреть в воду и еще больней на раскаленную огромную луну, как будто притягивавшую наш кораблик.

Он храбро стремился по тяжелой, горящей расплавленным изумрудом воде. Он был посередине реки, и берега ее были скрыты от нас радужным туманом. Тишина вокруг стояла необыкновенная. Откуда-то приносились душные, сладковатые запахи, как будто где-то поблизости цвела джидда.

Никто после бурных споров не имел желания нарушать тишину этого полночного часа. Все разбрелись по кораблику и пристроились поудобнее. Иные сразу последовали примеру наших морячков.

Я не мог спать. Я сидел, облокотясь на борт, и смотрел, как темная под бортом вода вспыхивает зеленым огнем, как душащее меня дыхание цветущей джидды опьяняет мой мозг и он лихорадочно работает и хочет проникнуть во все уголки, во все движения этой ночи, хочет проследить рождение каждого звука, уловить все изменения освещения, все переходы красок в густой и пушистой, как ковер, тишине.

Наш каик, медленно стремившийся вперед, вдруг, точно от поворота руля, менял направление и резко шел направо. Он шел уверенно и бесшумно. Пересекая реку, он держал ход прямо на начинавшую расти, заметную даже сквозь тонкий радужный туман темную полосу земли.

Навстречу ему вставали стенки тугайного барьера. Над однообразной темнотой высокого камыша виднелись в ясном свете ночи, засыпанной остро сверкавшими белыми звездами, верхушки тугайных тополей и ясеней. Во мраке перепутавшихся непроходимо растений нельзя было ничего разглядеть. Вода у берега была темной, тень камышей падала на наш каик, который стремительно шел прямо к берегу. Казалось, что он остановится среди тугайной чащи и останется стоять. Но его нос тяжело ударялся о высокий берег, потом каик отходил назад и, резко изменив направление, шел снова на середину реки, но на середине не стремился плыть вперед, а пересекал середину и так же уверенно, как ранее, он держал курс направо, так теперь шел к левому берегу.

Сила течения управляла им, взяв на себя обязанности дарга-капитана. Было во всем этом плавании что-то от первобытных дней дикой свободы. Наш каик, как живое

существо, приближался к тугайным зарослям. Затаив дыхание, он входил в камыши, на равных правах с теми живыми существами, что тоже не спали этой ночью, чей шорох в камышах и легкий вздох мы слышали в черной тени среди тамариска и чия.

Где-то сонно хлопали крыльями птицы; иногда тихий свист проносился над рекой; иногда мы слышали тяжелый шаг какого-то сильного зверя, ломавшего на ходу камыш.

И, так же оттолкнувшись от левого берега, наш каик начинал свой путь к правому. Течение не отбрасывало его назад, не давало ему прямого направления.

Я смотрел широко раскрытыми глазами в новую чащу, в которой происходило какое-то движение, слышался фырк и шорох. Нос нашего каика, с тихим шелестом раздвигая камыш, врезался в берег среди большого кабаньего стада, пришедшего на водопой. В неясном свете луны, в полосатом полумраке зарослей виднелись мокрые шершавые спины, слышалось приглушенное дыханье множества теснившихся друг к другу зверей, хрюканье, шлепанье толстых ног, погружавшихся в мягкий ил, сверкал клык, как большая белая искра.

Появление нашего каика среди кабанов не произвело на них никакого впечатления. Они продолжали тесниться и жадно пить воду. Они стояли в камышах по живот в воде и наслаждались водопоем. Наш каик показался им мирным, незнакомым зверем, чей запах не раздражал их. Он пах мокрым деревом, и все вокруг них было полно тем же запахом.

Я мог протянуть руку и достать палкой до ближайшего животного, которое, подняв голову, принюхивалось к нашему кораблю.

Толчок о берег снова отбросил каик, и он начал удаляться от зарослей, и скоро кабаны исчезли в темноте тугайных зарослей, как будто это был сон из серии добрых снов этой зеленой ночи.

Так плыли мы час за часом в переливах лунного света, уносимые могучей волей великой реки, которая тоже как будто задремала и полусонной рукой подталкивала наш кораблик, развлекаясь с ним, как с забавной игрушкой.

Но вдруг наш каик, выбравшись на середину, не пересек ее, как делал это уже много раз, а понесся вперед по прямой, и в тот же миг все вздрогнуло от внезапно родившегося гула, заполнившего постепенно весь воздух, точно мы приближались к кратеру действующего вулкана. Это

походило на сцену из арабских сказок, где путники попадали в жилище джиннов. От этого гула, все усиливавшегося до такой степени, что нельзя уже было говорить, а надо было громко кричать друг другу, проснулись все, даже наши храбрые моряки, которые посмотрели на реку, послушали гул и легли на другой бок. Но мы уже не могли спать.

Мы смотрели на реку, ожидая, что каждую минуту откроется что-то вроде Ниагарского водопада и мы рухнем в исполинскую пучину гремящего, страшного провала.

Теперь все грохотало вокруг нас. Гремел воздух, раздирая наш слух; гремели берега, посылая этот грохот из своего далекого оранжевого тумана; казалось, что этот грохот под нами идет с самого дна реки.

Наш каик больше не плыл прямо. Его заносило в сторону, и он плясал в невидимом водовороте; его заносило кормой вперед, поворачивало, как хотело; он вставал почти на дыбы, как водяной конь, и снова принимал прежнее положение. От каждого его поворота что-то рушилось в глубинах, точно падали огромные колонны со страшным грохотом, который глухо, но грозно доносился до нас.

Мы были в самом заколдованном месте реки. Над нами сияла сладостная прелесть ночи, с муаровыми облаками, перевитыми зелеными и голубыми туманами, луна светила так же спокойно, и запахи, волнующие и томительные, долетавшие с неведомых берегов, так же окружали нас.

Вся поверхность реки бурлила, лопающаяся пузырями кипящая крупная рябь вздымалась вокруг, но она не издавала никакого звука, а воздух был разорван таким гулом и громом, что тягостное чувство понемногу завладело нами. Мы крутились в водоворотах, и этим водоворотам не видно было конца. Понемногу мы поняли, что под нами действительно рушаться какие-то холмы и что движение нашего каика вызывает эти песчаные катастрофы на дне реки.

Мы сидели, затаив дыхание, с немым удивлением смотря на разъяренное закручивание сумасшедшей воды. Невозможно было сосчитать, сколько раз оборачивало наш корабль вокруг себя, сколько раз бросало в стороны, ставило носом вверх. Если бы по дороге попалась мель, нас разбило бы в полчаса на куски.

Но так же неожиданно, как мы влетели в это громовое место, оно кончилось, и светлые лунные полосы побежали по спокойно бурлящей воде впереди нас. Демонский грохот затихал за нами и постепенно исчез совсем. Мы снова бы-

ли среди молчаливого простора, который показался нам таким близким и родным, таким прекрасным, как эта зеленая, душная ночь, как снова приближающиеся тугайные леса, кивавшие нам над камышами тонкими вершинками разнолистного тополя.

Я взглянул на нос нашего каика. Что-то темное возвышалось на нем. Сложив отливавшие сталью темно-серые крылья, на носу нашего корабля сидел и спал огромный широкоплечий степной орел. Он летел и устал и решил отдохнуть, доверившись реке и нашему темному, тихому каику. Это был тоже наш ночной товарищ, которому было с нами по пути.

И мы плыли, увлекаемые живой, дружеской силой реки, плыли в весеннюю синюю мглу, в даль дней, где нам казалось, что все будет хорошо, где нам будет дышаться так же вольно, как здесь, в этом зеленом, опьяняющем мире, который все бросает на наш путь новые щедроты своих красок, запахов, ощущений и нет конца его баснословным богатствам, нет конца его дружеским, чудесным подаркам...

Мы плыли и плыли, и нам хотелось петь громко и как кто умеет. Но лучшей песней, если бы мы даже их спели много и хорошо, была бы сама Аму-Дарья. Ах, Аму-Дарья, Аму-Дарья, наша любовь и очарование...

...Поедем снова на берега Аму, возьмем стройный, узкобокий каик, сядем на него хорошей компанией и уйдем в зеленую ночь по весенней полной великой воде...

Поедем, друзья!

1957

«НЕ БУДЕМ МЕШАТЬ ЕМУ...»

— Не будем мешать ему,— сказал доктор Балига. Но до рассказа о памятном бомбейском вечере, когда это сказал доктор Балига, существует другой рассказ. Это рассказ обо мне. С самой ранней юности началось мое увлечение Индией.

Я сидел в маленькой темной комнате старого петербургского дома на Гороховой улице, обложенный книгами, картами, рисунками, жадно погружался в историю и природу далекой сказочной страны. Я записывал свои мальчишеские мысли в тетради, делал выписки, писал целые романы об изгнании англичан из Индии и, наконец, даже решился выступить с лекциями об Индии перед такими же школьниками, как я, но думавшими только о забавах, свойственных их возрасту.

И я мог со временем рассказывать многое об Индии. Так как я увлекался вообще историей войн, к тому же я знал англо-французские войны из-за Индии, маграттские войны, восстание тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, я мог рассказать про патанов и их борьбу с англичанами, и даже про походы Бабура, и про Александра Македонского на Инде.

Кроме того, я хорошо изучил географию Индии, имел понятие о Гималаях и Кашмире на севере, о тамилах и сингалезах — на юге. Я ознакомился и с древними эпосами — Махабхаратой и Сивапураной. Словом, я был маленьким знатоком Индии, чьи знания выходили далеко за пределы школьной программы.

А все, кто видел маленького школьника, склоненного над картами и книгами, считали, что это пройдет, когда я стану постарше.

Но это не проходило. Прибавлялось только больше сведений и росло непреодолимое желание своими глазами увидеть то, о чем подробно рассказали мне книги.

И вот наступил год, когда моя нога ступила на индийскую землю. Еще подлетая к индейским берегам, я увидел множество брошенных на воду косо обрезанных бумажек. Но это были не бумажки, а паруса бессчисленных рыбачьих лодок, и они говорили о близости земли. Потом внизу появились какие-то рощи гигантских спичек с хвостиками. С большой высоты так выглядел пальмовый лес. А когда самолет приземлился, открылась дверь, в лицо ударила горячая волна, смешанная с каким-то пряным настоем, я понял, что действительно вдыхаю воздух Индии.

Первым городом на моем пути был Бомбей, западные ворота Индии. Я любовался в Бомбее удивительным подбором опалово-молочных и жемчужно-голубых фонарей на бесконечной дуге прославленной набережной. С восхищением смотрел на зеленые скульптуры знаменитого «Висячего сада», где хитро подрезанные деревья и кустарники были искусством садоводов-волшебников превращены в самых разных животных и птиц, слонов, павлинов, буйволов, даже в пахаря, идущего за плугом.

На острове, омываемом зеленоватыми, тяжелыми волнами залива, я обходил пещерные храмы, где трехликий Шива являлся во всем великолепии языческой Индии.

И, как ни странно, живая мозаика улиц, белоснежный поток человеческих тел, строгие здания банков, контор, отелей, живописные нагромождения базаров, хижины и шалаши, где ютились бедные люди, спящие на лужайках в парках и прямо на улице тысячи людей, не имеющие крова,— все это казалось мне давно знакомым, как и разные исторические места гигантского города. Все это я уже знал, и все это было близко мне, моему воображению, и всем этим людям-беднякам я сочувствовал, и они казались мне знакомыми, хотя и были отделены от меня всеми особенностями своего быта и существования.

Доктор Балига был необыкновенно талантливый, добрый и отзывчивый человек, справедливый и мудрый. Выдающийся врач, самый лучший хирург Индии, друг Советского Союза, борец за мир и дружбу между народами, он

опекал нас с истинно дружеской заботой. Стройный, спокойный, с проницательными глазами человека, привыкшего смотреть серьезно на своих пациентов, с красивыми маленькими крепкими руками, похожий на быструю неутомимую морскую птицу, доктор Балига показывал нам не только тот Бомбей, который существует для всемирного туризма.

Мы видели ученых, деловых людей, видных промышленников, которые потом участвовали в Московском экономическом совещании, мы встречались с писателями, художниками, артистами кино, и все они жаждали получить как можно больше сведений о жизни нашей страны. Это был тысяча девятьсот пятьдесят второй год, и в Бомбее только что прошла большая выставка, где впервые был павильон Советского Союза и некоторых социалистических стран. Интерес к Советскому Союзу был очень велик.

Но доктор Балига показывал нам и жизнь простых тружеников. Мы видели рабочих-строителей, рабочих хлопчатобумажных фабрик, кожевенников и грузчиков.

Он привел нас в большой, недавно построенный дом, куда переселились рабочие, жившие ранее в таких странных сооружениях, что было бы даже трудно назвать их жилищем.

— Конечно,— сказал он,— они еще не могут иметь квартир современного европейского типа. Хотя комнаты есть комнаты, но вы видите, им еще очень тесно, у них большие семьи, много детей, и, кроме того, у них еще домашнее хозяйство не приспособлено для такого рода домов...

Да, мы видели, что в комнатах, где было тесно, душно и полутемно,— примитивные очаги для изготовления пищи, полное отсутствие мебели, заменяемой циновками и кошмами; правда, кое-где были кровати. Мало посуды. Но все-таки над головами была крыша, защита от дождя и ветра.

— Это первые дома, это первые в жизни рабочих комнаты,— сказал доктор Балига.— Индия вступила на новый путь, и она не сойдет с него. Это ее первые шаги... Пойдемте, я еще покажу вам кое-что...

Он привел нас в помещение, отведенное под клуб. Конечно, это тоже были первые шаги. Светлое помещение было еще пустовато. Мало мебели. Полки с книгами, шкаф. Газеты и журналы. На стене — карта Индии. Кое-какие

фотографии. За одним из столов играли в нарды. За другим — беседовали несколько человек. Еще двое читали газеты. Но я увидел в стороне нечто, меня сразу поразившее своей неожиданностью.

За столом, спиной ко мне, сидел мальчик. Перед ним лежали книги, брошюры, карта. Я невольно шагнул вперед, чтобы увидеть его лицо.

Мальчик сидел над раскрытым журналом и тетрадью, глубоко о чем-то задумавшись, прижав к губам толстый карандаш. Он был в чистенькой простой полосатой рубашке с короткими рукавами и казался школьником, решающим интересный, но не простой урок.

Перед ним лежала карта со знакомыми очертаниями моей Родины. Журнал, на который я бросил беглый взгляд, был «Советский Союз», и на его раскрытой странице можно было видеть фотографию Ленина, какие-то горы и здания.

Я хотел подойти ближе, но доктор Балига осторожно и твердо взял меня за руку и отвел в сторону. Мальчик не обратил на нас никакого внимания — так он был погружен в свои мысли.

Когда мы прошли в дальний угол комнаты, доктор Балига сказал тихо:

— Я хорошо знаю этого мальчика; он дал себе слово узнать все, что только можно, о Советском Союзе и потом поехать туда. Он иногда приходит ко мне, и я даю ему журналы и брошюры, в которых описывается жизнь вашей страны. Он очень упорный и умный, но замкнутый и углубленный в себя. У него негде заниматься дома, там большая семья и никаких условий. Я устроил его в этот клуб. Здесь, вы видите, он на полной свободе. Он записывает все, что его поразило и навело на размышления. Но он не любит об этом говорить. Вы видите, как он задумался. Не надо обращать на него внимания. Не будем мешать ему...

Он повторил эту фразу: «Да, не будем мешать ему...»

Я бросил еще один быстрый взгляд на этого странного двойника моих юных лет. У него были тонкие черты лица, черные взъерошенные волосы, в которые он запустил длинные пальцы левой руки, высокие брови. Конец карандаша упирался в хорошего рисунка губы. Задумчивость придавала всему лицу какую-то мягкость, и глаза точно видели что-то, что было для нас недосягаемо.

Не будем мешать ему...

Доктор Балига лучше нас знал своего маленького друга. Мы не нарушили задумчивости этого мечтателя и ушли молча...

Мы уехали из Бомбея. Перед нами открывались все новые и новые картины жизни великой страны, но и после всех моих неоднократных поездок в Индию среди самых сильных впечатлений остался в памяти неожиданный двойник моего детства, этот задумчивый мечтатель, школьник, с самых юных лет давший слово изучить и увидеть полюбившийся ему Советский Союз, родину Ленина, великого друга его родной страны.

1970

ПУТИ ВОСТОКА

В разделе помещеиы рассказы и очерки Н. Тихоиова, иаписанные в разные годы и посвященные прошлому и иастоящему Азии.

КОЧЕВНИКИ

Впервые книга «Кочевники» была опубликоваиа в 1931 году московским издательством «Федерация». Как и вторая половииа цикла стихов «Юрга», она была иаписаиа Тихоиовым после его поездки 1930 года в Туркмению в составе писательской бригады (см. прим. к I т. наст. Собр. соч.).

Книга эта, подобно другим выдающимся произведениям иашей литературы, появившимся иа граии 20—30-х годов — первой книге «Поднятой целины» М. Шолохова, «Соти» Л. Леопова, «Времени, вперед!» В. Катаева, «Гидроцентрали» М. Шагиняп, «Большого конвейера» Я. Ильина и др.,— отразила глубину и стремительность преобразований, совершенных советскими людьми в годы первой пятилетки.

В «Кочевииках» Тихонов запечатлел замечательные своей иовизиой важные и характериые события, свидетельствовавшие о радикальных благотворных перемеиах в жизии народов Средней Азии.

Однако ценность киигн определялась не только достоверным изображеиием фактов, ио и продуманной смелостью обобщенй, выразительностью и четкостью характеристик.

Тихоиов по-деловому говорит о фисташковой роще, о долинах Порхая и ущелье Ай-Дэрэ, о том, что значит колхоз для борьбы с пустыней. Но это ие мешает ему характерпзовать людей, которые занимаются упомянутыми делами, переходить к далеко идущим выводам и рассказывать о виденном отточеиной, строго выверепиой и образиой прозой.

Галерея людей Средией Азии, сбрасывающей ярмо иищеты, бескультурья, отсталости — разнообразиа и многолика.

Биографии, приведенные в книге, подлинно поэтические, за ними угадываются характеры людей, не только способных на подвиги, но и совершающих их. Тихонов видел и показал это. Именно поэтому «Кочевники» явились убедительным свидетельством роста нашей литературы, укрепления ее мастерства на путях сближения с жизнью общества и активного участия в общенародном строительстве.

В «Кочевниках» Тихонов выступает не только как искусный художник слова, но и как политик и страстный публицист, поднимающий важные вопросы экономического развития, классовой борьбы и культурного строительства. Так начинается последовательная, все расширяющаяся и охватывающая новые стороны жизни работа Тихонова — общественного деятеля, каким знают его ныне миллионы людей в нашей стране и за ее рубежами.

Общественность высоко оценила книгу. Достоинства «Кочевников» отметил А. М. Горький. В своей статье «О литературе» (журн. «Наши достижения», № 12 за 1930 г.) он писал: «Молодая наша литература выдвинула из своей среды группу талантливых «очеркистов», и они постепенно придают очерку формы «высокого искусства». «Туркменские записи» талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова — это очерк и это подлинное искусство изображения жизни словом».

ВАМБЕРИ

Рассказ был опубликован в журнале «Новый Робинзон», №№ 3—6 за 1925 год. Это одна из первых прозаических работ Тихонова. В ее основу положены достоверные факты из биографии венгерского языковеда-тюрколога и этнографа Арминия Вамбери (1832—1913), приобретшего широкую известность своими путешествиями в 60-х годах XIX века под видом дервиша в Персию и среднеазиатские страны.

По своим нравственным убеждениям и способам исследования жизни народов, оберегавших свою обособленность и недоверчиво относившихся к чужеземцам, герой, избранный Тихоновым, резко противопоставлен тем путешественникам — разведчикам колониализма, которые в прошлом столетии прокладывали обманом и лукавством путь капиталистам в отдаленные районы Азии и Африки. Вамбери — бескорыстен, он сознательно и увлеченно служит человечеству. Его воодушевляют жажда знания, желание постичь неповторимое своеобразие культуры и быта тех стран, что были веками закрыты для европейцев. И благодаря этому он многократно избегает грозящей ему гибели.

По своей идейной направленности рассказ противостоит буржуазной литературе, с ее лживой экзотикой, с ее откровенными или

завуалированными расистскими представлениями о Востоке. Рассказ этот давал возможность Тихонову обосновать свое отношение к прошлому, настоящему и будущему тех народов Азии, которым социалистическая революция несла избавление от нищеты, невежества, угнетения.

ДРУГ НАРОДА

Отдельным изданием рассказ вышел в ГИЗе, М.— Л., 1926. В его основу положен эпизод из жизни великого китайского революционера Сун Ят-сена. Выдающийся деятель национально-освободительного движения изображен в тот момент, когда уже начинается подготовка к организации революционных вооруженных сил к предстоящим боям с колонизаторами и милитаристами.

ХАЛИФ

После журнальной публикации рассказ напечатан в книге «Рискованный человек», Л., ГИЗ, 1927.

Его главное действующее лицо — крупный политический авантюрист, пытающийся после неудачи, постигшей его на родине, в Турции, осуществить нелепый план создания нового халифата «от Волги до Инда». Рассуждая о временах Чингисхана и Тимура, выступая проповедником возрождения азиатского могущества, Энвер-паша на поверку служит империалистам, пытающимся задержать возрождение народов Востока, помешать их борьбе с угнетателями, расширяющейся под воздействием Октябрьской революции. Логику образного развития рассказа определяет разоблачение писателем демагогической аргументации Энвера-паши, посредством которой он старается скрыть свою политическую несостоятельность и алчность захватчика. О крахе вздорных «паназиатских» притязаний свидетельствуют все звенья повествования — от вводной характеристики «халифа» до заключительной сцены, которая построена как развернутая аллегория и подчеркивает обреченность любых завоевателей, на какие бы мифы они ни опирались, к каким бы теориям и концепциям ни обращались.

ЧАЙХАНА У ЛЯБИ-ХОУЗА

После журнальной публикации рассказ напечатан в книге «Рискованный человек», Л., ГИЗ, 1927.

Персонажи его не имеют имен собственных. Здесь действуют обобщенные образы — «русский», «чайрикер», «джигит». Главный герой по своей социальной природе близок героям «Юрги», отдаю-

щим свои силы борьбе с пережитками феодально-деспотического и колониального уклада. Как и те, кто воспет в стихотворении «Люди Ширама», он готов побороться — за тех, кто с трудом избавляется от косных, темных навыков, прививавшихся старым строем на протяжении столетий.

Писатель рельефно запечатлевает убожество быта архаического и быта нэпмайского, их упорного сопротивления новым, подлинно человеческим представлениям о чести, о счастье и благородстве. В ожесточенной схватке противоречивых устремлений утверждается победа советского закона — мудрого и справедливого. Носителем его выступает русский, помогающий распутать драматический узел, который соединил судьбы действующих лиц рассказа. В этом образе тесно слиты деловитость и романтика революции.

Тихонов перенес в прозу те способы обобщенно-эмоциональной обрисовки героев, которые он применял в своей поэзии. В дальнейшем в рассказах и повестях он добивался создания характеров, отчетливо и глубоко индивидуализированных, находя при этом неповторимые краски, вырабатывая своеобычные принципы жизненно-правдивого и впечатляющего повествования.

БИРЮЗОВЫЙ ПОЛКОВНИК

Впервые рассказ опубликован в журнале «Звезда», № 5 за 1927 год.

Героем его Тихонов избрал человека «единственного в своем роде». В сборнике «Как мы пишем», выпущенном Издательством писателей в Ленинграде (1930 г.), писатель рассказал о встрече с тем, кто явился прообразом полковника Ведерникова: «Сухой темнолицый старик, бывший воин российского империализма, тряс пустой дождемер над ведром с делениями. Он ждал дождя, а дождя не полагалось по климату вовсе. Я нашел доступ к его суровой и одинокой душе и услышал чудовищный проект преобразования этой дикой местности в райские сады будущего... я решил: рассказ будет. Молния замысла сразу произвела записную книжку — в двух местах — джунгли и старик».

В рассказе получила своеобразное истолкование тема, решавшаяся в те годы советскими писателями: К. Фединым в «Городах и годах» и «Братьях», Б. Лавреневым в «Седьмом спутнике», А. Малышкиным в «Людях из захолустья», М. Шагинян в «Гидроцентрали» и др.,— тема прихода интеллигенции к революции.

В «Бирюзовом полковнике» воплощены впечатления, вынесенные Тихоновым из его поездки в Среднюю Азию в 1926 году. Вместе с тем рассказ явился важным этапом на пути поисков героя, которые писатель вел тогда и в своих стихах и в прозе.

КАБАНЬЯ ИСТОРИЯ

Рассказ опубликован во втором издании книги «Кочевники», в Изд-ве писателей в Ленинграде в 1932 году.

В осиову его легли впечатлеиия писателя от его поездок по республикам Средней Азии.

ГОРЬКАЯ ЗАСТАВА

Впервые рассказ опубликоваи в журиале «Знамя», № 7 за 1932 год.

Он принадлежит к тем произведениям, в которых получила отражеиие работа Тихонова в ЛОКАФе — Литературиом Объединении Красной Армии и Флота, создаином в начале 30-х годов и сплотившем в своих рядах многих наших писателей, чье творчество было связаио с жизиью вооруженных сил Советской страны.

В «Горькой заставе» Тихоиов, по его собствеииым словам, «придумал тему для того, чтобы поставить красноармейца в труднейшее положение, заставить его найти выход, тем самым показав сообразительность бойца в сложнейшей психологической и военной обстановке».

МИРАБ

Впервые рассказ опубликован в «Вечерией Красиой газете» за 1933 год.

В цеитре его молодая девушка — распределитель воды в родном селеиии. В «Мирабе» рассказаио лишь об одном рабочем дне героини, но за эти иесколько часов Гуль-Джамаль успевает решить множество вопросов, связаииых с ее осиовиой работой — распределителя воды. Прежде на эту должность иазначались «опытнейшие бородатые люди», теперь их место заняла смелая комсомолка, влюбленная в свой «тяжелый труд мираба».

Она поэтична именно оттого, что Тихоиов, говоря о ней, не отделяет профессиоиальное от человеческого. Спокойно готовится Гюль-Джамаль к очередной схватке: «Комсомолу все равио придется сражаться, ие в первый раз». Эта фраза — словио завершающий штрих в обрисовке характера, обаятельного своей нравственной цельностью.

ВОСПОМИНАНИЕ

Впервые рассказ опубликоваи в журиале «Знамя», № 2 за 1943 год.

Он напоминает непринужденную беседу, охватывающую самые различные темы, далеко отстоящие друг от друга ряды фактов. Однако из их обилия выделяется один, отчетливо изображенный. Речь идет об удивительной судьбе тибетца, попавшего в Индию и встретившего там людей, которые с восторгом и благодарностью произносили великое имя — Ленин. Сын далекой горной страны после этого пришел в Россию и начал учиться на рабочем факультете, узнав таким образом на собственном опыте благотворность завоеваний Октябрьской революции.

В ДНИ ВАСАНТЫ

Очерк впервые напечатан в «Литературной газете» от 19 ноября 1955 года.

Наряду с достоверностью изложения, точностью наблюдений и характеристик здесь примечательны свойственные прозе Тихонова живописная пластика слов, широта ассоциаций и сопоставлений. Органично и просто сочетаются в очерке черты старой и новой, развивающейся Индии, великолепие ее могучей природы, очарование бесчисленных памятников искусства, прелесть добрых и чистых человеческих чувств. Способность Тихонова к проницательному и воодушевленному постижению культуры, нравов и быта далеких народов сказывается здесь со всей очевидностью.

МОСТ У АТТОКА

Впервые опубликован в газете «Ленинградская правда» от 12 декабря 1956 года. В рассказе изложен эпизод, связанный с поездкой группы советских писателей, в том числе и Тихонова, в Пакистан и Афганистан в 1949 году. Однако рассказ имеет более широкое, обобщенно-поэтическое звучание. В нем идет речь о теме Востока, о том, какое место занимала и занимает она в творчестве писателя на протяжении более четырех десятилетий, то есть задолго до того, как он воочию увидел героев своих юношеских произведений — борцов и строителей новой Азии, освобожденной от ига колониализма.

Спутники Тихонова — писатели Айбек, Мирзо Турсун-заде, Софронов — рассказывали о том, как он удивлял их своим отличным знанием не только истории, обычаев и культуры страны, но и расположения отдельных зданий, памятников древней архитектуры и т. п. Именно такая «встреча» с сооружением, ранее известным писателю по литературе, и изображена в рассказе «Мост у Аттока».

ВЕЛИКАЯ ВОДА

Впервые рассказ опубликован в литературно-художественном и общеполитическом альманахе «Ашхабад», кн. 1—2, Ашхабад, 1957.

Спустя более четверти века Тихонов вернулся к впечатлениям, полученным во время поездки в Туркмению с писательской бригадой в 1930 году. Встречи, происшествия и наблюдения, о которых идет речь в рассказе, ранее стали основою ряда стихотворений, вошедших в цикл «Юрга».

Так, в первой главе рассказа упоминается замечательный ирригатор, человек, целью жизни которого стало орошение пустыни, превращение ее в цветущую землю. Он был изображен в стихотворении «Искатели воды». Там он, как и в рассказе, говорил о большой воде Келифского Узбоя и мечтал «невероятным водяным тараном пробить пески, пустыню расковать...»

В последующих главах подробно описано путешествие по бурной и капризной реке, запечатленное в стихотворении «Аму-Дарья». Доставка груза колхозным кооперативам была целью поездки, во время которой путникам довелось узнать свирепость «афганца», дующего с юга жестокого вихря, обрушившегося на их лагерь. Все это сжато и энергично изображено в упомянутом стихотворении, имеющем и второе наименование — «Завернувшиеся в плащи». Так названа семьдесят четвертая глава Корана, о чем писатель сообщает в рассказе. Многими нитями соединены эти стихотворное и прозаическое произведения, однако не повторяющие и не заменяющие друг друга. В поэзии господствует романтика напряженной схватки со стихиями — бурею и рекою. Сила рассказа в развернутых и вместе с тем экономно, лаконично написанных картинах путешествия. Возвращение писателя к давно прошедшим событиям позволило с новой остротою воспринять и оценить сделанное и пережитое.

«НЕ БУДЕМ МЕШАТЬ ЕМУ...»

Впервые напечатано в «Литературной газете» от 1 января 1970 года.

Произведение это можно считать и очерком, и страницей воспоминаний, и лирической записью. Его созданию помогло достоверное наблюдение писателя, который встретил бомбейского мальчика, с увлечением читающего русский советский журнал и увлеченно интересующегося жизнью в Советском Союзе. Подросток напомнил писателю его самого — питерского мальчика, с ранних лет увлекавшегося Индией. Много лет прошло, пока настал день,

когда Тихонов увидел страну, известную ему ранее только по книгам, но непреодолимо заманчивую. И среди многих чудес, встреченных там писателем, был «неожиданный двойник», зеркально отразивший его собственный путь,— индийскнй мальчик, в облике которого отчетливо выразнлись веяния наших дней.

КАВКАЗ

В настоящий раздел включены написанные в разное время рассказы Тихонова о людях советского Кавказа. Здесь встречаются н точные портретные характеристикн современников («Рассказы о Бетале Калмыкове»), и пронзведення с ясно ощутимой достоверной основой («Цхнетские вечера», «Снмон-большевнк»), н сложные композиции, несущие в себе глубокое поэтическое обобщенне («Камуфляж», «Клятва в тумане», «Кавалькада»). Все эти прозаические работы тесно связаны с поэмами и лирическими циклами, отразившими впечатления, которые получил художник в своих многократных поездках по Закавказью и Северному Кавказу (см. прим. к 1 и 2 томам). В своей прозе Тихонов, как и в поэзии, творчески развивает традиции русской классической литературы, раскрывая не только величне природы и нсторнн прекрасного горного края, но красоту и благородство населяющих его людей, чей, по выражению М. Ю. Лермонтова, «бог — свобода». Писатель социалистической эпохи имеет возможность рассказать о том, как осуществнлись и мечты великих русских мыслителей и поэтов, и чаяния свободолюбивых народов, как стали достояннем прошлого национальная рознь, нищета, бескультурье.

КАМУФЛЯЖ

Рассказ впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», № 8 за 1929 год.

Как и в «Бнрюзовом полковннке», Тнхонов рассказывает о приобщенин интеллигентов старшего поколепия к социалистнческому стронтельству. В отлнчне от напнсанных в те же годы романов К. Федина «Города и годы», «Братья», романа А. Малышкина «Севастополь», повестн Б. Лавренева «Седьмой спутник», герои которых совершали выбор политический, герои «Камуфляжа» уже ранее определили свою политическую позицню. Центром рассказа стаиовятся вопросы общественной морали. Его действующие лнца — люди умные и просвещенные — подвергаются суровому нравственному испытанию, внезапно оказавшись в обстоятельствах, для нпх совершенно необычных.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТИ ВОСТОКА

Кочевники 7
Джемшиды 8
Белуджи 19
Кара-Кала 34
Туркменские записи 64
Вамбери 104
Друг народа 137
Халиф 148
Чайхана у Ляби-Хоуза 155
Бирюзовый полковник 174
Кабанья история 209
Горькая застава 217
Мираб 240
Воспоминание 246
В дни васанты 252
Мост у Аттока 259
Великая вода 265
«Не будем мешать ему...» 282

КАВКАЗ

Камуфляж 289
Клятва в тумане 318
Симон-большевик 378
Кавалькада 401
Рассказы о Бетале Калмыкове 422
Цхнетские вечера 461

За рекой 475
В ущелье 498
Могила Бабура 519
Лое-Дакка 531

Возвращение 541
Примечания 575